



І Н С Т И Т У Т  
П Р О Б Л Е М  
С У Ч А С Н О Г О  
М И С Т Е Ц Т В А



Алексей Босенко

# ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

I. Свободное время как полнота бытия

Киев  
«Феникс»  
2021

УДК 101.2+123(20)161.1

Б85

Утверждено к печати Учёным советом  
Института проблем современного искусства  
Национальной Академии искусств Украины  
(от 27 октября 2020 года, протокол № 7)

Рецензенты:

кандидат искусствоведения Г. А. Вышеславский,  
кандидат искусствоведения М. А. Протас

**Босенко А. В.**

Б85 Последнее время. I. Свободное время как полнота бытия. — Киев : Издательство «Феникс», 2021. — 336 с.

ISBN 978-966-136-786-8

Книга «Последнее время. Свободное время — полнота бытия» — будто «объяснение в любви глухонемых». Объяснение в любви к миру, который не любишь, со всей возможной страстью: яростью и ненавистью, презрением и брезгливостью. Это большое «НО...», поскольку, при всём при том, есть чувство, что «бездну, которая звёзд полна» никто не отменял. «Рёсность» — расстояние от кончиков ресниц, начинающихся от самых глаз, до бесконечности, которую можно ненароком сморгнуть. В этой затхлости есть сквозняк, дуновение, хотя нет никакой надежды. Есть предчувствие, что, помимо нашей воли, происходит нечто неведомое, и ты вместе с этим вечным движением стремительно смещаешься, не успевая осознать, превращаясь в иное. Эта книга — бесконечное «жаль», брошенное в пространство, затерянное в нем, и — забытое, безжалостное обновление. Обретенное косноязычие невыразимого. Книга адресована тем, кто не боится мыслить и чувствовать свободно.

УДК 101.2+123(20)161.1

При оформлении обложки использованы элементы графической работы *cdd20* по лицензии СС

ISBN 978-966-136-786-8

© А. В. Босенко, текст, 2021

© И. И. Кулинский, дизайн, предисловие, 2021

## З а т а к т

Книга выполнена в Институте проблем современного искусства. Прежде, чем книга начнется, хочу выразить особую признательность всем, без кого эта книга не состоялась бы.

Благодарю любознательную Алёну Лебедеву с её головоломными вопросами: поэтому текст предельно адаптирован. У меня было опасное состояние спокойной достаточности образа «свободного времени», когда писать ничего не нужно, и так всё ясно и очевидно, но меня «вывели из себя».

Благодарен «провокатору» и катализатору Андрею Метлёву, которому зачем-то понадобилось издать книгу за свой счёт (я бы этого не делал), хотя этот текст очень опасен даже по видимости, а ведь ещё есть невидимые течения, как жёсткие излучения. Впрочем, он уже издавал «опасную» книгу «Время страстей человеческих». Я знаком с ним без малого сорок лет, что выработало противоядие против сентиментального цинизма и весёлого скептицизма, и позволило жить, не задаваясь вопросом «зачем?».

Спасибо Ивану Кулинскому, тратившему своё свободное время, читай «время жизни», мучившему глаза головоломными строчками, редактору, «построившему» несколько моих книг, в том числе и эту.

И конечно, благодарен всем тем миллиардам людей, которые создали пласты свободного времени, его природу, буквально «своей жизнью, как пространством человеческого развития». Природу, частью которой я являюсь, рискнув отказаться от всех видов перспектив ради действительности настоящего развития. Своим рецензентам, Марине Протас и Глебу Вышеславскому, которые рискнули благословить эти книги. Учёному совету Института проблем современного искусства, который рекомендовал книгу к печати, и всем, кто поддерживал меня в этом начинании.

То, что такого рода книги непопулярны и не пользуются успехом,

утешает. Значит, риск оправдан имманентностью чувств, которым даже такие книги — не указ.

Писать можно до бесконечности и после. В обозримом будущем смутно видна ещё одна книга, может, больше, но я не стал сооружать трилогию, оставив текст таким, каким он самопорождался, не для того, чтобы сохранить разнузданность и случайность импровизации в тоске и тревоге незнаемого, а просто чтобы оставить ощущение радостной напрасности жизни, грандиозной причастности бесконечному развитию в его полной бессмысленности и красоте, когда всякое время — свободное, а всякая свобода — последняя, как свершение всех времён и полнота бытия. «Пространство разлуки, тоскою связующей нас. Пространствопокинутость. — дальше, чем можно помыслить...»

«Пора, мой друг, пора...» (Пушкин); «Пора, пора, уже нам в лица дует воспоминаний слабый ветерок...» (Багрицкий). Пора последнего времени кончается. Это обретение направления, вертикали, восстание против силы тяжести, нащупывание чувства устойчивого неравновесия.

Я рискнул, но потерпел сокрушительное поражение, зато обрёл осознание, что осмелился, и теперь знаю свои пределы, пройдя по краю. «С тех пор я узнал вкус и запах Вселенной» (Аполлинер). Пределы несчастны, нечестны, и границы убоги, но я сделал всё, что мог, что возможно и невозможно — я исчерпал время, обрёл превращение как универсальный инструмент (музыкальный). Свободное время — это проблема создания, не творчества — возникновения.

Это единственное, чем стоит заниматься — всем, как единственным и неповторимым. «Умереть от счастья», от того, что всю жизнь делал, что хотел. В сущности, жизнь чувств на пределе — тоже проблема свободного времени. Свободное время всегда настоящее, хотя и бывает в нетерпении ожидаемым, эта книга — воспоминание о свободном времени, оно для меня всецело бывшее и забытое. Я сам себя забыл.

Кто-то из именитых сказал: «Хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался». Добавлю — кто умеет забывать. Я об этом не думал, как и о том, чтобы пройти незамеченным. Так что дальше — без меня. Я приведен в чувство свободным временем. Достаточно, что оно было мной, как то самое легендарное «беспокойство духа», бессонница вселенной, мучительно принимающая явь. Свободное время — это просыпание, обретение тяги вверх, над собой. В никуда. Время возвращено своей природе.

*Алексей Босенко*

# Лоция Свободного Времени

## со-словие редактора

*Вы знаете, что означают приметы неба,  
а истолковать знаков времени не можете*

Матф. 16:3

Я буду называть эту книгу лоцией. Поймите или смиритесь.

Она — последняя. Прямо сейчас, — запомните! — начинается время, когда говорить «крайняя» уже нельзя. Кроме того, так указывает сам автор. Это не только единственное честное прощание, как в «Письмах к незнакомке», но и приветствие, и обещание чего-то совершенно нового.

Эта лоция — хорошая. И, как все хорошие лоции, она могла бы быть лучше, в отличии от плохих, которые лучше быть не могут, потому как использовать худо сделанное не имеет смысла, его выбрасывают за борт, конечно, с кормы, с подветренной её стороны.

Как принято, я начну с недочётов, чтобы каждый, кто пустится в путешествие, знал все риски.

Лоция Свободного Времени от Алексея Босенко пугает. Его воды, как их увидел автор — темны, бурливы и таят почти на каждой миле множество пучеглазых зубатых харибд, а его берега, если вам посчастливится их увидеть, кишат злыми, голодными и одолеваемыми блохами сциллами. Автор, впрочем, сразу предупреждает, что ничего полезного молодому страннику он сообщать не собирается, а составляет лоцию оттого, что не имеет мужества уйти вовремя, продолжая имитировать страсть. Потому лоция пронизана, кроме типографских ниток, которыми сшиты её тетради, не менее прочным желанием «скорей бы умереть». Однако дерзких мыслеплавателей смертью не испугать, даже больше — именно смерть, подобно Золотому Руну, манит их, заставляя менять прозябание на тёплых местах надёжных паромов, которыми общество перевозит свои мысли с того на этот берег, на невероятные чудеса, которые можно увидеть с палуб горде-

ливых, но ранимых шхун со свободной практикой. Поскольку «всякий путь ложен, если он не ведёт в никуда и об этом не ведаёт. В невозможности — свобода». Значит, нам предстоит невозможное. Не только путешествовать во времени, но и жить, чувствовать музыкой, живописью, философией, «которая, конечно, не научает мыслить, но для того, чтобы её понимать, надо ею жить. Это буквально вопрос жизни и смерти». Как говорится, семь футов!

*Чего в лоции нет?* Во-первых, указаний. «Здесь каждое предложение — отдельная книга. И логика принуждения отсутствует». Тем, кому хочется получить готовый маршрут со списком достопримечательностей, лучше воспользоваться чем-то вроде дайджеста «Философия за 30 секунд». Зато тут есть подробное описание отмелей. Это не уберёжёт вас от них, но, сев на брюхо, хотя бы будете знать, где ходите. Во-вторых, и это важно для тех, кто ищет смысл, или, что то же самое, утешения — тут их тоже нет. В ответ на вопрос «что делать?» автор говорит: «Делай что хочешь! Всё равно будет получаться “что можешь”, как получится, и убогость получившегося будет ныть больной совестью, преследовать тебя всю жизнь». В-третьих, тут, в отличие от большинства современных философских лоций, нет ложных ответов на «главные вопросы». Каждый, кто находит в себе необходимость пуститься тёмными водами философии под парусом, на вёслах, вплавь, а то и в пляс, дивясь на сияние звёзд, которые над этим морем особенно огромны, на мерцание крохотных организмов, на огни святого Эльма, хочет узнать, кто он? Кто такой, например, этот «свободный человек», о котором Босенко, вслед за древними, постоянно вскользь упоминает? Ответа нет. «Я не дотягиваюсь до самого себя в возможности» — роняет автор.

Что же, из самого важного, в лоции есть?

*Свобода.* Не та, которой легко воспользоваться, которую предлагают на каждом углу изгаженной Вселенной (да, да, уже успели, если вы не заметили). Не «как жить — нам собранье подсказет, что петь — прочитай в указе». Тут есть простор. Только плывите. Вы можете ловить форель в Америке или спорить с Хароном о курсе медяков, можете подняться вверх по капиллярам дерева, к самой тонкой веточке, к самому последнему цветку, а можете спуститься вниз по молнии, огненным ручьём рассекая пространство, чтобы садануть в телебашню или ржавый громоотвод на скотном дворе — кому как повезёт. Мо-

жете тяжестью и нежностью заплетать розы в двойные венки, и, став на колени у борта, отпускать их в водовороты, до которых рукой подать, а можете бродить по кладбищам, которыми полным-полон любой из берегов, и читать эпитафии на венках погребальных. Звучать вместе с музыкой, поэзией, философией, или тихо отчаиваться, что они мертвы. Писать от души на песке у кромки прибоя, наблюдая за приближением цунами, или же на замазанном зелёной краской окне портового сортира царапать кирпичом «полный пиздец!» Выбор за вами.

*Время.* Лоция Босенко подсказывает, как временить, и, одновременно, избавляться от временщиков в себе. Вспахивать время плугом, засеять смыслами, и — двигаться дальше, прочь к новым землям, не оборачиваясь. Познавать время, которое стремится к одному — «остаться самим собой. Без начала и конца». Чтобы учиться у него этому. Чтобы спрашивать у попутчиков: «Сколько вечности?» По Босенку, «философия — уход в поисках необратимого. Его потому и ищут, что оно, даже найденное, необратимо, и смысл в поисках, а поиски в превращении, которое — мы сами». В поисках Свободного Времени, вооружившись, будто веслом с багром на конце, чувствами, вам предстоит вытянуть время из сетей теперешнего. Рыба эта скрытна, сильна, упряма и чрезвычайно свободолюбива. Лоция может подсказать, как пройти, минуя шлюзы и узкие обводные каналы, напрямик по руслу, к чувствам, не впадая в ощущения. Тем самым спасая своё время. Очевидно? Скорее, неизбежно. Но сложно и боязно. Смертельный опыт во время поисков времени так же неотвратим, как при использовании галлюциногенов или практиковании пховы. Эта лоция может служить картой смертельного опыта, указывая его пороги, но не обозначивая примитивно, как это принято в нынешних лоциях, что ждёт во время смерти: это вам предстоит понять самим.

*Свободное время.* Эта лоция может показаться сборником кошмаров, атласом многоголовых чудовищ, классификатором для бестиария заблуждений и блужданий в Свободном Времени. Что же, предостережение, даже когда оно не кстати — всегда вовремя. Автор сумел обозначить многие из опасностей, которые Свободное Время в себе таит. Иногда это удаётся ему столь живописно, что он сам пугается. Больше всего досталось науке и сети интернет. Наука — «сгусток в большей степени мифологии, причём в современном понимании, предрассудков, заблуждений и бессилия разума, средоточие глупости и жалких попыток что-то объяснить, [...] замылить то, что происхо-

дит, примирить с бездной, иначе жить невозможно, постоянно на краю, на грани ничто, небытия, ввиду смерти». Интернет предстаёт в виде пространства для роста, но управляемого законами паразитирования, чтобы «эксплуатировать человеческий интерес к саморазвитию. Выгодно же бесплатно дать возможность, а уж человек в героическом энтузиазме из кожи будет лезть, чтобы её всесторонне развить и отдать безвозвратно свои возможности, таланты, сущностные силы». Возможно, вы увидите, как, словно грибной мицелий, интернет триллионами связей опутал свет, питаясь свободным временем и изменяя его структуру.

Ловушки ли это? Или всё же знание, которое ведёт к преодолению личности в вечном стремлении Вселенной к усложнению? Вот вы и решайте.

Пока есть время: «свободного времени, как времени жизни, заведомо не хватает — необходима вечность. И, в тоже время, его всегда с избытком, всегда чересчур».

*Что взять с собой в дорогу.* А ничего! Оставьте вещи вещам. Возьмите только себя. Иначе и читать лоцию не стоит. Вернее, незачем. Возьмите чувства, которые предстоят. Возьмите любовь, о которой вы пока ничего не знаете (слишком уж быстрое течение происходящего), потому она — самое опасное орудие, но всё равно возьмите. На медленном течении она вам пригодится. Возьмите иронию — «страх гордости, которая боится потеряться и лишиться мужества быть в самый неподходящий момент». Возьмите сомнения и восторг, удивление невероятностью света: «писать надо в сознании восторга, и жить тоже, не важно, что мгновение погоды ты понимаешь, как это плохо».

*Старт.* Что же, вы готовы. Конечно, я бы посоветовал молчать и слушать эту невероятно глубокую тишину вокруг, которая больше не повторится. Но человеку в едва ли не единственные несомненно счастливые моменты предвосхищения нужно обязательно что-то напевать. Напою и я:

«У судьбы все персты указательные,  
повинуясь перстам, встану затемно я,  
и мотор заведу, и отчалю».

Прощайте.

**АВАНТЮРЫ?**



Эта книга никогда не то, что не закончится, она не начнётся — вечное предисловие к самой себе и послесловие к жизни. Она всегда «прежде» начала, как категория «вдруг» у Прокла и Дамаския, которые узрели её у Платона. «Вдруг» — прежде начала.

Книги после шестидесяти писать нельзя — они почему-то маразматичны, даже если автор в уме и себе на уме. О твёрдой памяти не говорю, как и о жидкой. Хотя молодые в большинстве вообще не приходят в сознание. Им не сходить с ума, потому что не с чего. Я пришёл к этому неутешительному выводу на собственном опыте. Старикам нечему учить молодых.

А потом вспомнил, что едва ли не первым, кто сказал об этом (нет, умные люди говорили всегда), был Генри Дэвид Торо:

«Старость годится в наставники не больше, если не меньше, чем юность, — она не столькому научилась, сколько утратила. Я не уверен, что даже мудрейший из людей, прожив жизнь, постиг что-либо, обладающее абсолютной истинностью. В сущности, старики не могут дать молодым по-настоящему ценных советов; для этого их опыт был слишком ограничен, а жизнь сложилась слишком неудачно; но это они объясняют личными причинами; к тому же, наперекор их опыту, у них могли сохраниться остатки веры, и они просто менее молоды, чем были». И это настолько очевидно, что не хочется вспоминать, но устойчивый миф о якобы мудрости и прочем, как будто мудрость — маразм, продолжает поддерживаться повсеместно, хотя единственная заслуга стариков в том, что они до сих пор живы и не имеют мужества покончить с собой (что делают за них их книги) или хотя бы уйти вовремя, продолжая имитировать страсть.

Некоторым это удаётся: тот же Казальс или Тициан, Бернард Шоу, но чего это стоит? Я не прячусь трусливо за цитату, и странный авторитет названного автора в среде американских интеллектуалов — такая же тщета обрести равновесие, как когда ты в невесомости, подводит вестибулярный аппарат, и —

тебя тошнит. Важен жест. Ведь можно, напротив, воспеть беспримерное мужество жить, когда уже всё кончено, мужество действовать ради действия, независимо от результата.

Свободное время во все свои периоды, и в юности, и в зрелости, и в старости, по ощущению похоже на действие, когда нет ни одной причины. Жизнь бесцельно, поскольку все цели имманентны и конечны, невозможны. Твоё свободное действие в свободном времени очень напоминает состояние старости. Никому не нужен, абсолютно свободен, действуешь просто так. И не потому, что хочется, а — вопрос жизни: остановишься — умрешь. И не инстинкт самосохранения (скорей бы умереть), а потому, что свободного времени, как времени жизни, заведомо не хватает — необходима вечность. И, в тоже время, его всегда с избытком, всегда чересчур.

(Изменение начертаний шрифта и размеров кегля в этой книге — не «оживляж», не игры с формой в духе Каммингса, не формальное экспериментирование, а просто чтобы формальное единообразие текста не навязывало логику и последовательность «одного и того же». Здесь каждое предложение — отдельная книга. И логика принуждения отсутствует. Книга происходит в каждой точке вся сразу, она непоследовательна. Не ветвится, не преследует цели и не описывает явление — как время, ветер в кронах деревьев или слышание солнечного ветра среди звезд. Эта сочиненная способность слышать и «подпевать» (шучу) как раз «обжимает меня в себя». Имплозия, взрыв в себя, а не вползание в покинутость и привычность. Создание избыточного давления. Сосредоточенность, а не рассеивание, хотя и свечение).

Книги хотят быть интересными, жизнеутверждающими, не обращать внимания на мелочи, но они мутные и занудистые, — даже не занозистые. Уже то, что они «должны» быть веселыми, беспечными и не натужными, брызгать остроумием, а не старческой слюной, кипеть, словно ледяное коллекционное брют, а не желчной иронией и штампами, делает их невозможными и недостижимыми. Они не праздничные, — никому это не удавалось, при всём жизнелюбии, — а вымученные, уставшие, на последнем издыхании. Все книги, написанные после шестидесяти, имеют апоплексический «цвет лица». В любом случае, даже когда к ним относятся благосклонно, и они мужественны, как последние тексты Бернарда Шоу — это «скорбное бесчувствие». Это всегда «Прощайте, прощайте...» — последнее выступление великого остроумца. Снимаем шляпы, втайне надеясь, что это не про нас, не про меня. И можно ещё побыть в сознании, не задумываясь, нет, не как выглядишь, а просто — не задумываясь. К таким текстам относятся с подозрением, даже

если это просто мемуары, письма, воспоминания, к которым, по Мариенгофу, переходят, бросая усердно писать любовные романы. И пытаются написать правду о том, чего не было. Все, что написано Львом Толстым, Николаем Морозовым, Гёте, Бернардом Шоу, или же создано Оскаром Нимейером (как гласит молва, пил, курил до 104 лет, потом сказал: «Вы мне все надоели...» и умер) — всё это неподъёмно, как и неподъемные, компилятивные труды Лосева. (Даже какой-нибудь Тициан, с его безупречностью, подозрителен, но в живописи это не так бросается в глаза, как в текстах). Хотя сам такой — всю жизнь перелопачивал чужие знания. Пример комментариев к общеизвестному, например, Прокла или Дамаския к Платону, говорит: в этой бессмысленности — суть. Может, там что-то есть, но оно настолько в себе, что вряд ли эта лежалая мудрость может представлять интерес. Интерес сам представляет интерес.

Есть желание некоей законченности. «Остановись мгновение...». Завершенности. Снятости. «Наконец-то...» Окончателности. Но бездумное движение издевательски продолжается. Тут смысл не в связанности, а в бессвязности, которая свяжется сама, без лишних усилий.

Когда-то Кейдж писал, что композитор не должен писать красиво. То, что происходит, не красивое, никакое. Не люблю то, что делают такие, как Кейдж — смысл в бессмысленности, жизнь полипа, простейшие. Наив и наигранная инфантильность, деланное простодушие. Музыка там нет, только идея музыки, сочиненное ощущение, суета, но есть фиксирование присутствия, события, и, главное — жизнь как музыка. Гераклитов огонь и бытовой, деловой огонь крематория — один и тот же. Никакой торжественности и ритуальности сочинительства. Всё здесь сейчас. Хайдеггеровское «Вот».

И так всем ясно, что когда-нибудь всё исчезнет, и ошеломленность музыкой тоже, и сторит последняя партитура (мало ли их, написанных, сгорает, а сколько ненаписанных). Никакой причины писать нет. Вообще всё развитие — графомания самого развития. Можно видеть письма в следах волн, в рисунке ветра на песке, знаки и предначертания свьше в положениях звезд, но это только воображение, правда, участвующее во всеобщем становлении, без которого развитие невозможно («Без чего?» «И без воображения, и без становления»).

Помимо заворуженности необходимостью и игрой случая

есть изначальная свобода, незаинтересованность, беспричинность, спонтанность, которая катастрофична, и тиха, как взрывы сверхновых, которые происходят в молчании (Кейдж это уловил и сделал принципом жизни, но следовать ему или, как он, Судзуки, — не знаю, как сказать: неверно? глупо? ложно? — в общем, лучше просто быть собой, заведомо зная, что никакого пути нет, и это — невозможно. Всякий путь ложен, если он не ведет в никуда и об этом не ведает. В невозможности — свобода.

Это шарлатанство, вроде «Книги перемен», но если ты уловил игру вселенной, то это — произведение искусства. Игра от Шиллера до Хейзинги и Кейджа, который сам признавался, что хотел бы жить как можно дольше, и рассуждал о запорах, от которых он избавился при помощи «дзен-буддизма». Был озабочен совершенством своих произведений, не стремясь к мнимому совершенству, а скорее торгуясь и озадачиваясь рейтингом — в общем, он производит впечатление слабоумного, недалекого человека. Но создал прецедент, после него наглость и хамство стало натурой, чертой авангарда (натуральный авангард) и «современности», правилом хорошего тона, — смешно о «тоне», — и оправданием любой бездарности, поскольку бездарность исчезла, как убежище, временное, из времен свитое «гнездо» для слабых. А вот когда ты понимаешь, что это не игра, которая — детство, а действительно грандиозное становление, вот тут переосуществляется всё твоё существо.

Вопрос не о поре времени, не о юности или старости, не о возрасте вечности и становления или ненасытной кровожадности и обреченности жизни, а о том, что остановиться не можешь, и вся эта жизнь на разрыв аорты вплетена во всеобщее превращение, а ты неистово хотел бы, чтобы это окончилось и обрело вид, пусть собственной смертью, которую оседлал, как всадник Апокалипсиса — маленького, одомашненного, карманного, ручного. И смерть — как пони — выведенная карликовая порода, бонсай, декоративная гибель. Потому так называемое «творчество» — смертоносно.

А свободное время совершенно неверно понимают не как время жизни, а как то, что ценой жизни должно быть выставлено на торги в нечистой игре в рулетку, с её идеей случайного воспроизведения. Алеаторика.

Чтобы не запутаться, скажу: свободное время действитель-

но — время жизни, но оно свободно лишь когда мы действуем свободно.

Свободное время можно опредметить, но нельзя овецествить, и смысл его в том, чтобы превратиться, перестать быть «временем», инструментом, и в каждое мгновение своя «полнота бытия» для абсолютности должна быть (без долженствования, желаемым без желаемого) неисполнима, но исполняема. Те, кто играл в оркестре, знают это ощущение каданса, когда забываешь себя, и в тоже время весь — в этом движении. Только в тексте ты вынужден исполнять идею мелодически, последовательно, а хотелось бы сразу, и не только как движение аккордами и интервалами, но и кластерами, во всей сплошности вселенной, которой принадлежит и твой текст, который вплетен во всеобщее движение. Чувствуешь и себя, и всеобщность, причастность бытию и небытию. Образ дан всецело, насквозь. Он сквозит и не расплетается в длину, хотя из этого клубка вытягивается нить, тянется канитель, которая выплавляется из мгновений и мнится путеводной нитью.

Из пыли мгновений ссучивается нить. Из нитей ткется ткань, «покрывало майи», а уж из этой призрачности, прозрачности и очевидности выкраиваются по желанию: саван, паруса или холст для живописи. И всё — из света непроницаемого свободного времени.

Жизнь на пределе, которого нет. Крайнее время. Оно — после которого ничего не будет, будет что-то другое, иное. И его можно страшиться, а не желать, стремиться к самой стремительности. Есть, существует предел, он же превращение, он же переход. Переход и предел здесь диалектичны. Они не всегда могут быть «своим-другим» — это происходит только в свободном времени и свободным временем. Это не время от времени, а время самого времени, которое время и вечность сразу — не скажу, что одновременно. Вечность — одновременна и потому разная, время — одновечно. В своей отрицательности оно объединяет, как освобождает, хотя никто этого не жаждет. Предел положен тобой. всё перемененно, кроме ничто, но и оно теряется в становлении.

В финале, если не законченный идиот, с подозрением относишься ко всем книгам, поэтам, режиссерам и прочим, а прежде всегда к самому себе, надеясь, что ты ошибаешься, что ещё не «всё», и не смотришь на то, что «всё» это неудача, но хотя бы великая. Тебе так кажется, потому что ты слишком строго отно-

сишься к себе, критерии высоки... планка завышена, но всё же беспристрастно понимаешь, что это правда, и так было всегда. И хорошо, если ты безразличен, и страсти не волнуют. Книга пишется, ну и пусть, ей всё равно умирать, и в её мгновенности и неповторимости — вся соль (английская) бытия. Она происходит вместо жизни, да и в общем всё преходяще. И тебе всё равно, хотя обидно, что уже всё, занавес. И не выйти на поклон (не очень хотелось) — только и текста: «Кушать подано». И всё же убеждаешься, вместе со Шкловским, независимым со мною как «Ломоносов и Лавуазье», что старость — досадная и паскудная штука... Только это уже твой личный опыт.

И, в который раз, доказываешь себе, что главное — пройти незамеченным. Смысл в том, что банальность: «чем больше знаешь, тем больше незнаемого», сократовское «я знаю то, что ничего не знаю... другие не знают даже этого» не дает погрузиться в скепсис и в покой, вечный покой.

Да, то, что открывается, может быть бредом, вопреки всему наработанному, и веет какой-то жутью от беспросветности, от мешанины света и тьмы, крошечности и крошечности, выкрошенности в страшных просторах вселенной, но ты — элементарная частица этого движения, момент превращения. И твоя заумь, и дикие предположения — тоже момент, мгновения этого движения.

Тобой в единичности высказывается, мычит всеобщее, имени которому нет и всё это независимо от тебя. Одно дело знать, а другое — однажды почувствовать всю эту огромность, что ты почти паразит, который питается и сосуществует в свободном времени, в симбиозе с ним, а все, даже мимику твоего лица, все особенности, ощущения, эмоции, чувства, условия твоего существования создают другие. Ощутить и... не пережить эту абсолютную красоту универсума, хотя он безмозглый, а красота «никакая», и вся твоя жизнь — одна большая авантюра, и никакого смысла нет (правда, есть твоё усилие, нежелание, иступление, возможности — тоже не твои. Твоя свобода воли — фикция, что великолепно показал Шопенгауэр. Хотя его ранние произведения выдают некоторую скромность, вернее нескромность и самомнение, страсть к назиданию мысли, например, «Две основные проблемы этики. /О свободе воли/», но это подстерегает каждого.

Странно мыслить свободу, как «отсутствие препятствий, в «хотении».

Но суть в том, что и свободное время прошло тот период, когда оно «то, что остается» (хотя этот момент никуда не девается), а пребывает как праздность, неучтённость, упущенность, как недостаток. Свободное время предстает теперь как возможность, и нехотя соглашается с хотением, желанием, соответствием, ответственностью и безответностью воли, и целеполаганием, которые переросло, как себя и цели. Оно больше ничего не хочет, пресыщено собой. Нечего желать, всего хватает, и потому даже время, как «лишённость» — стоит. Во весь рост. Но не растёт.

Свободное время — «бытие-возможность» Кузанского, но имеет дело с невозможным. Оно — форма превращения, переходная форма, исчезающая в неповторимости. Свобода — его стихия. Поэтому его молчание — в «болтливости» и недержании речи. «Болтливость», столь возмущавшая Хайдеггера, — потом она обернется «безадресным дискурсом», — в сущности, сопровождает любую возможность высказаться. В «Черных тетрадах» Хайдеггер не замечает собственной болтливости и проговаривается начисто, откровенно признавая, что «Дазайн» — это воля к власти. В сущности, вся эта пафосная профашистская риторика, слегка прикрытая флером дешевой мистики и таинственности — неприкрытая болтовня немецкого бюргера. Не хватает слов, чтобы выразить пошлость, которая очевидна, но непостижима. Тем не менее, надо читать, и Хайдеггера особенно, чтобы не заразиться. Как говорил Феллини, независимо от Пастернака, который тактично вещал о Савонароле: «фашиста надо убивать в себе». Это немота, не когда отнялся голос, а когда его обретаешь, проба интонирования и развитие диапазона. Сейчас «берут на голос».

«Стихийное» свободное время обратило внимание на себя, и, хотя пускает всё на «самотёк», полагая природой, задохнувшись от открывшегося в себе, как свободой, не имеющей препятствий и пределов. Отсюда, кстати, и робкие попытки идентификации, призывы к индивидуации, самоидентификации, позиционированию и прочему хламу — к чему бы прислониться б, прибиться, прильнуть, на что осесть, но это всё — побочные партии, следствия.

Сейчас наступило время, когда ты погружен в стихию безразличия, новую стихию, как бы это ни называть: «свободного времени», «бесконечных возможностей» или как-нибудь еще. Вопрос не в том, чтобы самоограничивать себя. Ты можешь делать что хочешь, проблема в том, чего хотеть? И хотеть ли вообще?

Некоторое время спасаешься обломками превращенных форм, «творчеством», «письмом в никуда», «действием ни к чему», волей, преставлением», целями, вносимыми в перенасыщенный раствор бытия.

Организующими, кристаллизующими катализаторами может быть что угодно, даже дурные привычки (и что угодно может превратиться в эту дурную привычку — лишь бы были постоянство, ориентиры в пространстве, вер-

нее, способы превращения стихии ничто в пространство. В философии это наглядно: всё равно, кого читать. Все дороги тебя ведут единственно к себе, хотя это бегство, в том числе и «от свободы».

Все равно что следовать по линии Парменида, Платона, Плотина, Прокла, Дамаския, Дунса Скота, Кузанского, Спинозы, Канта, Шеллинга, Гегеля, Маркса, Флоренского, Адорно... или, скромнее, удовольствовавшись одним персонажем, даже одной строчкой, словом, восхитившись судьбой какого-нибудь Николая Морозова, очаровавшись, нет не неподъёмной книгой и компендиумом его трудов, а одним названием «Тьма веков при свете звезд» (даже такой веселый циник, как Игорь Губерман, был им восхищен, искренне захвачен судьбой, «потому, что есть ума у тётки Песи...»). Восхищает не то, что он сделал, а то, откуда он находил силы удивляться, жить и испытывать интерес ко всему — явно не из любопытства, а просто так, по наитию. Восторгаться какой-нибудь музыкальной фразой или, твердя, как заклинание, одну строчку Рильке: «Не до побед — всё дело в одоленье»... — достаточно, чтобы выработать себе некие принципы жизни и жить. Но недостаточно всей массы прошлого, настоящего и будущего, всей беспомощной мощи совокупного мышления, чтобы осмыслить всю бессмысленность происходящего, самой жизни, причем даже в частном случае, — твоей, — завершающейся, которая неминуемо подходит к концу, и оправдания нет.

В любом случае — это паника и истерика, боязнь открытых пространств и страсть к окончательности, уюта внутреннего мира, герметичности, и, как следствие — клаустрофобия. Содрогаюсь от страха, который больше похож на медвежью болезнь, на расстройство желудка, неумолимо проваливаясь в предстоящее, в будущее, пытаешься сохранить лицо, и беспечность, лихость и пространство свободного времени набекрень... Наверное, так чувствует себя гусеница, превращающаяся в бабочку. Шучу. Но это действительно страшно, чувствовать, что никаких препятствий нет, и всё зависит от тебя. Тут от робости и неуверенности трудно пошевелиться. А вдруг ты человек с «поруганным лицом»? (Л. Толстой).

Когда ты сталкиваешься беспримесно и бескомпромиссно только со своими пределами, ты понимаешь, что не так уж ты и всесилен, и твои скромные таланты — твоё собственное дело, так что пенять не на кого. А сил для решения проблемы даже в своей собственной жизни явно недостаточно. Тебе никто не мешает, не на кого пенять, что тебе не дали, и поэтому ты сражаешься только с самим собой, насмерть, хотя с облегчением, как в «Кругах руин» Борхеса понимаешь, что ты тоже чья-то фантазия, представление, чей-то сон. В любом случае свободное время, как некое пространство, представляет себя не по своему образу и подобию, но всегда бескачественно, как произведение, хотя это временно. Временная, смертельная вечность, или вечная времен-

ность — в любом случае только от тебя зависит свобода и во вседозволенности твоё развитие — поступок.

То есть, помимо того, что свободное время — политэкономическая проблема, оно ещё и возрожденная этика, которая давно уже сказала все, что могла — стихия не морали, а нравственности. Свобода как норев, а всё остальное — болтовня феноменологии, лечащейся заговорами, заговаривающей, заклинаящей пространство, чтоб оно залякло, замерло, и его застигло врасплох созерцание. «Замри!».

Вопрос Шопенгауэра ставится с другой интонацией, такой же, как если бы Господь Бог задавался вопросом о мотивациях сотворения мира: действительно ли он при творении руководствовался необходимостью, действительно ли он свободен в акте творения? Свободен ли я хотеть? И чего я не хочу или хочу на самом деле? Я не думаю о последствиях, я сам последствие, я непоправим (я — непоправимо), осознав свою малость, я несу ответственность в своей малости за всю Вселенную. И все вытекающие отсюда следствия, которые бесконечны. Вопрос о хотении возникает в своей грозной определенности: Мною хотят? Так уж ли я необходим? Стоит ли начинать? Если уже всё так или иначе сказано и сделано? Нет вопросов «Зачем?» и «Почему?». Воля, как иномформа свободы, на которую уповают — без оснований. «Воля — сопротивление предмета», — говорил Фейербах. Но самое большое, невероятное сопротивление оказывает отсутствие предметности — «Ничто», которое, будучи ограниченным, является неким нечто, как Артезиан, сквозь который исток, не знаящим, что он исток, фонтанирует вечность... Ограничение свободным временем, которое и организует стихию пространства развития, оказывает максимальное сопротивление, и тем требует абсолютной воли, чтобы всё это привести в движение, а не просто подлаживаться, приспособливаться к потоку, к господствующим солнечным ветрам. Как пассатам и муссонам. Эти восходящие потоки, и нисходящие (нисходящие к себе, как слабости), не зависят от моей воли. И, тем не менее, я живу так, будто я их сотворяю.

Понятное дело, что суть не в созерцании, и превращение превращения — дело всей жизни, но сейчас — хотя бы интеллигентное созерцание, хоть бы понять, что желать, как и что делать. А нужно ли это знать? Можно было бы обойтись и без пространной цитаты. всё это ничего не объясняет, и вопрос об «интересе», о желании смысла не имеет.

Свободна ли воля, или нет, в сущности — праздный вопрос. От признания и обоснования, объяснения беспричинного действия ничего не меняется — чистая поэзия, музыка, которая «нипочему» (всё нипочём), она не обоснована, но и не подчиняется причинно-следственным связям, хотя это неподчинение как раз обосновано основаниями в себе. «Оставался, таким образом, вопрос: свободна ли самая воля? — Здесь, стало быть, понятие свободы, которое до тех

пор мыслилось лишь по отношению к *возможности*, было уже применено к *хотению*, и возникла проблема, свободно ли самое хотение. Но при ближайшем рассмотрении первоначальное, чисто эмпирическое и потому общепринятое понятие о свободе оказывается неспособным войти в эту связь с *хотением*. Ибо в понятии этом „свободный“ обозначает „соответствующей собственной воле“; коль скоро, следовательно, спрашивают, свободна ли самая воля, то это, значит, спрашивают, соответствует ли воля себе самой: хотя это само собою разумеется, однако это ничего нам и не говорит. Эмпирическое понятие свободы выражает следующее: „я свободен, если могу *делать то, что я хочу*“, — при чём слова „что я хочу“ уже решают вопрос о свободе. Но теперь мы спрашиваем о свободе самого хотения, так что вопрос этот должен принять такой вид: „можешь ли ты также хотеть того, что ты хочешь?“ — выходит так, как будто бы данное хотение зависело ещё и от какого-то другого, за ним скрывающегося хотения. И положим, что на этот вопрос дан утвердительный ответ, — тогда тотчас возникает опять вопрос: „можешь ли ты также хотеть, чего ты хочешь хотеть?“ — и таким образом пришлось бы подниматься всё выше и выше в бесконечность, при чем одно хотение мы всегда мыслили бы в зависимости от другого, более раннего или глубже лежащего, тщетно стремясь таким путем достигнуть наконец хотения, которое пришлось бы мыслить и признать уже за совершенно от ничего не зависящее. Если же мы захотим принять таковое, мы с таким же удобством могли бы взять для этого первое, как и произвольно выбранное последнее, а в таком случае вопрос свелся бы просто-напросто к следующему: „можешь ли ты хотеть?“ Но устанавливается ли свобода, воли простым утвердительным ответом на этот вопрос, — вот что желательно бы знать и что остается не решенным. Таким образом, первоначальное, эмпирическое, из практической области заимствованное понятие свободы отказывается войти в прямую связь с понятием воли. А чтобы понятие свободы все-таки могло найти себе применение к воле, пришлось поэтому видоизменить его в том смысле, что ему было придано более абстрактное значение. Это произошло так: в понятии *свободы* стали мыслить лишь вообще отсутствие всякой *необходимости*. При этом понятие получает *отрицательный* характер, какой я признал за ним в самом начале. Прежде всего, поэтому, надлежит разобрать понятие *необходимости*, как *положительное понятие*, дающее смысл нашему *отрицательному* понятию свободы.» (Полн. собр. соч. М., 1910. Т. 4. С. 31–32).

Разве что ты — разрыв абсолютного надвое, на вечность и бесконечность, на пространство и время (пространства и времени в ключья), на прошлое и будущее, и ты — завершение, вершение, свершение одной вечности, и начало, рождение, основание другой, хотя это одна и та же вечность, и одна и та же бесконечность, и сам ты как часть вечности бесконечности.

«Они» — здесь сейчас, а ты как единство бытия и ничто — вне времени и пространства... А то, что сподобился видеть, как крайнее время — свободное — теряет длительность и сплошность — так это случайно, и было всегда, только видят это под разными временами в разных ракурсах.

В сущности, направления времени, векторность, линейность, или, наоборот множественность или всеобщность в единстве времен, времен во времени — это не иллюзия, а моменты, мгновения развития, отличительная черта которого, что оно конечно и бесконечно одновременно, а потому происходит в пространствах и временах, которые само же порождает своим прехождением.

По сути, всё воспринимается как свободное время, воспринимается свободным временем, оно формирует «осязательность» и восходит к чувству свободного времени, а то и ощущает. И напрочь забывает о том, как трудно оно происходило. Оно ощущает это, как будто так было всегда. Свободное время ощущает дело, как собственное тело, почти соматически. Я не оговорился, именно Свободное Время чувствует, ощущает, думает и действует, будто оно живое существо, анонимно, как персонифицированная всеобщность.

С этим будут ещё проблемы, уже есть. Взяв на себя роль божества, бога из машины, Время во многом машинное, и имеет склонность к культу времени, который ничуть не лучше культа личности. Долгие бесплодные, но упоительные споры о роли личности в истории — детский лепет по сравнению с не допускающим никаких споров вопросом о «роли Времени в истории». Начиная с Пифогорейства и кончая тайным нео-Пифагорианством современности с его мистикой числа и его культом. Шучу.

Сама проблема времени обязана свободному времени, как мышление — деятельности. Свободное время современно и только, но оно со-временно: рядом, кроме, «вблизи, вблизи и в вечном отдаленье». Оно со-вечно, но никогда «прежде» и никогда «потом». Известно, что становление — вне пространства и времени. До них. Пространство и время — прехождение, исчезновение наличного бытия. В какой-то степени свободное время — результат исчезновения и прехождения ограниченной формы наличного бытия становления — превращения. Но вот когда порождается время, сотворённое прехождением не вещей, а процессов, форм движения и превращений, вот тогда начинается изменение самого времени.

Свободное время — время превращения, оно всецело здесь-сейчас. Оно крайнее, после которого времени больше нет, — край времени и предел вечности, а вечность пребывает всегда в себе. Она не имеет внешности. Она всегда «внутри». И все, что сказано в истории философии о внешности и внутренности, о внешней и внутренней необходимости — справедливо. То есть, неожиданно свободное время превращается в этическую проблему, возвращаясь своего рода «трансцендентальной этикой». Она всегда была такой, даже у Спинозы. Вопросы свободы как осознанной необходимости, но и Кантовского «практического разума», или, в утрированном виде, «философии права» Гегеля, в сущности, относят проблему времени к вопросам этики. Что и как я могу желать? Я и сейчас полагаю, что этика высказалась вполне, а если не вполне, то достаточно, дальше она повторяется.

Поэтому проблема в неповторимости, где этика не знает, этика ли она, или нет, проблема в практической области поступка и желания. Только здесь она выступает в своем абсолютном смысле. «Действительно ли это моё желание, не померещилось ли это мне?».

Здесь есть опасность, но скорее внушаемая, осторожное (судорожное) оправдывание нищеты и нужды (в вульгарной форме, бытовой: «художник должен быть голодным», что примечательно часто слышишь от сытых, самодовольных, востребованных, сбывшихся художников). Даже если целью провозглашается развитая человеческая потребность.

Это опасение сквозит и в апокалиптическом, эсхатологическом ожидании «свершения всех времен» раннего христианства, когда времени больше нет, и в утверждениях немецких мистиков, особенно у Мейстера Экхарда о триединой смерти души, когда, умерев первый раз, душа приходит в себя и определяется, ограничивается собой, и, умерев, бежит, стремится к Богу, но в боге нечего больше желать — это вторая смерть души, и «в пепле своих крыл» душа опадает в себя, и тут она понимает и ощущает, что дана Богу «на вырост», и это последняя смерть души, после которой времени больше нет, потому что время — из нужды, «нестачи» жизни.

Возвращенное освобожденное время: когда потребностей нет — они создаются, как временные, и причины этому нет. Такова, например, искусственная жизнь искусства, создающего иное пространство, иную жизнь, хотя оно в форме подмены жизни, имитацией, созданием иллюзий, давно себя исчерпало и всё никак не может решиться освободиться от себя, пытаясь спрятаться в мире бессознательно, превращенных формах и тупой комбинаторике случайных обломков. Современное искусство просто скучно, и от скуки изды-

хает — интерес здесь продиктован модой, такой же жалкой и невежественной, как заплыванный рынок. Тут нет даже живописности старого Привоза.

То же и в так называемой науке. Все эти требования «востребованности», «применимости», механические индексы цитирования — популярщина и бюрократизм, не имеющие к науке никакого отношения. (К слову сказать, Перельмана не цитируют. Превратил он гипотезу Пуанкаре в теорему — спасибо, Гриша, гипотеза и так работала. Шучу). всё это... Представляете себе Эйнштейна (к слову сказать, устаревшего), обосновывающего «актуальность темы» или изыскания в области электричества, представленного Лейденской банкой, с точки зрения его будущего применения и перспектив? Никто до сих пор не знает, что это такое. Настоящая наука — ни для чего. Тут «прогресс» и «регресс» совпадают. Опровергнутые теории, не реализованные возможности гораздо более впечатляют, чем развитие ученого незнания.

Да, наука (единая наука) становится непосредственно производительной силой. Кроме того, истина — процесс (какая банальность, но те мне менее), и, кроме того, она — никого не интересуется, работает с горем пополам, и ладно. Это как с историей.

Есть две истории. История историков, где желаемое выдается за действительное (например, в Истории философии Гегеля). Не такое уж буйство фантазии, но в меру бредовенько. Не очень талантливо, на уровне мнения. История, засиженная историками как мухами, вся в точках зрения, представляет особенное идеологизированное пространство, в том числе и история философии, история науки — любая история. Сейчас она в раже освободилась от последних остатков правдоподобия. И тут можно негодовать сколько угодно, когда какой-нибудь Бебик, Фомин, борзописец Буровский или Веллер несут, в силу своей убогой фантазии, откровенно бредовые вещи.

То же в литературе, достаточно вспомнить Дмитрия Быкова, загаживающего пространство книгами, похожими на него, такими же лупоглазыми и жирными, с одышкой, написанными в ширину. К тому же он ещё и виршеплет. Цинизм здесь ни при чем — это воинствующий пошляк, страдающий недержанием речи, клинический случай. То же в музыке. Беспощадность Лебрехта: «Кто убил классическую музыку», «Маэстро миф» — слабая попытка скандала, — можно сослаться на сотню, если не на тысячи книг музыковедов, философов, социологов и прочих, паразитирующих на музыке, включая самих композиторов и исполнителей. Хотя, как ни странно, это не имеет к сущности музыки никакого касательства, большей степенью — лжесвидетельство и клевета, хотя бы все факты и были нотариально заверены, как медицинское освидетельствование, мокрой (от крови) пе-

чатку, или, как на рынках, фиолетовой печатью санэпидемстанции на свиных головах (мне понравилось).

Положение музыки плачевно и унизительно, но это эмпирическое экзистенциальное состояние не затрагивает её сущности, даже если она загнется в страшной агонии.

В поэзии. О философии, пораженный грибок феноменологии и прочими стыдными заболеваниями и сказать нечего. От этой вони деваться некуда, её не перетерпеть, не утешить себя, что на самом деле это запах, и всё это — болезнь роста. Нет — это гниение, и просто не замечать его не получится. Игнорировать? Соблюдать гигиену мышления? По мере сил и возможностей. Но это тотально, как старость. С благородной миной (замедленного действия) не замечать? По крайней мере, это проблема не философская. Я не ассенизатор, и эти фамилии вообще бы не упоминал, загрязняя текст. Пришлось вспомнить только чтобы показать, что мне известно об отстое мыслительной деятельности, о её нечистотах, которые не имеют отношения к издержкам мышления, но которые тоже издержки, продукты жизнедеятельности духа.

Кроме этих откровенно фальшивых рассказней, простите, нарративов, рассчитанных на дешевую сенсацию у серой массы, есть ещё область истовых заблуждений, энергия которых гонит волну, преодолевая сопротивление незнаемого и сочиняющего интерес. Я не о заблуждениях, приводящих к великим открытиям, от Колумба до «большого взрыва» и «эфира» с «флогистоном», я о честных, полных энтузиазма горениях, которые составляют пространства, где не важен результат, а смысл имеет только стремление: от беломраморной Греции Винкельмана до фантастических озарений какого-нибудь Аби Варбурга, рассматривающего развевающиеся волосы у женщин Боттичелли или Гирлондайо и усматривающего блуждающий образ (но какова идея! «Pathosformel, или формула выражения страсти», «визуальные топосы» Гертруды Бин), который приходит из античности, хотя, вплоть до высокой классики, волосы у античных статуй были накладными, а скульптура раскрашенной.

Дилетанты делали историю: от Шпенглера и Ницше до Эли Фора с его «Духом форм» и Миньковского в «Проживании жизни», как становления, и всех, кто отваживался высказаться, от досократиков до честных нынешних фантазеров вроде Умберто Эко или пост-феноменологов (я бы всех этих авторов с упоением бы продекламировал, но лучше их просто прочесть — так играют любимые произведения на скрипке, виолончели, рояле или любом другом инструменте — «хорошо зимним морозным вечером поиграть на фортепиано с оркестром». Возможно, и без инструмента, мысленно, но иногда хочется бездумно сыграть — просто так, не ради исполнения. И до меня, хотя я не

отношу себя к последним. Появилось, забрезжило свободное время, которое позволило роскошь житье-бытье миром фантазии (а она не так уж фантастична, скорее, «чудесная реальность» — А. Карпентьер), тем более что реальная действительность ампутировала и фантазию, и чувства, рационализируя, что одно и то же, саму чувственность. Чувства ведь не просто идеализируют, преувеличивают и домысливают объект страсти, наделяя его невозможными достоинствами, но они и делают чувство — сверхъестественным, и тем сочиняют, по сути, жизнь. Иначе это — не жизнь. Делая вид, что это жизнь, всё остаётся на своё усмотрение.

Правда, я лукавлю, поскольку знаю о бессмысленности писания не только в силу того, что никогда знание не бывает исчерпывающим и полным (хотя полнота времен возможна и действительна), что вообще ничего писать нельзя, так как написанного уже с избытком, но это всё равно, что не играть в шахматы, потому что многие играют лучше тебя или не любить высокую кухню — всё равно она недостижима в своем совершенстве, и пытаться нечего.

По отношению к свободному времени, которое не имеет памяти и часто воспринимается как атавизм ещё в предвидении и «предслышании» — термин у струнных, когда звук предчувствуется заранее, здесь чувство предвосхищается. В том числе и чувство свободного времени во всеединстве, и не только трансцендентальной апперцепции, как самосознание чувства, но им наделяется вся бесчувственность противостоящей вселенной, которая не знает, что она переживается, и как.

Иными словами: обретение единства не равнозначно сведению к одному, единственному, создание его, происхождение требует всей истории, всего генезиса и оно всякий раз другое и то же. Для этого не обязательно знать, что написано в истории философии по поводу Единого и Многочисленного, хотя желательно. Так что в случае со свободным временем вопрос не в однозначности — только так и не иначе.

Наука — не счастливая Аркадия, где фланируют ученые мужи. Это грязная, порой кровавая деятельность, часто сопряженная с риском для жизни, порой на грани безумия. Но современное её состояние всё больше напоминает свободный поиск, хотя часто это выглядит смехотворными задачами вроде нахождения «бозона Хиггса» и прочего, что очень напоминает создание «вечного двигателя», проекты которого не рассматриваются.

На самом деле её достижения условны. До сих пор не знают, что такое электричество, но пользуются, не могут даже определиться с зарядом, не знают, что такое притяжение, какова природа магнетизма, наконец, никак не разберутся с водой, но пользуются, не знают, что такое жизнь — вокруг только неизвестное, на грани чуда, вселенная полна загадок. Только в современной науке — всё возможно.

И есть восторг от познания ни для чего, посвящая жизнь черным дырам или блуждающим, мигрирующим и создаваемым образам живописи, восхищениям в вечность, пытаясь понять, что такое сущность человека, почему красота, изумляясь чувствам, создает их. Сама так называемая наука уже давно вышла из берегов и невероятна в каждом мгновении со всеми сожалениями, что жизнь коротка и что так мало удастся почувствовать, правда, есть смешанное чувство пресыщенности и брезгливости, потому что — не успеть, и в сердцах хочется бросить: «Ну и не надо. И не очень хотелось». Хотя хотелось очень, ведь только распалил эту неумную жажду познания, и посмотреть бы, что дальше, а прекрасно понимаешь, что путь утомителен, и ничего такого особенного там, «впереди», нет — одна тяготица ожидания, а ждать-то нечего. Жизнь не ждёт и «всё уже произошло, и безмятежных нас переменяло» (Хименес). Задачи науки напоминают сказку: «Поди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». И это замечательно. Наука, как и искусство, не столько открывает, сколько создает — её мало интересуют критерии подлинности. Она вся в предположении, почти в гадании. Она мифологична, как алхимия, и поэтичнее поэзии. Ближе к музыке сфер и к исполнению, к видимости, чем к тому, как это устроено. Но видимости чистых сущностей.

Это видимость о другом, по-другому, поскольку видимость — это отношение. Она всегда — видимость другого, которое, как превращенная форма, всегда представляет нечто не по своему образу и подобию, и это отношение, как форма превращения, форма движения, в конечном счете выступает как «то, что нужно человеку» в самом высоком смысле слова, — не прагматично. Созданная потребность, но без нужды.

Сотворение явления — всегда о другом, сотворение другого, того же самого, не иного, здесь-сейчас, на наших глазах, сотворение видимого, обнаруживания, овнешнения, то есть создание себя и своих сущностных сил — в первую очередь, воли, мышления, чувства, и воли к чувствам путем позволения им захватывать всё твоё существо. Жизнь просто так: наука ни для чего, чувства во всей (сей) исполненности, и время, как дополнительные оттенки, краски, обертоны и только потому оставленное (на развод, на раз-вид, на раз) свободное время, потому что без времени — мир на сегодняшний момент будет не полон.

Без времени — мир без будущего, но если я захочу выйти за пределы этого мира, если он опостылел и устарел, то я вполне свободен сделать это. Короче, история не исчезает, история только начинается.

История бывания, а не история историков. (Кстати, часто становление считают синонимом бывания, даже переводят то так, то эдак, но это не одно и то же: бывание — да, это становление, но оно имеет историю, свернутую, как в «онтогенезе — филогенез». Становление истории не имеет, оно скорее в не-

бывании, уж точно — не в пребывании, в отрицании, оно само — отрицание, и вне времени, время — его внешность). И почтенные, авторитетные историки не спасают ситуации. Вся история — область фантазии, особая область измышлений, «возможность врать документально». Даже фиксированное хроникой, камерами наблюдения, даже очевидное — это всё средоточие пошлости — взгляд, диктуемый на собственную историю, бестолковое истолкование вцент. Как говорил Гегель: «Если факты не соответствуют теории, тем хуже для фактов».

Но есть ещё одна, неведомая история, незнаемая — та, которая произошла, и своей сбывшестью, сбыванием истинна, несбыточна, избыточна по происхождению, а не по трактовкам. Как правило, она — неожиданна, не соответствует ожиданиям, не ожидаема, непредвидима, непредсказуема и большей частью неведома, хотя тем, что произошла — она непререкаема. Так случилось. То, что она случилась, тоже не является истиной и ничего не доказывает. Мы её воспринимаем внешней необходимостью, судьбой, фатумом, роком. От нас зависит, «принимать или не принимать». Она может застигать и не застигать врасплох. Можно быть готовым ко всему и смиряться или сопротивляться («Достойно ли смиряться под ударами судьбы, иль следует оказать сопротивление?»), и прочий хлам, но в любом случае у тебя есть возможность действовать вне всяких оснований, не сообразно им, а только своим представлениям, не задаваясь вопросом, «зачем», не следуя целям целеполагания, соответственно зазорам просветов, сквозь которые, как в замочные скважины, что-то подсмотрели. Неподогнанное зияние будущего, которое — не штакетник, огораживающий нечто, а просто живая жизнь, когда нет нужды что-то городить или оформлять — достаточно «теоретической тактильности чувств».

Истина сбывающегося, тупого и беспощадного старения позволяет чудить под страхом смерти, создавать микрочудо, которое, ты знаешь — не имеет смысла. Но есть мелкие чудеса, например, написание стихов, пусть плохих, потому, что захотелось, и это хотение в твоей власти, ты сам можешь его вызывать, потому что ты позволяешь ему быть, и его захватывающая природа, тотальность — это не выбор, а твоё сознательное действие — это единственная искусственная причина жить и писать, хотя ты сам всё это создал и объективировал, внушил себе мысль, что ради этого стоит жить и это имеет хоть какой-то смысл, который ты приписываешь этим привольным формам. Они действительно про-извольны.

То есть не надо сетовать на бредовость, заболтанность (болтанка, многих укачивает), и ненаучность массового, обыденного мышления — это процесс брожения. Нет смысла тратить силы на подгонку и приспособливание мира соответственно твоим представлениям.

Делай и ты, что хочешь, со всей возможной страстью и буйством, по-

ступай, как знаешь. Проблема в том, чтобы не лгать самому себе, а поневоле приходится врать. Невысказываемость правды. Невысказанность. Недосказанность.

Ни слов нет, ни возможности исчерпать, вычерпать несказанное, проговориться дотла, а потому — бездонность и ложь поневоле, заведомо. «Сегодняшняя правда была настолько ложью, что так и не смогла осуществиться» (Хименес). Отсюда невольная досада, почти стыд, смущение, что великая идея свободного времени несет оттенок «обещания», очередной утопии фантастических возможностей, предметности действительной свободы. И мне ли не знать колоссального разочарования, потому что свобода неимоверно трудна, и человек в свободном времени столкнется прежде всего с собой, и, изнемая в этой борьбе (возможность исчерпаема), погибнет от бессмысленности жизни, не просто поняв, ощутив, что смысла жизни нет, но что его предстоит создавать всё время, как и само «всё время» — из ничего, как и саму жизнь — и никакой «награды», «искупления», «предназначения» не будет. Ничего не будет, а только есть и не есть сейчас, и никогда потом. Только неповторимость и невозвратимость, необратимость, но обращаемость последнего времени — это обращение — музыка. Потому что истина лжива в силу бесконечной изменчивости. Сомнение — несомненно. Однако, нужна некоторая решимость, чтобы что-то сказать. И хотя утверждение заведомо ложно, зная это, следует отважиться нечто утверждать. Потому что оно обретает истину, истиной кажется, и даже бывает ею, живет.

Поэтому, мне кажется, что я понимаю фальшивый пафос риторики Хайдеггера, позволяющего себе пышный дурноцвет шикарных, красивых фраз ради красного словца, сомнительную поэзию кондовых тяжеловесных тевтонских афоризмов, потому что такое может настичь (постичь и почтить) каждого, как недуг («недуг», который на дух не переносишь, пролежни текста), ржавчина помпезности случившегося, но как бы там ни было, понимаешь всю замороженность, магию самого языка, над которым ты не властен, и на всякий случай, пошло всеяден... Как бы не упустить, не потерять. Передоз языка. Независимо от того, верно ли наше представление об истории или это домыслы (противное слово «домысли», как насморк мышления), она (история) есть по истине, как то, что случилось, произошло, к счастью или несчастью, хотя от этого не стала необходимостью.

И это всё вещный взгляд на вещи. Взгляд притерпелся до неузнаваемости. Вещь стерлась от употребления в предметность. Вещь облезает с сущности, линяет, и всё проходит стадию превращения в искусство, тогда как предмет искусства пытаются превратить в вещь. Но это временно. И всё это потому, что деятельность имеет дело не с вещами в их единичности, поставленной на поток, а с процессами, и далее вообще в формах движения материи. То есть

речь даже не об историцизме, как критицизме, а об истории, об историчности, то есть временности и преходящести, о возникновении и исчезновении, о сиречь превращении. И смысл в попытках управлять историей (хотя мы знаем, к чему это приводит, но это как с ядерной энергией — риск есть, и мы не знаем, оправдан ли он, но от этого невозможно отказаться), а не в историографии или изучении самих историков в их автобиографиях, которые представляют собой их творения. Их пример поучителен, поскольку показывает, что с людьми делает время, но тут интересен опыт отсвета, рефлекс, самосознание, потому что ты точно так же заведомо ошибочен в своих саморефлексиях, оценках происходящего и произошедшего. Ты сам — заблуждение, и хорошо, если заблуждение времени или собственного желания заблудиться и не знать, где ты и кто ты. Поэтому искусство — самый невинный вид опыта: кроме автора никто не страдает. Безобидный образ феноменологии, которая «музыка о музыке» (Адорно о Стравинском), перефразируя, пытается быть «философией о философии».

Философия философии, к которой хочется апеллировать, или любой «тавтологии», категориальной тавтологии в пылу формальной логики: «искусство об искусстве» красота красоты и т. п. тавтологичны уже «трижды», поскольку это она и есть, во всех своих возможностях. Философия всегда о себе. Это она и есть. Но — собой. Феноменология — ряженая, она прикидывается. Но роль играет настоящую, и чувства не поддаются сомнению, даже чувство сомнения, или сомнительные чувства. Прикидываясь сущностью, она — искусство в его всеобщности. Любая тождественность тавтологична и абсолютна. Она полностью исчерпывает существо дела, потому что всегда о другом, и возвращается к совпадению начала и конца, жизни и смерти, бытия и ничто и прочее, тогда как свободное время может быть только о другом, другим о вечности, значит, о том же. Собственно, вся феноменология — это карнавал превращённых форм.

Озадачен тем, что «возвратные формы», которые уже сняты и, по сути, преодолены, будут принудительно вноситься как каноны эстетического, безвкусного в живое движение в своих репродуктивных архаичных проявлениях, как рудиментарные отжившие моменты. Принципы, этические нормы, цели, традиции, любезные знаменитому физиологу Ухтомскому мифические «законы доминанты» будут долго ещё принудительно следовать мусором, исчерпав себя, как несовершенный передаточный механизм освоения чувств.

Как игра всех духовных и физических сил шиллеровского толка, обучающая превращённая и превращающая форма, симулятор в духе Хейзинги, хотя бы потому, что ничто человечес-

кое — не дано. Никаких доминант, прогрессов и регрессов приоритетов, норм, эталонов, хотя рецессивные направления существуют, но мы о них не знаем, хотя думаем, что они очевидны. Хотя бы потому, что мы имеем дело с неизвестным, а оно может быть воспринято превратно.

Помнятся сетования сокрушающегося Владимира Соловьева на теорию Чернышевского. Почти зависть (впрочем, знакомая каждому, когда с восхищением наталкиваешься на потрясающую фразу, но которая потом убого раскрывается в невыносимую банальность). Гениально Чернышевский написал: «Прекрасное — есть жизнь», но не понял, что написал, а понял, надо полагать, Соловьев, хотя, может быть, это он не понял, не смог понять Чернышевского? Вопрос не в том, кто кого и как понял. Проблема в том, что в любом случае мы говорим не то, что думаем, и всегда — не то, что хотим, оговариваясь.

Никогда невозможно высказаться адекватно. Так что и со свободным временем то, что в одном случае будет необходимым по отношению к основаниям, в том же самом, а не другом отношении, может быть случайным и даже свободным, случайно свободным, и необходимость — случайной — может быть, а может и не быть собой, и тут есть риск заговариваться, но, если всё учитывать, и не отважиться на высказывание, то гарантированно напишется нечто серое и безликое, как будто все краски смешались и рисунок — траектория твоего движения, не прописан и представляет собой селевой поток, сметающий всё на своём пути.

Больше всего мне хочется написать: «Делай что хочешь!» — всё равно будет получаться «что можешь», как получится, и убогость получившегося будет ныть больной совестью, преследовать тебя всю жизнь.

Поэтому большого труда стоит все эти допуски забыть и не давать попусту себе индульгенцию к действию, сочинив себе «упоение» и «самозабвение» деятельности.

Все развитие в форме истории происходит за счет свободного времени, свободным временем. Оно опредмечивается так же, как в своё время рабочее время аккумулируется, сосредотачивается, овнешествляется в вещи, как ни странно, освобождаясь в ней и питая свободное... Но свободное время — не-время — оно ограничено временностью, а по существу, по фактуре оно — вечность. Мгновения вечности. Вечность — всегда

внутри, и бесконечность овнешниться не может, в ней — всегда посередине. Бесконечность — предстоит, противостоит.

Все разговоры о страшных скоростях нынешней жизни — от головокружения. (На самом деле скорость вполне безразлична, и такой была всегда, заставляем ли мы миллионы лет проходить за долю секунды или оставляем все, как есть, в любом случае это бессмысленно по отношению к вечности и бесконечности. всё находится в этом огненном движении, вопрос в том, чтобы не свихнуться от незнаемого, от загадочности и невероятности того, что происходит, от загадочности универсума, где всё непостижимо и едва приоткрывается, как тут же становится непонятым.

Нет ни одной решенной проблемы, есть некоторая приспособляемость, позволяющая претерпеваться к тому, что происходит, пользовательски набрасывая флёр обыденности, но суть остается скрытой, не смотря на то, что мы живем противоречием, и непостижимость нам родственна, а чудо привычно до зевоты.

Да, время «сокращается», стремясь к бесконечности, интенсивность увеличивается, как и возрастает роль видимости (поручкой тому феноменология, которая гипертрофирует не столько уже видимость, сколько кажимость) и это не трансцендентальная иллюзия.

С развитием СМИ философия стала доступной и тиражированной, расхожей. Своего рода проверка философии славой и популярностью. Демократизация её — штука хорошая, и СМИ не виноваты. Но началась работа на потребителя, и этому оказалось невозможным противостоять. Просто всеобщая нео-либерализация хитро передёрнула: оказалось, что против развития философии переть трудно, но можно сделать её не элитарной, а общедоступной, подменив феноменологией, а остальное доделает толпа. Философия требует всего существа, а её, условно говоря, пустили на модные тряпки. Нынешняя мода, пост-феноменология к философии не имеет никакого отношения, хотя слова те же. Короче, философия упразднена, укорочена. Это для очень сильных людей. И то, что они «о своем» ничего не говорят об идеях, их «высокости», «идейности».

Идеи, даже оплаченные кровью, за которые жизни кладут, тоже могут быть пошлыми и жалкими. Тут можно долго вещать, но без толку, бесполезно. Заведомо гиблое предприятие. Философия всегда была не нужна, но сделай её праздным занятием и обозначь в этом её нужность и полезность, как философия исчезнет и станет способом недомыслия, феноменологией, модным брэндом. Это всеобщее явление, и философы сдались один за другим, оптом, потому что соп-

ротивляться нечему. Их победила легкость и болтовня. Побеждать было некого. Их извели образованием. Преобразовали в феноменологов, наблюдателей за формальными изменениями.

Философия не исчезла, но стала «философией в эпоху всеобщей воспроизводимости». (Я вовсе не за кустарную философию, но она стала сверх-массовым бессознательным. Что ни хорошо, ни плохо, просто её подвергли очевидности, как экзекуции, причем публичной. Сердешная скончалась, сконала. Роботизировалась, став пост-индустриальной философией, и «вместо сердца пламенный мотор». Ну, что ж, такова её планида. Значит, время философии кончилось. Но это не значит, что надо любить то, что идет к ней на смену. «Стокгольмский синдром» и тут есть. Просто мы рядовые заложники ситуации).

Феноменология после Гегеля с легкостью воспользовалась спекулятивностью и начала производить из себя паутину. При этом после утраты философии феноменальностью, как элитарностью, профанирование, разбазаривание философии в быту стало как требование и возможность появления устриц и черной икры с шампанским в киосках с шаурмой (кстати, великолепное блюдо, если профессионально приготовленное в ресторане). А тут — заменитель вкуса, «фальшивый заяц», фальшивая икра, которые тут же мечут имитаторы мысли, тем более что философия — даже не высокая кухня. Но тем не менее, мало того (невольный каламбур), что феноменология — торговля краденным, это ещё и эрзац. Философия всмятку. Какая уж тут жизнь. Свободное время подменяется свободной торговлей и так далее. (Я бы сослался на Таро: «Словно можно убивать время без ущерба для вечности!», но стесняюсь банальностей. Слишком уж это простовато).

«Плотность» «атмосферы», «ноосферы», «креатосферы» достигла критической массы, чтобы в этом спертном пространстве, начались иные, неведомые процессы, которые, разогреваясь, «текут», «оплавляются» под страшным давлением превращаясь в само превращение. Свободное время достигло такой степени концентрации, чтобы переосуществиться, пресуществиться, превратиться в инобытие. Свободное время — утрата длительности, протяженности — оно протяжно, но не тянется, разве что в росте, к свету: некоторая гелиотропность. Оно, распространиваясь, сокращается в длительности. Свободное время, как свет, растерялось, рассеялось, теряет направление и основание, последовательную логику причинно-следственных связей. Это время без пространства. Оно само и есть пространство. Логика бесчувственного ощущения, момент события, в котором логика дела отсутствует. Само себя отрицающее — и в этом ощущающая здешность, настоящесть, отрицание.

Но это ещё — упраздненное время, которое не свободно, а в этой нетости, лишённости, восстанавливает всё время по виду и для вида. Невозможно восстановить ни как оно было, ни что это было — только кажется, что можно схватить, как оно есть и как его нет в каждый момент, который тоже в исчезновении. Нечто происходит и с историй, историчностью, помимо воли историков. (См. интересую книгу Эдварда Галетта Карра «Что такое история? Рассуждения о теории истории и роли историка». Книга интересна своей беспомощностью, как, впрочем, и знаменитое, но уже забытое произведение этого автора с претенциозным названием «История Советской России» в 14 книгах). Очень наглядно видно, как история становится заложником общепринятых идеологем.

И, конечно, на это, сразу после философии, обратили внимание все остальные, оставленные в неведении и там устроившиеся: наука, искусство, пожалуй, и область технологии, где последняя что-то собирает с завязанными глазами. Философия научилась пользоваться метафорой как транспортным средством (в современной Греции до сих пор «метафора» — синоним общественного транспорта, своего рода трансфера) которая сама возникла как эйдос свободы в своей три-ипостасности — эйдос, сама свобода, и интенция, изображение, видимость, кажимость свободы — забыли о её самоубийстве как самодеятельности — свобода обречена умирать, сбываясь, и тем порождая время.

Но многочисленные фантомы свободы, изображающие её, играющие роль, и неплохо, угрожающие самоубийством от её имени, растаскивают, разоряют пространство, забивая просторы свободного времени, истребляя его в чистом потреблении). Этим всю спекулирует искусство. Оно стремится стать имманентным, «просто так», откровенным, себе тождественным, явленным, даже наявно, и оставаться в области феноменологии, и «ради бога, не надо иного».

Оно нехотя, как время, помимо желания порождается исчезновением, лишённостью, рождает чувство — даже беспредметностью, одним непредусмотренным отсутствием, например, желанием любить, желанием желания. Хотением, чтобы было.

Так называемая наука недалеко ушла. Она имеет дело с неведомым, и тут Гёте прав: «В том, что известно, пользы нет — одно неведомое нужно». В этой беспросветности, кромешности, при тусклом свете немногих созвездий, теряющемся в ослепи-

тельной тьме, так, что хочется зажмуриться, всё происходит помимо твоей воли и ощущений.

Но удивление, которому пели осанну многие (если не сказать изумление, выживание из ума), заставляет уповать в наивности, надеяться на чудо, и это моление о чуде неистребимо. На этом, вопреки безнадежности происходящего, держится интерес к жизни: «а вдруг...», вопреки беспощадной очевидности.

Наука близка к безумию в своей бредовости — она недалеко ушла от тех мифических представлений, что Земля плоская, лежит на трех слонах, а те стоят на черепахе. Все современные представления сводятся к тому, что слоны страдали подагрой, а черепаха была хроменькая и правой лапкой подгребала хуже, чем левой. Кстати, скандал разразился не тогда, когда доказали, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, не из-за гелиоцентричности, а ересью было, что орбиты неконцентрические, а эллиптические. Я при определенных оговорках могу принять верование Флоренского о геоцентричности (как эгоцентричности), вернее, антропоцентричности вселенной, поскольку, если это не так, то, по крайней мере, интересоваться может только это: в какой степени всё сущее относится ко мне, ну ладно, к человечеству.

Так вот, удивление (с легкой руки Аристотеля) и сомнение (с тяжелой руки Декарта) составляют основу всякой науки, пришедшей в сознание и самосознание. Восхищение самим процессом мышления, — даже наслаждение, — примиряет с мыслью об «учёном незнании» и бессмысленностью жизни (по крайней мере, с её бессмысленностью без меня. Шутка). В любом случае, «наука» — сгусток в большей степени мифологии, причем в современной понимании, предрассудков, заблуждений и бессилия разума, средоточие глупости и жалких попыток что-то объяснить, хотя попытки грандиозны. При помощи глупости не столько объяснить, сколько замылить то, что происходит, примирить с бездной, иначе жить невозможно, постоянно на краю, на грани ничто, небытия, ввиду смерти. Человек изо всех сил создаёт привычку, банализируя смерть и опошляя её (хотя она и есть потрясающая пошлость, грандиозная вонь смердящей вселенной). Смерть нейтрализуется чувством юмора, над ней можно посмеяться, но её нельзя избежать. И самое смешное, что обычно человек невольно подражает смертельности, пытаюсь не замечать и живя так, будто впереди вечность.

Вечность действительно впереди, и позади, и даже нынче, хотя и предстоит, маячит, создавая это «нынче» сейчас, но вся неповторимость создается умиранием. И оно торопит. Не успеть. Хотя торопиться смысла нет. С каждым действием, словом, книгой, спектаклем, фильмом времени всё меньше, и, куда не глянь — смерть в пол-неба, как горизонт.

Наука метафорична и символична в большей степени, чем литература, она поэтичней, смертельней, чем поэзия и фанатична до одури, чем и живёт, и всё это — бытие свободного времени, которое можно сравнить не только с пространством человеческого развития, но и с «подъемной силой», порождаемой разреженностью этого времени над верхней кромкой крыла, то есть его нехваткой и воздушной подушкой экранолета при атаке на скорости, то есть опоры — на прошлое, опыт и целеполагание — в никуда, ради сиюминутного же эффекта. Так и в жизни, которая имеет начало и конец, и с этим приходится считаться.

По-настоящему, а свободное время всегда настоящее, современная наука занимается только собой, пытаясь превратиться в философию, и, в конце концов, в чистое мышление. Я всегда говорил, что философия — поэтика бытия, если и наука, то наука о том, как бывает поэзия бытия. Бывание — становление — единство бытия и ничто. И речь идет не о представлении, «какое все», и как всё устроено, куда всё идёт и чем кончится, не в прогнозах, не в любопытстве дело, а — как это всё пережить и почувствовать. Образ науки — не в наукообразности. Суть в том, чтобы сделать из нее чувствилище, орган, органон чувств, вернуть им стихию, где они и есть эта стихия.

Вот свободное время и есть такое последнее время. Не потому, что «последний путь», а потому что свершение всех времен, как повелось с древности, когда времени больше нет. «В моем начале — мой конец» (Элиот). И времени жалко, поскольку, превратив его, потребив, мир становится неполным на целое время, и оно своей лишённостью восстаёт из небытия.

Но это время вечное, время свободное, вешнее время, время жизни. Оно не имеет возраста, но стареет, ветшает, правда, как «твоя пора» («Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый час уносит частицу бытия... А мы с тобой предполагаем жить...», когда «всё к небытию стремится» уже без «что б к бытию причастным быть» (Гёте).

Усталость свободного времени — это табу. Я бы мог написать книгу о его старости, и многие могли бы, но это не «поседевшее великолепье наших помыслов, наших идей» (М. Светлов). Это можно просто не учитывать — это вопросы эвтаназии, и рассматривать их не надо в силу их неизбежности и неумолимой поступательности. Старость — противоречие, которое устает разрешаться, теряет ритм, биение, разрешение, и это как остановка сердца.

Да, конечно, есть что-то такое в том, чтобы рассматривать только жизнеутверждающие теории, даже те, которые утопичны и не могут осуществиться. Не могут остановиться. Катастрофические ситуации нет смысла рассматривать, пужая обывателя очередным концом света. Это как глупое предвидение собственной смерти. Мы все умрём. (У каждого своя «Смерть Ивана Ильича»). Ну и что?

Свободное время вообще не нуждается в теории, а только в бывании, потому что оно и есть это бывание, и страдает только от недостаточности, стесняя развитие своей не полной, не тотальностью, выступая как нестерпимая жажда, неразвёрнутость, несовершенство и несовершенство. Все, что смертоносно, должно быть устранено по этическим соображениям, как и то, что безобразно, либо смерть использовать как оружие (орудие, механизм, способ) освобождения. Маркс вполне мог бы, и наверняка заметил, что свободное время, как форма общественного богатства, да и вообще, как время, чревато гниением и приведет к страшным последствиям, к человеческим жертвам, где, останься свободное время в пределах капитализма — оно само человечество принесет в жертву и сделает бесчеловечным. Он знал это, но для него этот тотальный фашизм: власть, насилие, принуждение, пусть даже к свободе — были не этичными, безнравственными, поэтому он не рассматривал это как проблему. Либо решается это противоречие, либо смерть — в этом случае вопрос метафизичен и формальнологичен (формальдегиден). Никакой диалектики, и тем более компромиссов и эклектики. Это условие, без которого все дальнейшие манипуляции со свободным временем — извращения. Такого гниения не должно быть. Но оно есть, и в этом весь ужас агонизирующего бытия. Не живётся, хотя формально всё для этого есть, даже жизнь, и в избытке.

Свободное время как последнее время не допускает альтер-

нативы: или так, или никак. Оно признает только всеобщую диалектику своей гибели. Поэтому я и говорю, «если будет что-то вообще». Движение к собственной гибели. По этой причине я не делаю прогнозы, как это выглядит на данный момент. Безвременье свободы, время смерти воспринимаются как освобождение.

Как назло — горячечный поток сознания. Пишутся «Авантюры», но мимо. И вот это исчезновение просто физически мучает. Экономь, не экономь, а время невозможно накапливать — всё равно — «фурия исчезновения», (свобода как таковая). И в этом его смысл — чистое исчезновение. Название условное, бредовое, тем более у Д. Лигети есть произведение «Авантюры». Могло быть другим. Любое имя изменяет оттенок проблемы. Но суть в перерыве постепенности, в том, что время теряет длительность, сплошность и последовательность, становится основанием для появления идеального, а там уже и вся эйдетика, со всем образным мышлением, которое «делает вид» и пытается быть искусством, где казаться — и значит быть. Тут бы от разрыва сердца не умереть. Но пусть уж лучше пар в гудок уходит. Смысл писания в бессмысленности «dixi». Я сказал, я осмелился, хотя читать никто не будет.

Что касается «Последнего времени», то там, да — это другое название «свершения всех времен», и это исчезающее время перед вечностью. Время ещё сохраняет направление, как река, впадающая в океан, как течение (например, Гольфстрим или Курасиву), но берегов уже нет и этот «подвижный образ вечности», по сути дела — «неподвижный образ времени».

Свободное время, как кристаллическая вечность — уже не вполне время. Вернее, это плазма вечности — не вполне время, и не вполне вечность. Оно — подвижная вечность и время перехода. Тут нельзя говорить о времени перехода, превращения, а только о времени развития, которое это развитие порождает, как природа, порождающая и порожденная. Здесь исток времени и его устье. И ещё — это как конец жизни, о котором обычно не думают, увлеченные вечной жизнью становления, а тут приходится умирать наяву и в грезах — «все, что возникает» вовсе не заслуживает своей гибели, и совсем не стремится к ускорению, к своему концу, стремясь превратиться в иное. Просто хотело бы остаться самим собой. Без начала и конца.

И книги должны быть такими, и люди. Поэтому эта — не имеет

направления, и даже решусь сказать — смысла. Она ни зачем. Пользы никакой. Если это похоже на зарисовку с натуры, значит, это и так есть, так и есть, привиделось, а если это иначе, то пройдет без следа, хотя, подозреваю, правду не узнать: пройдёт ли?

Я сам много раз писал о скорости превращения. Нет никакой скорости, но есть плотность движения, а не мельтешение, как мы не осознаем, что всё состоит из атомов, потому что — не состоит. Вопрос не в состоянии — в движении. Не думаем о фантастических скоростях, но всё отсчитывается от скорости света, и даже мыслим мы со скоростью света. Вопрос только в превращении в пределах одной жизни и во всеобщем становлении, да и то в видимом и слышимом диапазоне.

Жизнь равна форме движения в себестождественности. Жизнь — это рана. Она не заживает. Поэтому говорят «время лечит раны» — брехня, время растравляет раны, и оно сочится, как уходящая жизнь. Эта книга о неведомом. Она — наверное. Но не гадание. Сложность в том, что невозможно схватить этот поток плазмы. Он в бесконечном изменении, превращении. И не только в том проблема, что нельзя выразить как нечто, и даже — ничто: потому, что каждое слово делает эту книгу другой, изменяя ее, даже интонация. Любая ассоциация. Если не впадать в отчаяние и относиться к этому, как к природе мышления, сверхпроводимости идеального, хотя это не так, вспомним о «сообщаемости» И. Канта, то книга, как и любое произведение искусства, всё время другая, и не только в результате освещения, но и в силу бесконечной подвижности, сверхтекучести, которую никаким магнитным полем и силовыми линиями не удержать. Так что зачерпни, сколько можешь и используй в качестве энергии это усилие, пробуя себя на разрыв и время.

Между прочим, в свободном времени разрыв, перерыв постепенности и связь времен — по сути — тождество, поэтому свободное время бессвязно и равнодушно к внешней и внутренней необходимости. И, кроме того, оно всегда — «кроме того» и принимает различные формы движения, рассматривая их вне последовательности, как формы своего развития. «Все во всем... как сущее настоящее». Подозреваю, что мы имеем дело с коллапсом пространства. Оно свертывается и уже не стремится за пределы видимости. Это свертывание зрения. Видят то, что удобно, хотя дело не в созерцании. Дело в самом деле.

Но современная плотность происходящего настолько мгновенна, что мир не нуждается в теории. Никто не будет писать книгу 30 лет, обосновывая и доказывая происходящее. Массовая практика, безмозглость непосредственного мгновения, реакции настолько непосредственна, что унифицированное действия сразу реагирует, и анонимный субъект истории приемлет или не приемлет гипотезу. Если нужен будет очередной «эфир» будет эфир, если аура, будет аура, и плевать, что это не соответствует истине. Хочется чуда? Будет чудо-юдо. Великая литература? Музыка, живопись — будет великое искусство и, если хотите, удобная философия. Будет и философия музыки, и музыка философии, живопись её, архитектоника, феноменология, поэзия, философия философии, её чувство, она сама как переживание, жизнь, что угодно.

Ничего удивительного. Смекнули, что гораздо лучше, а главное, проще формировать желания без претензий, жить иллюзиями, чем жить по-настоящему. Но может быть и обратное: ни великой музыки, без поэзии, «без черемухи», без философии — ни большой науки — достаточно в рамках необходимого, если вообще невозможно обойтись, по минимуму скромненько, без человека, хотя при этом достигается не объективность, а монадология субъективности, без субъекта.

Мы даже не знаем, без чего мы обходимся. Не догадываемся, в какой нищете и убожестве мы пребываем, умственном так точно. Самое ужасное, что потребности в этом, не знаю в чем, нет. Это совсем не то, что испытывать ее, но не иметь возможности. Сама потребность может быть чуждой и даже противной, ужасающей, принудительной.

И тут большой соблазн удариться в психологию. С её «как посмотреть». Тем более субъективность сама становится «производительной силой». Так проще. Я и сам не уверен, а надо ли жить, зная свои границы, масштабы и прочие «размеры»? Не лучше ли полагать, что ты «самый самый»? И вокруг тебя вращается Вселенная? Ведь, если так не считать, то ничего и не сделаешь. Даже первый шаг не сделаешь. Но я о неведомом.

Сразу: свободное время — не проблема. Оно не плазма, не энергия, не динамика, скорее — атмосфера. Условие для возможной жизни. Проторазвитие. Жизнь может возникнуть, а может и не возникнуть, но необходимые основания уже есть. Свободное время — суть самой временности, которая никак

не может расстаться с самой собой. Дальше природа времени в своей избыточности не имеет смысла, превращаясь в бывание. Имеет значение лишённость. Как свершение всех времен.

Как воздух. Его замечают, когда его не хватает, так и свободное время ощущается, когда его недостаточно, и вопрос — в перераспределении потоков, в его создании и производстве. Чем-то оно сродни электричеству. Пока оно есть, его принимают, при всей динамичности и гибкости, как данность, но когда его нет — конец света. Буквально. Оно сопутствует превращению и сохранению энергии, хотя его «состояния» не поддаются учету: оно выпадает в осадок, конденсируется, аккумулируется, кристаллизуется, опредмечивает, но безрезультатно, поскольку само и есть это превращение, совершено равнодушное к формам, в которых сбывается: возникновение ли это или уничтожение.

Уже сейчас оно всецело настоящее. И никогда — не будущее. Происходит превращение его в форму общественного богатства. И это самый скучный период в истории природы и общества. Переход от превращенной формы стоимости в свободное время, но не как пространство человеческого развития, а в несвойственной ему форме праздности и ничего-не-делания. Бездействие. И тогда свободное время впадёт в возраст. Оно ветшает и стареет, умирает и разлагается. Осуществляет причудливые «забаганки» во всевозможных вариациях. Оно усиливает уже созданное, но и интенсифицирует создаваемое.

Все старые, мыслимые и немыслимые архаичные формы растаскивают само представление о свободном времени, навязывая ему аналогии, но не само свободное время, которое растворяет в своём течении, всё делая безразличным. Оно сродни электричеству в своей универсальности и равнодушии. Оно — условие пребывания, и услужливо теряется среди ассоциаций. Необходимо, как воздух, но мышление, для которого это условие не обсуждается, самим дыханием не побуждается. Свободное время может принимать любую форму движения: оно может быть как натуральный продукт, ему можно навязать все превращенные формы стоимости (и навязывают), оно обязательно для происхождения и порождения, возникновения, существования любых чувств и ощущений, но само — исчезающий вечный момент, весь смысл которого в том, что без свободного времени чувства невозможны. А когда развитие сталкивается с неизвестным, оно глотает прошлое, по капле выдавливая из него

свободное время, осадочное, однажды пережитое, добывая его как «бесполезное ископаемое», регенерируя воздух, превращая его воображением. То есть свободное время по нужде, нищее свободное время, как всеобщий эквивалент. Его пытаются измерять количественно. И навязывают ему форму стоимости, мертвую форму, но которая сама не исчезнет. её предстоит утилизировать, перерабатывать. Хотя в отношении свободного времени это как жизнь и смерть. Умирая, свет отпускает остановленный свет ближних и дальних звезд на волю, на свободу, как свободный кислород, необходимый для жизни. Исходит светом (не ограничиваясь видимым диапазоном).

При этом свободное время требует свободного мышления, свободного, а не произвольного, случайного. И в ещё большей степени в безмерности — свободной деятельности — не в чрезмерности, но в абсолютности. Ровно столько, чтобы быть собой — свободным временем, и столько, чтобы собой не быть. И чтобы свободное время превратилось в природу, ему не надо претерпевать миллионы лет эволюции — это происходит в каждое мгновение его превращения собой, не только как опредмечивание распредмечивания.

Кода-то Аполлинер издевательски употребил слово «поэтично» (такая легенда), говоря о живописи Пикассо. Само свободное время — «поэтично» по отношению к тому, как оно рождается. Это временность в чистом виде. После свободного времени временность уходит без остатка, становясь чистым превращением, которое есть лишь чистое пространство развития. *Zeinfreiheit. Временносвободность. Свободновременность.*

Тут оно по смыслу совпадает со свободной атональностью (когда-то я посвятил этому книгу. Музыка быстро убоялась этого явления и ввела драконовские правила техники и технологии (в том числе и двенадцатитоновой, а могла бы быть двадцатипятионовой), положив искусственные пределы и правила применимости и функциональности, иначе говоря, протоколы функциональности, иначе свободная атональность угрожала статусу-кво музыки, — самой музыки! При этом дав немислимое число «свобод», упразднив доминанту.

Те же процессы произошли везде: и в поэзии, которая упразднила, вернее, перестала пользоваться рифмой, оставив полиритмику, размеры, безразмерность, и прочее.

Архитектура занялась, по наблюдению Рема Колхаса, поис-

ками естественных пределов своих возможностей, экстенсивным расширением пространства, стремясь к гигантизму, «бизнесу» в поисках максимальной, а не сущности. Убольшаясь. Вслед за архитектурой и другие области потянулись туда же, к поискам естественных пределов и снятию этих пределов, слиянию в стихии всеобщности и утраты ограниченности. В своё время такая очевидность случилась в музыке, натолкнувшись на атональность, и шарахнулась в двенадцатитоновую взнузданность с шорами на ушах.

Философия ударилась в феноменологию. Я, — помните? — ещё недавно думал, что это катастрофа. Нет — это просто болезнь (оползень в себя. Обрюзгшесть, избыточность мысли, её весомости, неповоротливость, громоздкость, отдышка). Вот только не пойму: болезнь роста? Или старость, слабоумие? Соблазн велик — ограничиться явлением, которое неисчерпаемо, и просто быть регистратором.

Понятия, категории, метафоры, универсалии, трансценденции утратили направление, выразительность, целесообразность, образность, смешиваясь в немислимых соотношениях. Энтропия? Исчерпание вечного движения? Нет, свободная атональность. Атональность — разрушение (разрешение) формы, считай, противоречия и отношения при сохранении, снятия предметности в виде свободного времени, которое опредмечивается, актуализируется, объективируется (что, в общем, и значит *опредмечивается*) — и есть принципиальная разница с процессом овеществления.

Свободное время «выжимается», давится из вещей, чужности, этости, оставляя только жмых вещности. Экстрактируется. Оно настаивается на идее. Оно — экстракт из предметности. Тут — временность свободного времени из отсутствия, лишённости, поэтому процесс возникновения и исчезновения один и тот же — про-исхождение, но уже торжественно, как «Возникновенность».

Атональность — момент превращения, неопределенность. Превращение — то же становление, но не от ничто к ничто, а от наличного бытия к наличному бытию. То есть во времени, в свободном времени. Нас не интересует, что процесс может быть продолжен до бесконечности, а он может. Превращение от сих до сих, и баста.

Здесь, тут, немедленно. Свободное время не безразлично, оно

агрессивно, оно «ведёт себя» как совесть, то есть болит и долженствует без определенной цели. Сбывайся! Во что бы то ни стало!

А что не стало, а только становится, и не как «что», а в личном бытии превращения. Причем не превращение превращения тут самоцель, а как раз (как вдруг) непревращаемость. Бытие-возможность как невозможность («А люблю я одно “невозможно”» — И. Анненский).

Писать об этом можно только тогда, когда вечность и бесконечность застают тебя врасплох, или ты их застигаешь в стихийности, будто сам источник этого движения и есть само это превращение. Это как вспышка, зарница. В славянской мифологии, если верить Афанасьеву, молнии — корни света. Вспоминается, мгновенно исчезает, остается вспышка на сетчатке, как мгновенный портрет очевидности. Жизнь — остаточная память, выпадающая в осадок.

У знаменитого Чижевского есть огромный мемуар с претенциозным пафосным названием «На берегу Вселенной. Моя дружба с Циолковским». Но следует помнить, что пафосность в античном понимании это ещё и волнение, стихия пафоса, стихия восприятия и неравнодушия. Она экстатична. В бесконечности мы всегда посередине, но и на краю вселенной, хотя мы и средоточие её. Край вселенной, край вечности и бесконечности — это я. Я не только среди волн, но и сам стихия превращения и простор. Так что Гегель ошибался, утверждая, что мы на безопасном берегу истории. Нас укачивает в этой безбрежности «болезнью движения (морской болезнью) тошнит». Образ стихии великолепно передан в документальном фильме Виктора Косаковского «Акварели» (<http://kinogo.eu/10230-akvarel-2019.html>), где демонстрируется стихия воды. Слова не нужны. Так и стихия свободного времени, хотя вечное движение могло быть передано стихией огня — просто чувство, любое, в том числе и чувство свободного времени, упоение мышлением, чувство вечности и бесконечности. Вечность — не пустой чулан, затянутый паутиной (Достоевский). Вечность — это стихия Ничто. Которое только начало постигаться. Если всё иррационально, непостижимо, то и нет смысла это познавать. Оно *должно* познаваться, быть познаваемым. Не как примирение с миром, не созданием ориентиров, не обретением покоя, привычки к тому, к чему привыкнуть невозможно, не устроенностью в видимости бытия, как события своей жизни, а радостью чувства

и сознания, становления и свободного времени, я бы осмелился сказать, радостью смерти, без которой жизнь невозможна — без всякой причины и пошлой мотивации. Одержимостью становления, нетерпением и восторгом переживания. Каждый вносит неповторимость в эту стихию, своё «впервые». «Никогда прежде и никогда потом».

Я понимаю, что подобные заявления раздражают, если не поражают, как, например, восторг и оптимизм Вернадского, когда он говорит о жизни живого вещества как о горении, о теле как прямоходящем пламени и о том, что разум становится геологическим, тектоническим, а жизнь всегда сопровождает развитие материи как её атрибут и свойство, подобно пространству и времени. Человек — не только планетарное, но космическое явление, ноосфера.

Я тоже под шумок могу заявить, что свободное время выступает как среда, в своем пассивном состоянии составляя существо существования и пребывания, и в совсем активном, агрессивном состоянии, когда оказывается, что для человека вообще понятия среды не существует, он не претерпевает, а преобразует, превращает, в том числе и все мыслимые и немыслимые излучения в их многообразии, и при этом свободен от них, обретая свободу как природу не в самодостаточности, а всепричастности. Он — средоточие превращения и сам есть это превращение и развитие. А свободное время — способ развития напропалую, способ движения и предметное выражение свободы, которая с этим свободным временем превращается в производительную силу, творческую энергию как продуктивную способность воображения (что пустяки), так и репродуктивную, которая тоже освобождает свободное время превращением, как свободный кислород для возможности дышать разложением самой смерти и отпуская преобразованное излучение, выпускание света, как на сретенье, на волю. Можно сказать, что подобно тому, как «Земля охвачена жизнью» (Вернадский), так история охвачена свободным временем, которое уже не среда, а способ развития. Так что временно свободное время может быть стихией и средой, но для человека среды нет, а есть созданное пространство преобразования и превращения. Когда выразить то можно, но нечем. Языка ещё нет, но к этой неявленности можно применить все достижения, от Гумбольдта до структурной лингвистики — это работает без слов и понятий. всё ясно молча.

Меня всегда поражало, например, у Флоренского, что грандиозные идеи, фантастические и ошеломляющие, когда сталкивались со вкусом автора, выглядели почти комично. Например, в «Антиномиях языка», когда, упиваясь стихией и впадая в детский восторг онемения, Флоренский начинает прибегать к примерам созвучной ему поэзии, цитируя Фета и Тютчева рядом с Бурлюком (что тоже поражает: это же надо?!). Он должен быть догматиком, а он принимает футуристов, восхищается Маринетти, Хлебниковым. Что же тогда он видел на самом деле?

То же самое, когда читаешь «Философия искусства» Шеллинга. Пока он говорит об абсолютном — всё грандиозно, как только он переходит к «примерам», становится не по себе. Может, в этом и задача: чувствовать себя не в себе? Чувствуешь себя обманутым. Но главное, что перестаешь доверять себе. Трудно, при изопрённости многознания, отважиться высказать что-то такое, что бы не было недомыслием или даже слабоумием.

С осознанием, что свободное время необходимо для формирования чувств, мышления во всей его дискретности и сплошности, связи всего со всем и перерывов постепенности как данности, появляется произвол свободы, которая опускается до существования, становясь средою. Ты пошевелиться не можешь от зависимости, понимая причастность ко всеобщему движению, и в тоже время появляется возможность некоторой дерзости по отношению к закономерностям развития (пока, в основном, чтобы возможностями развития пренебрегать и не участвовать в самопреобразованиях, самоформировании).

Свободное время и выполняет покуда роль «бытия-возможности». Ты не связан знанием, традицией. Нет необходимости в системе доказательств, да и что доказывать? В любом случае, ты обретаешь право на ошибку, потому что всеобщая практика всё равно всё сделает по-своему, что бы ты не вытворял.

Свободное время не последовательно. Оно одновременно. И как одно время, и как единое. Оно сразу. Во всех превращениях и направлениях. Свободное время прикидывается «орнаментальной природой», безразличной к предметности. Оно, как арабески, пока кажется излишеством. На самом деле свободное время — как солнечный свет для жизни. Человечество гелиоцентрично и даже гелиотропно, но само этого не знает, оставаясь по видимости геоцентричным. Так вот, оно ещё и свободновременнотропно, то есть временность становится инстру-

ментом. Тяготение к свободному времени, как к источнику света. Причем свободное время становится, как и мышление, атрибутом развития. Свободное время объективируется и опредмечивается, превращаясь в чувства и отношения, обретая алогичную логику чувств. Свободное время как «всюдность» (Вернадский), если хотите, — душа. Нет, не годится. «Всеприсутствие»? Повсеместность? Сплошность? Да всё равно, как ни назови, назови «нетость», разрывность, связность всего со всем, прерывистость, беспредельность, предельность, вселенскость...

И тут следует отличать, где это «синдром дефицита внимания» — болезнь, которая будет усугубляться рассеянным интернетом, как рассеянным склерозом от сети, а где — паростки свободного мышления, свободной атональности, которым всегда угрожает свободное время, и медикаментозно тут не поможешь — только самодисциплина мышления и свобода, противоборствующая произволу. Свободное время это ритмы, импульсы самой вселенной, почти как жизнь в её самопорождении, со всеми приливами и отливами, и соленостью океанов, крови и слез, турбулентностями, не подчиняющимися законам гидравлики, но устанавливающим их по мере надобности. Только тут — огненная стихия, когда человек подобен пламени. Шучу.

Правда, когда универсальность, которая не может быть собственностью отдельного индивида исчезает, то своим исчезновением, она в инаковости всё же сбывается в превращённых формах. Приблизительно так, как, если не удастся овладеть диалектическим способом мышления, путем громоздкой массы триллионов формальных операций, овнешнённых тупых действий, случайными формами в массе достигается тот же эффект: перебором вариантов.

Это как природа — избыточна, расточительна, но она такова, и ничего тут не поделаешь. Чтобы оплодотворить одну яйцеклетку, надо сто миллиардов сперматозоидов — один сбывается. А может, и нет. Но всё остальное в отвал. В смерть. И по новой. Круговорот. Кипение всей материи.

В теле человека триллион клеток, а сколько молекул, атомов, элементарных частиц и прочего барахла? Почему не рассыпается? Удерживается движением? Человек — не состоит, и он может быть только при условии человечества, истории природы и общества.

Так и свободное время не функционально. У него нет истин-

ных задач. Оно попросту становится природой человека, хотя на него по привычке посягают. Поэтому вопрос о свободном времени — вопрос о власти. Речь о собственности на свободное время, хотя это заведомая наглость. Поэтому речь не о свободном времени и его производстве, а только о присвоении, перераспределении потоков, власти и эксплуатации. Это несовместимо с его природой, и при прикосновении этих нечистых форм оно протухает.

Полно обходных путей, когда идея сбывается путем суррогатного воплощения. Негодными методами, но так или иначе.

Необходимость создания сначала всесторонне развитой личности, потом преодоления личности, индивидуальности и индивидуности может принять страшные формы уничтожения и подавления. Но ведь и сам тезис создания личности отдает депотической свободой сверхчеловека. К тому же, те, кто занимаются творческим самоосуществлением, прекрасно знают, что творчество — трудная задача преодолеть себя, вплоть до уничтожения. Творчество — попытка забыть себя и не помнить себя, а не самоутверждение.

Так вот, идея преодоления личности находит себя в идее анонимного всеобщего творчества, воплощаясь, например, в интернете. Идеи всё время идут в обход, просачиваясь бесчисленным множеством путей, инфильтрируясь. Ведут тайную, анонимную жизнь, просачиваются. Все будущие изобретения, процессы уже есть. Человек не создавал электричество, явление магнетизма, жизнь — все возможные воплощения уже есть, только мы этого не замечаем и не можем видеть. Пока. Но много ли мы знаем о том, чем мы уже привычно пользуемся? Так и с идеями.

Свободное время вовсю хозяйничает, господствует стихийно, а мы принимаем это за привычный порядок вещей, хотя сущность этих процессов совсем иная. Надо ли над этим процессами властвовать? Например, над сотворением чувств? Ведь это может превратиться в селекцию и средство порабощения — воспитывать чувства с определенными свойствами? Не лучше ли оставить их в своей стихийности?

Жуть этих вопросов очевидна. Чувства могут выйти из-под контроля и быть как холера или чума. А что? Культура чувств — как культура чумы. Эпидемия любви. Пандемия добра, отдельные случаи надежды...

Или та же идея свободного времени как пространства человеческого развития. Если «праздничный» вариант не удастся, и надежды «мы все отдохнём, о как мы все отдохнём» не сбываются, то эта идея перманентного становления воплощается в черновом, трудовом и трудном варианте, более болезненном. Ведь труд, как нечто превосходящее возможности отдельного индивида, живой труд многих намного превосходит возможности даже всего человечества. Работает история, культура, причем в каждой точке своего существования в безразличии (например, в умиляющем утверждении Вернадского, что изобретение книгопечатания в Европе и введение дромадера в пустыни и полупустыни Северной Африки — однопорядковые явления для развития культуры — то есть в культуре не бывает малых и больших событий, есть сплошность, и в развитии науки как непосредственной производительной силы, и не только, когда она может быть и сама по себе, становясь образом жизни) само время, которое, к сожалению или к счастью, свободно в своей объективации (а объективирование это и есть, буквально, «опредмечивание», в отличие от «реификации», овеществления. Причем овеществление и опредмечивание, при всей схожести, не снимаются одно другим. Они антагонисты, хотя — процессы одного и того же труда). И это умножает мою единичную мощь до уровня всего совокупного усилия человечества, так, что для это меня выглядит как увеличения силы до бесконечности: и в мышлении, и в актуальности, и потенциальности, до того, чтобы быть — формой движения. И ограниченность для меня тоже бесконечна, как пограничье, граница и предел, которые тоже являются превращением. Это не добавочный труд, не прибавочный, а тот избыток, сверх-, который произрастает как сверхусилие, порождающееся просто так, не предусмотренным. Сумма больше совокупности частей. Энергия, превышающая сложение усилия.

Чем-то этот вопрос о власти над свободным временем напоминает ирригационные деспотические общества, которые, владея водой, использовали её как убийственное средство принуждения. Но это не имело никакого отношения к природе воды, да и к её возникновению. Можно уже сейчас сказать, что тот, кто владеет свободным временем, владеет всем.

Более того, вопрос жизни — это вопрос чувств во всём их многообразии. А чувства не количественны — не шестое, ниц-

шеанско-гумилёвское, не седьмое (Дж. Купер Рамо. Седьмое чувство. Под знаком предсказуемости: как прогнозировать и управлять изменениями в цифровую эпоху. М.: Эксмо, 2017). Чувства не порядковые (и не порядочные). Одно-единое чувство, в котором весь смысл бытия в бессмысленной вселенной: когда ты совпадаешь с развитием вообще, как будто ты и есть его самоцель. (Об этом я писал когда-то в книге «О другом», с характерным подтекстом «Законы красоты, как мера целесообразности развития вообще». Упоминаю об этом не из самолюбия, злорадного «А я ещё тогда говорил!», а просто потому, что повторяться не хочется, а переиздавать всё это хлопотно и скучно, хотя текст неповторим, ведь если я это даже просто перепишу — это будет другая книга, незнакомая).

Казалось бы, чего проще. Пиши себе о политэкономической истории происхождения свободного времени, и «будет тебе счастье». Но суть в том, что это заведомо ложный путь, хотя иногда (почти всегда) заведомо ложные решения оказываются самыми жизнеспособными. Тут то же самое, что сделало самые виртуозные решения сознательно неприемлемыми, не потому, что они неправильные, а потому, что несовместимые, чуждые. Так было с непонятым Марксом. Так было с «Социологией музыки» Адорно, и его же «Эстетической теорией». Так было вообще со всей эстетикой в её истории, хотя решения вроде бы правильные, нет, безукоризненно правильные. Так было всегда, кого не возьми, когда хотели применить теорию там, где теория невозможна не потому, что нельзя помыслить, а потому, что она мешала и становилась формой принуждения и уничтожения. То же произошло с Марксом в отношении свободного времени: по существу, верное, более того, единственно возможное решение, но этого мало. Хотя, я думаю, Маркс прекрасно понимал это, и в апологии не нуждается, до него просто не доросли. Правда, не «доросли» (мы недоросли) ни до кого, ни до Гераклита, ни до Платона, Прокла, Гегеля... ни до тех, о которых мы даже не знаем и о ком не слышали. Кто сбылся и не сбылся. Мы за ними не успеваем до отчаяния. Мы запаздываем за самими собой. Не достойны самих себя. Даже в индивидуальном существовании. Я не дотягиваюсь до самого себя в возможности.

Можно малодушно списать всё на перманентную, хроническую, временную усталость, на нервное истощение, на старость, но это уловка. Хотя мы все как больные. Однажды, ещё при жизни, понимаешь: «Все, больше не могу». ещё шеве-

лишься. Что-то изображаешь, но все. Ты не сдался. Каждый раз как последний. Но «выгорел». Когда живешь на пределе, как на гребне волны времени, серфингуешь, упиваясь движением, однажды наталкиваешься на невозможность, и эта возможность — последняя.

У Межирова есть потрясающее стихотворение, есть разные начертания, но это очень точно, а главное, кто из повседневных, нынешних, знает, кто такая Гельцер?

#### ИЗ ИСТОРИИ БАЛЕТА. ЛЕСТНИЦА

Гельцер танцует последний сезон,  
Но, как и прежде, прыжок невесом,  
Только слышней раздаются нападки,  
Только на сцене, тяжелой как сон,  
В паузах бешено ходят лопатки.  
Воздух неведомой силой стеснён —  
Между последними в жизни прыжками  
Не продохнуть, — и худыми руками  
Гельцер танцует последний сезон

Я бы написал задыхающуюся книгу, не ту, полную надежд и ожиданий о свободном времени, а о свободном времени и усталости, когда свободное время — время разочарований, а не очарований. «Время — не очарований». Не очарованное время. Я бы написал, но зачем? Чтобы боялись? «Предупрежден — значит защищен?» Чтобы жили в ожидании и страхе? всё само придет, свалится, обрушится, грянет или тихо исчезнет без грохота. Ни к чему готовится не надо. В молодости надо идти, не оглядываясь, хотя откровения не «в грозе и буре» («доннер веттер» — страшное немецкое ругательство), а в открытости твоей, а не тебе. Способности очаровываться. Чтобы было не стыдно. Свободное время не очаровательно. Оно — очарованное, не чудесное, а чудовищное в своем непостоянстве.

Казалось бы, ощущение заката полно трагизма. Но закат приходит иначе. Гельцер — балерина не моего поколения, а десятых-двадцатых годов двадцатого века. Мы очаровывались Максимовой, Уланова ушла на нет раньше, но сейчас без смеха на Гельцер (да и на Нежинского) смотреть невозможно. Умение, не заблуждаясь, смотреть без смеха на прошлое, со смехом на будущее, а уж на настоящее... — это и есть мужество жить. Я не могу это выразить, но очень наглядно то, как Гельцер танцует с Тихомировым. Я не о балете, представляю, что их танец под музыку (на музыку Шуберта) вызывал крики «Браво! Гениально!». Это было

искренне и с неподдельным экстазом. Я уже в том возрасте, когда смешон, когда тоскливо жить. Когда я слышу: «А вот в наше время...» — понимаю, о чем это, но эта неподражаемость, неповторимость чувств, она тоже смертна. Гербарий их хрупок и пылен. Любая проблема, любой оттенок, момент любого времени может вернуть себе нежность, свежесть, первозданность, неповторимость, жизнь именно в свободном времени и свободным временем. Оно возвращает к жизни, протирает глаза, возвращает первозданную свежесть восприятия штампам, прощая, но может только пошло ретушировать и освежать, по желанию, потому что оно — пространство развития не только человека, но и его чувств и предметности, событий, воспоминаний — живая вода, как в первый и последний раз. Стоит только захотеть. Но как? Свободное время — время превращения. И, когда наступает пора и всё начинает рушиться и предавать — музыка и поэзия, философия и живопись — начинаешь замечать изъяны и неловкости в Мандельштаме, Рильке, Моцарте и Бахе, а уж на себя без отвращения смотреть не можешь, свои тексты не перевариваешь и живешь кое-как, — вспоминается радость и неповторимость, беспричинное ощущение, которое всё это сопровождало: «Чему когда-то верилось — забылось»...» «Но ты, неверная, нечаянная радость, не забывай меня... Не позабудешь?». Это тот случай, когда свободное время позволяет быть вне времени и пространства и оставляет нечаянную радость самих «когдашних» чувств, хотя всё это выглядит сентиментально и смешно. Может быть.

Свободное время столь изменчиво, что оно разное — в эпоху античности, средневековья, в нынешнюю. Оно изменяется ежемгновенно, всегда. Его нельзя хранить, накапливать, и всё же, достигнув критической массы, оно — условие порождения чувств, мышления, всех сущностных сил человека, само — универсальная сущностная бессильная сила. Сила без силы, энергия без энергии, динамика без динамики. Не становление становления, а становление без становления. Превращение без превращения, то, что происходит, не происходя.

Это изменение, как таковое, даже не «изменение изменения», но которое свободно, без принуждения, изменяет, вернее, возвращает изменение всему, что давно забыло о движении. «Затягивая всё, что истомится, в оцепенелый свой водоворот» (Хименес).

Современность этого не понимает. Она по-прежнему мыслит сугубо потребительски и не без оснований. «Весь мир принадлежит сантехникам». Без всей мировой поэзии, музыки и философии можно обойтись, а вот без сантехников нет». И это чистая правда.

Грядет катастрофический сель. Мир не готов превращаться, и, тем не менее, превращается. Но не успевает. Мыслит масса, которая субъект движения и его результирует. Роение бесчисленных авторов рождает серую бесцветную картину. Будет ли энтропия? Это и есть энтропия — начисто лишенное остроумия, не то, что юмора, расплывающееся, разлагающееся бытие, если победит форма стоимости, хотя, как знать? Проблески отчаянного, сумасшедшего развития всё же есть.

Я не пугаю, я даже не чувствую себя неудобно, и ни на что не надеюсь. Есть только желание скорости прехождения: скорей бы. Становление имеет побочный эффект ожидания и нетерпения. На место автора приходят суррогатные формы коллективности, демонстрирующие новообразования — это надо принять, как неизбежное. Но если хочется сопротивляться, то сопротивляйтесь. Свободное время — стихия, неопределенность, безразличная к форме воплощения, надо быть готовым о всему: к тому, что язык немотствует, он даже не средство общения — «заменен протоколом» (Купер). Плохо то, что нет альтернативы. всё принудительно изменено двоичным кодом. Да и само свободное время может быть репрессивным аппаратом. Наказанием.

Свободное время это не просто молодость философии — это единственный способ выжить, пребывая в сознании и чувствах. На болевом пороге просыпания, пробуждения, хотя и не хочется («я б хотел забыться и заснуть»). Но свободное время, как последнее из времен, страдает бессонницей. Оно пробуждает к жизни, даже если поздно. Особенно, когда поздно.

# БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЛОГ

(Тенденции-интенции)



Писанное по воде вилами не вырубешь топором, вырубешь — не поймешь.

В сущности, эта книга действительно последняя: точку поставит естественное исчезновение. Поэтому у меня нет потребности сдерживаться и картать текст соответственно правилам. Сколько получится. Я не учитываю ни динамики, ни меры, ни соразмерности. Здесь «экономия знака» и скромность в средствах выражения в безудержности. Это бесконечное предисловие и послесловие. Длинные цитирования или короткие ассоциации — не суть. Смысл — в самом происхождении. Меньше всего я думаю, будут ли её читать.

В конце концов, большое свинство, чтобы тратили время своей жизни на созерцание этой стихии и этого звёздного неба «внутри меня» (Парацельс). всё же лучше — над головой. Как стяг. И я понимаю, что это туристское любопытство. Посмотреть, почувствовать. Присутствие около бесконечности, на околице действительного и возможного. В общем, по большому счету, это всё — не для печати. Чистое прощание. «Вот так мы и живём, всегда прощаясь» (Рильке). Не попытка напомнить о себе, не способ окликнуть, что был. И тем создать некую турбулентность мысли, подёрнутой рябью слов.

Тут упоение преходящести исчезновением на «всегда», на никогда больше, и тем — неповторимости. Когда мифы о извечном возвращении, впервые столкнувшиеся с тем, что всё уже было, оставлены для молодости. Извечное невозвращение, невозвратность как неотвратимость. И бесконечность здесь. В каждом мгновении. И мгновение — каждое. Я отбираю время, и это отборное время не имеет направления, дрейфует по прихоти в никуда.

Наяву, всё — в самом начале (в самом или самом), и только беспомощные абрисы философии, при всей её детской серьёзности, брезжат в нынешнем, не имея, правда к нему, к настоящему, касания.

Явь превосходит ожидания, если не быть в аффекте от плачевного со-

стояния эмпирической стороны существования. И если поэзия бессильна, например, говорить о «нежности», как сущностной составляющей красоты, то философия может и не такое, правда, пытаясь выразить невыразимое, но этим отваживается быть.

Иногда она срывается, с чистым любопытством разглядывает себя, и невозможно найти мыслящего человека, мыслящего до безумия, который бы не пытался высказаться о ней, о философии. Но, как правило, эти все попытки обнаруживали, что где-то здесь и обитает комическое во всей своей серьёзности, и все эти рассуждения, писания, трактаты на тему «Что такое философия?», «Как я понимаю философию?», «Что такое метафизика?», «Ясное как солнце...» и прочее вызывали улыбку, как и бесконечные «истории философии» — не более, чем сборники анекдотов. Хотя в этой попытке «обознаться» была бессмысленность бесконечности. Определенная свобода. Все «последние вопросы философии» — ни для чего, и обращены к Ничто, к «ни что», как сотворению из ничего, хотя «из ничто ничто не возникает».

Наблюдается и даже не впечатляет, просто фиксируется автономное явление синтеза в том, что приписывают как свойство, принуждаемое развитию науки. По умолчанию. Побочный эффект. Кто-то это называет принципом неопределённости, кто-то, попроще, считает и допускает — «междисциплинарными исследованиями», отходами производства, брезгливо морщась, хотя испокон веков известно, что «открытия происходят на стыках наук». Появляются целые определения, что считать «областью» и как из неё сделать провинцию, осуществить экспансию и оккупацию, завоевать, установить режим.

Как бы то ни было, в современных исследованиях нет чёткого различия по предмету, более, одна и та же проблема тяготеет к единству, и приоритеты в ней, и честь авторства могу оспаривать различные дисциплины (выглядит тупо), и вообще это для побирающейся, нищенствующей истории науки, искусствования и прочих паразитирующих. Может быть интересно и даже завораживать переливами оттенков, но смысла не имеет. Как игра воды в фонтанах, писанная ортопедическим «научным» аппаратом.

Обозначился слабый абрис проблем, которые условно можно называть свободными. От их решения ничего не зависит. Любое решение, ход, направление — правильны, потому что впервые они настолько за чертой необходимости, настолько не насущны, что являются произведениями искусства, проявлением свободы: хочу решаю, хочу не решаю. Они, и это превращение времени, покуда не востребованы. Проблемы-грёзы, Traum. Сегодняшние их решения совсем не похожи на суть и форму, в которых они могут быть решены. А те решения, которые будут воплощены, совершенно не похожи на свои прототипы.

Я поклялся писать без цитат, поэтому все вставки — это то, о чём говорил Флоренский, что это превращения в моё — в присваивании. То, что всё до буквы совпадает — ничего не значит. Это не интерпретация. Я так думаю, и к самому автору это почти не имеет отношения.

«Связи отдельных мыслей органичны и существенны; но они намечены слегка, порою вопросительно, многими, но тонкими линиями. (Штриховка. Обозначение светотени — А. Б.) Эти связи, полу-найденные, полу-искомые, представляются не стальными стержнями и балками отвлеченных строений, а пучками бесчисленных волокон, бесчисленными волосками и паутинками, идущими от мысли не к ближайшим только, а ко многим, к большинству, ко всем прочим. Строение такой мысленной ткани — не линейное, не цепью, а сетчатое, с бесчисленными узлами отдельных мыслей попарно, так что из любой исходной точки этой сети, совершив тот или иной круговой обход и захватив на пути любую комбинацию из числа прочих мыслей, притом, в любой или почти любой последовательности, мы возвращаемся к ней же. Как в романовском пространстве всякий путь смыкается в самого себя, так и здесь, в круглом изложении мыслей, продвигаясь различными дорогами всё вперёд, снова и снова приходишь к отправным созерцаниям. Эта-то многочисленность и разнообразность мысленных связей делает самую ткань и крепкою, и гибкою, столь же неразрывною, сколь и приспособляющеюся к каждому частному требованию, к каждому индивидуальному строю ума. Более: в этой сетчатой ткани и промыслившему её — вовсе не сразу видны все соотношения отдельных её узлов и в с е, содержащиеся в возможности, взаимные вязи мысленных средоточий: и ему, нежданно, открываются новые подходы от средоточия к средоточию, уже закрепленные сетью, но без ясного намерения автора.

Это — круглое мышление, способ мыслить и прием излагать созерцательно, называемый восточным, — почему-то. Ближе многих других к нему подходит мышление английское, гораздо менее — немецкое, хотя Гёте, Гофман, Новалис, Баадер, Шеллинг, Бёме, Парацельс и другие могли бы быть названы в качестве доказательств противного; но во всяком случае ему глубоко чужд склад мысли французской, вообще романской. Напрасно было бы искать в настоящей книге *esprit de systeme*. Читатель не найдет здесь никакой *systeme* и пусть не спраши-

вает таковой; кому же этот дух дороже самой мысли, тому лучше немедленно отложить в сторону книгу. Поистине, — повторим с Ваккенродером, — “кто верит какой-либо системе, тот изгнал из сердца своего любовь!” Гораздо сноснее нетерпимость чувствований, нежели рассудка: Суеверие всё лучше Системотверия — “Aber-glaube ist besser, als Systemglaube”.

Да, здесь не дано никакой системы... Но есть много вопросов около самых корней мысли. У первичных интуиций философского мышления о мире возникают сначала вскипания, вращения, вихри, водовороты — им не свойственна рациональная распланировка, и было бы фальшью гримировать их под систему, — если только и вообще-то таковая не есть всегда *vaticinium post eventum*, вещание после самого события мысли; но, не будучи упорядоченно-распределенными, исчислимо-сложенными, эти вскипания мысли, это... колыбельное их пенье, И шумный из земли исход действительно потребны, ибо суть самые истоки жизни.

Это из них вымораживаются впоследствии твердые тезисы — надлежит изучить возникающие водовороты мысли так, как они е с т ь на самом деле, в их непосредственных отзвуках, в их откровенной д о-научности, д о-системности. Без них, без неточных ключей мысли, струящихся из д о-мысленных глубин, всё равно не понять больших систем, как не поняли бы мы и самих себя. Может быть, наброски, подобные предлагаемым, впоследствии и срастутся в более плотное, более твердое, более линейное объединение, хотя и ценою отмирания некоторых из живых ныне связей; однако начальное брожение мысли навсегда имеет свою ценность, а сопоставления, возникающие не теряют и в будущем способности служить ферментами знания. Но, как бы ни было в будущем, а пока, во всяком случае, мы не должны подрисовывать соединительные протоки мысли там, где они не выступили сами собою,—хотя навести их было бы, бесспорно, и соблазнительнее и легче, нежели оставить, иметь мужество оставить, общую картину недопроработанной, в её первоначальной многоцентренности, в её не перспективном, не приведенном к единой точке зрения пространственном несогласовании. Но это не значит, чтобы она существенно исключала всякий порядок. Порядок мыслей органически всасывается; однако автору кажется насилием над жизнью ума и философской неискренностью вымучивать

схему там, где она не выступила сама собою в его понимании, как равно не выступила она и в понимании его современников. Не придумывать же какой-никакой порядок...

Итак, тут не дается единого построения, а закрепляются лишь некоторые узы конкретного философского разума, конкретной метафизики, которая есть философская антропология в духе Гёте. Когда возникнет она, потаенно зреющая под шелухой позитивизма, то, может быть, кое-что из предлагаемых замечаний не останется излишним. До, приблизительно даже, законченности ещё очень далеко, — если впасть в слабость — уверовать в возможность полноты знания, далее непревосходимой.

В настоящее же время не учесть, в какие именно объединения придут впоследствии отдельные ракурсы, пока остающиеся несогласованными логически и как будто чуждыми друг другу. Наше дело — бережно собирать конкретную мысль, сгоня в один затон подмеченные нами водовороты первичных интуиции: верность факту. Это накопление — путь к философской антропологии наших внуков, когда плотно сомкнётся цепь ведения с преданием седой древности и всецело оправдается общечеловеческий опыт.

Но там, где нет логического единства схемы, может слышаться и и н о е единство, несравненно более связанное, жизненно более глубокое, чем гладкий план, наложенный поверхностно и своим лоском прикрывающий убожество внутренних невязок и рассыпающихся представлений.

Как шум отдаленного прибора, звучит автору его ритмическое единство. Темы уходят и возвращаются, и снова уходят, и снова возвращаются, так — далее и далее, каждый раз усиливаясь и обогащаясь, каждый раз наполняясь по-новому содержанием и соком жизни.

Темы набегают друг на друга, нагоняют друг друга, оттесняют друг друга, чтобы, отзвучав, уступить потом место новым темам. Но в новых — звучат старые, уже бывшие. Возникая в ещё неслыханных развитиях, разнообразно переплетаясь между собою, они подобны тканям организма, разнородным, но образующим единое тело: так и темы диалектически раскрывают своими связями и перекликами единство первичного созерцания. В сложении целого каждая тема оказывается так или иначе связанной с каждой другой: это — круговая порука,

ритмический перебой взаимопроникающих друг друга тем. Тут ни одна не главенствует, ни в одной не должно искать родоначальницу. Темы не нанизываются здесь последовательным рядом, где каждое звено тоге *geometrico* выводится из предыдущего. Это — дружное общество, в котором каждый беседует с каждым, поддерживая, все вместе, взаимно обучающий разговор. Связующие отношения тут многократны, жизненно-органичны, в противоположность формальным, исчислимым и учитываемым связям рациональных систем, причем самые системы напрашиваются на уподобление канцелярскому механизму, с внешними и скудными, но точно определенными заранее отношениями. Напротив, та ритмика мысли, к которой стремится автор, многообразна и сложна множественностью своих подходов; но во всех дышит одно дыхание: это — «синархия». (Флоренский П. У водоразделов мысли. Собр. соч. в 4-х т. Т. 3. Ч. 1. С. 23.)

И только так, иначе всё уже написано, и смысла писать нет. Тут проявляется анонимность истории мысли. Отсюда и требование писать в авторской пунктуации, и неуверенное «может быть». Выдёргивая знаки, не обозначая ритм, Флоренский допускает многозначность трактовок и полифонию путей, избирающие, торящие себе пути, которыми они происходят. Этой сверхтекучестью (сверхтекучесть — не образ, а действительное состояние) можно любоваться вечно. И слушать вслепую, как музыку, понимая и чувствуя эту запредельность, запоздалость (потому что предел всегда опаздывает) и, в то же время, ощущая, потому что здесь ощущение превращается в чувство.

И напиши я, что «подымается до чувств» или «превращается, снимается в чувстве» или «исчезает им» — суть здесь в разрешении противоречия трансцендентного и трансцендентального. Я мог бы с ходу написать фонтанирующую книгу о различии отношения, превращения и снятия, но это была бы чистая поэзия философии. Никогда невозможно объяснить, зачем это. Опускаясь до цитат или раскавычивая (или расковыривая) весь язык, даже тот, который будет, а пока только предстоит — ничего не прибавляется и не убывает — тут только превращения. Поэтому цитирования от полноты и перенасыщенности взвеси слов. Всё сказанное уже имманентно существует.

К таким проблемам относится и свободное время. Они свободны настолько, что собственно проблемами не являются. Проблемами их считают ложно. Их принимают за данность. И они открыты изумлением, удивлением, и распахнуты изумлению и удивлению. Не случайно подготовительные работы, цитаты, ворохи материалов, обрывочные заметки, реплики на полях, правки интереснее книг, которые изваяны в полный рост и сделаны, воздвигнуты на постаменте. Например, много увлекательнее читать «Экономические рукописи 1856–1857 годов» Маркса, чем внушающий почтение монументальный «Капитал», впрочем, смотря на каком этапе. Но в готовом виде он слишком обтекает.

Свободное время, например, принимают за праздное со времён Веблена. (См.: Торстейн Веблен «Теория праздного класса»), свободное время воспринимают как символ безделья («Право на лень» Поля Лафарга), примеров тысячи, и такой ракурс тоже имеет право на существование, как мнение. Тут можно гадать что угодно: и Жижека «Щекотливый субъект», и «Стеклянную клетку» Николаса Карра, его же «Пустышку», Маклюэна в полном объёме, Мишеля де Серто «Изобретение повседневности», Ролана Барта «Как жить вместе. Романтические симуляции повседневности», мусорные книги Свенсена Ларсона вроде «Философии моды». Хокхаймера «Критика технократического разума», самоуверенного Слоттердайка «Критика цинического разума», с его «Сферами» да, хоть «Критика диалектического разума» Сартра или какого-нибудь профессора Попова, утверждающего, что диалектика это проще простого — весь этот хлам обладает одной «непредусмотренной» особенностью: он — производная видимости, принимаемой за данность.

Суть в том, что к любой проблеме я могу без труда привязать любое произведение, например, творения Василия Великого к теории коммуникации или трактаты Аль Фараби к проблемам современных технологий, и вообще к технологии как науке, и оно будет «как там и было», и эта формальная свобода может предполагать любые сочетания, говоря только о вкусе автора или о его отсутствии.

К слову сказать, современное видение, хотя и полагает, что с высоты своего исторического опыта видит больше и дальше — ошибается. Современность не видит ничего, а только угадывает. Платон так же недостижим и непостижим для нас, как мы не понятны Платону, хотя, конечно, он познаваем, и наше «понимание» входит в полное содержание предмета, как будто Платон наш последователь и преемник. Здесь нет последовательности. Она произвольна.

И в тоже время есть какая-то неодолимая глупость, неумолимая и беспощадна, какое-то издевательство истории в своей поступательности, хотя бы в том, что меняются вкусы — такая малость. Восторженные с придыха-

ниями панегирики Флоренского Тютчеву и Фету кажутся сомнительными, и поэзия умирает у нас на глазах, пока мы не вообразим себе археологический восторг, что это то самое, и оно нам открылось. Но если пристально посмотреть, то же самое происходит с любым именем, нам конгениальным, независимо от удалённости во времени. «Близко — далеко», «свой — чужой» — независимы от расстояния и усилия по его отстранению.

Я не оптимист и не пессимист. Э. Чоран говорил: «оптимисты пишут плохо». Наверное, потому что он — пессимист. Действительно, чему радоваться? Хотя кажется, что это утверждал Поль Валери. И весь смысл в «кажется». Все пишут плохо. По крайней мере те, кто действительно пишут. Всегда — не точно, всегда не дотягивают, недоволяют, и слово — не опора. Оно плывёт.

Писание — занятие, что и говорить, странное. Как говорилось в одном странном фильме, кажется, «Молодость». «Интеллектуалы никогда не обладают хорошим вкусом. Поэтому я никогда не хотел быть похожим на них». Добавлю: потому обладал плохим вкусом. (Хотя из таких, как я, делали неплохого, по крайней мере, дипломированного дегустатора, сомелье.) Вопрос о вкусе всегда отдавал пошлостью, создавая некие критерии, весь смысл которых был не в приложимости, хотя Кант очень примирительно, соблазнительно высказался о том, что вкус — не в критике его, а в сообщаемости: то ли вкуса, то ли критики. Особого смысла в том, чтобы предвидеть, нет. всё равно будущее не похоже на своё воплощение, тем более что оно бывает будущим для современности и будущим для себя. Случившимся будущим. «Настоящее» будущее и будущее «всамделящее». Будущее, которое никогда не узнаётся. Не опознаётся: не потому, что нельзя узнать его в его непознаваемости, а потому, что оно не знает своей первопричины, по отношению к которой оно всегда другое. Оно не может возникать «на глазах», потому что зрение будущего возникает вместе с ним, по мере его превращения в настоящее или настоящее несбывшееся, которое только грядёт, но так никогда и не наступает. Будущее настоящее — никогда. Будущее — настоящее никогда. Будущее — всегда не настоящее, но оно — взаправду. Не может быть, и — всегда.

Так что действительно считающееся свободным временем и свободное время в его сущности, а не явлении — это одновременно разные времена, и одно и то же время в его исчезновении. Тут проблема в том, что не хочется заниматься скучной и строгой сущностью, а непреодолимое желание — остаться в области явления, и гадать, прогнозировать вслепую, какие формы, например, искусства будет принимать то, что называется современным искусством. Оно обладает определенной фривольностью, произволом случайности, и в то же время капризы искусства, его тяготение к дешёвым сенсациям и моде жёстко догматичны (хотя именно догматик Спиноза дал опре-

деление свободы, которое свернуло свободе мозги на все времена), определены, детерминированы и скучны во всех отношениях.

Среди явлений можно роскошно пребывать, оправдываясь феноменологией, тем более что она — спасение для искусства, которое феноменом живёт и обретает действительность. И бессмысленно даже поднимать вопрос, так ли это? И тем более негодовать по этому поводу. Тут много занятных занятий. Но пока суть — в старом добром созерцании, и эта затея бесконечна, хотя — смотрят и не видят, не воспринимают. А уж тем более существо проблемы, хотя, как знать: существо ли и проблема ли? Оно не ощущаемо, оно кажется, видится, но пока не создано — не схватывается.

В лучшем случае фланируют в привидевшемся — увиденным как показавшемся, приснившимся, приводившемся, доводившемся, случившемся и т. д. (ср. укр. *видиво* — воспринимаемое зрением здесь сейчас, но одновременно и увиденное ранее, воспроизводимое в воображении, а так же видение, иллюзия. Родств. с лит. *vėidas* «лицо», лтс. *veids* «вид, форма», гот. *witan*, *witaida* «смотреть, созерцать», кимр. *dwydd* «присутствие, наличие», лат. *video* «вижу», гр. (F)είδος «вид, форма» — прим. ред.) Развлекаются, не зная, что свободное время производительно, оно преформирует время жизни, не произвольно и стремится к бесконечности, и смысл его в превращении, потому оно не становится очевидным и не схватывается. Это другая природа и пока ещё просто стихия.

Проблема кажется «пустой» именно потому, что необходимость в ней уже свободна, а принимается как нечто занимательное. Суть не в наличии свободного времени, а в процессе исчезновения. Я намеренно пользуюсь канцеляритом, чтобы показать, что старая форма не в состоянии выразить существо дела, а новая, рождающаяся форма ещё формой пока не является, и никогда не будет в своём порождении сверхтекучести. Она не в состоянии. Она временена неперменностью.

Так что в той мере (если свободное время — форма), в какой время нуждается во временности, то это форма воспроизводящая(ся) в одной и той же определённости, а поскольку форма здесь внешняя и вся суть — в перехождении и исчезновении, то как переход свободное время формой не является (только своей лишённостью, или принудительной «изъятостью» и своим отсутствием порождает время, как отсутствие именно это формы), но не потому что — случайно (пока оно свободное время, оно может быть и необходимым и случайным, как момент развития, причём прошлый), а потому что оно превращение и переход, и потому осознанно, то есть свободным оно может быть только как свободное свободное время, как сплошное «может быть», как бытие этого может быть...

Актуальная и потенциальная бесконечность — это одна и та же беско-

нечность. Но «точки зрения» у них разные. Так что актуальная может быть потенциальной, а потенциальная актуальной. Не только потому, что «направления», «точки приложения», «векторы сил», «результатирующие», «пары» и прочее не могут совпадать со своими понятиями, но и природа порождающая и природа порождённая — одна природа. Природа превращаема. А потому может быть ставшей относительно, хотя само это отношение — абсолютно, как движение. Это проблемы, которые не нуждаются в решении. Они абсолютно правильные и совершенно ложные, и смысл их не в решении, а в том, что они на себя непохожи. Они неузнаваемы. Они вдруг, даже если тянутся тысячелетиями, и смысл в перерыве инерции, в транскреации (то есть то, что исчезает всецело в одном отношении и в одном месте, то вдруг всецело возникает в другом месте в другом пространстве, именно потому, что пространство и время суть одно и то же, один и тот же процесс превращения, хотя приписать это Лейбницу можно только по звучанию).

Разделение пространства и разведение его по времени, разделение времени и разведение времени — разведение времён, «времяводство» — возможно только исчезновением и отрицанием. «Перемещение», «транспортировка» и «трансформация» времён и во времени, равно как и постижение сути времени — только в общественной форме движения в его политэкономической форме, где все эти времена в их «гомеостазисе» реальны и действительны — могут быть просчитаны, вплоть до свободного времени (после они не количественны), которое ещё и предел, и уже не предел и самоопределение, а как предел — превращение и переход в иное — его времена, времена определенные, определяемые, отмерянные, взвешенные (обвешивающие) «плодятся» и могут трансформироваться только в разделении труда, хотя они такие всецело потому, что историчны.

Весь смысл в переходе, он же — превращение, и тем — разрешение противоречия. «Кручу, верчу, запутать хочу...» Попахивает известным шулерством... Однако никакого мошенства, потому что теория — известное огрубление, хотя кажется утончённой по сравнению с грубой жизнью.

На самом деле — бледная тень жизни во всём её буйстве и разнообразии при абсолютности. Сказал бы «сплошности», но для полноты полноты и «чрезкрайности» движения, хлещущей через край избыточности, жизнь включает и бьётся своей ничтожностью, ею искрится и бликует, как избыточность игры мысли.

К слову сказать, вся эта завораживающая «яйность», «этость», «чтойность», «мойность» (Левинас), не просто «кайт», «бликенкайт» немецкого и пикантность любого языка, а схватывание и огрубление, зримость всё того же «разделения труда», логики понятий, в которых можно узреть грубые швы сращивания краёв понятия, натирающие теорию, где она ещё — незажив-

ший шрам сращённой жизни, суждения, часто воспалённый. Чрезмерность логики, когда между двух рядом стоящих слов, даже не смыслов, можно поместить весь на сегодняшний день существующий словарь, все понятия от их возникновения, даже исчезнувшие, и можно гатить, как в прорву, в эти провалы языка. Но — не загатить, даже всеми возможными смыслами, и теми, которые ещё только будут, и теми, что не будут никогда. Нарушая грамматику языка, которую сам язык покушается порушить «в отличие» впадая, слово пребывает в «отличии» от самого себя. В «одолены» своей определённости.

Более того, извлечение, которое фонтанирует как таковое в своей немоте, когда «слов нет» — тоже в этом пространстве превращения. И здесь не только процесс перевода с неведомого на неведомое, сохранение смысла по Р. Якобсону и значения (что поддаётся переводу), но и произнесение (вознесение) молчания, манифестация, нейтральные полосы языка (иногда ливни идут полосами) в его присутствии, вмещаемости, вместимости, несовместимости — все возможные и невозможные превращения, которые никогда не подходят к краю, поскольку всегда на краю.

Язык всегда отстаёт от того, что что он призван выразить. Ловушка тут в том, что язык о языке и язык самого языка, копаясь в отношениях «означающего» и «означаемого», заставляет язык не просто пробуксовывать, оступаться, оскальзываться, но и принимает их за «складки бытия», «язык — дом бытия», хотя язык — не в бытийности, а со-бытийности.

Так что в своём «остановленном» виде, оставленном, в натюрморте, язык не говорит, а в своём живом не освежёванном виде немотствует в своей служебности, занятости, причём занятости, как захваченности, оккупированности. Он работает. Ему некогда, он экономит и экономится, экономя средства выражения. Роскошью он становится в «ничего не делании», как ему самому представляется поэзия, пусть это будет поэзия экономики. Его холостая жизнь, гул языка самому языку представляется болтовнёй, заумью и пустомельством, хотя именно здесь видится язык сам по себе, вне служебного пользования. Это беда не самого языка, а его историчности, которая случайна. Языки состариваются и пытаются умереть, но забывают.

Их архаика, древность лишаются и лишают гибкости, и тогда они начинают забывать себя, ретроградная амнезия крошится, чтобы продолжать расти, они становятся в беспамятстве, саморазрушающими, то есть философскими. Но это детали.

Смысл всего сказанного в том, что всё сказанное о переводах без исключения имеет смысл не в оговаривании, как огораживании, с последующим ростом городов, со всем написанным об этом, не в выборе языка, как места, а в пренебрежении всех предварительных оговорённостей, сговорённостей и договорённостей.

Да, любая проблема требует упрощения, уплощения и огрубления, поэтому приходится отказаться от тонкостей, хотя бы это и была сама суть. Есть тут момент, когда движение может быть выражено только превращением. Без статики. Но для этого необходимо иметь дело с диалектикой понятий, а не диалектикой вещей, с диалектикой процессов и отношений, не пытаясь схватить в определённости, в категориальности, суть которых не в понятии, а во всеобщности, не в именовании, а в превращении.

И, как ни странно, это всё — меньше всего в теории, а всецело в поэзии. Вопрос не в изображении, а в смелости и решимости сказать и написать, в утверждении, когда ясно, что всё уже сказано и написано. Отвага не в том, чтобы напомнить и повторить, а том, чтобы, натолкнувшись на пределы времени, потому что ещё не пора, с тоской, но без страха смотреть туда, куда дороги пока заказаны, хотя все условия для решения этих проблем уже есть: может случиться, а может и нет. Может не произойти. И ты не знаешь, стоит ли говорить? Чтобы не скомпрометировать проблему. Впрочем, как правило, не видят, даже когда всё очевидно.

То есть, в сущности, все возможные проблемы уже существуют и пребывают, но пока потенциально, «до поры до времени» (буквально, «до времени»), и в тоже время проблемами не являются. Не являются они проблемами и после времени, временно решаясь в пределах необходимого, затихая и таясь в грозном обретении напряженного равновесия на грани узнаваемого. Проблема не исчезает, единожды появившись, и сам смысл её в решаемости каждый момент, и каждый момент её бесконечен.

Суть в том, что всё равно, во что превратится общее самосознание, которое включает и науку, органично в способ бытия, пока в способ, но потом, став непосредственным становлением, а не просто образом жизни, бытие и ничто — в разрешение, разрежение противоречия. Они могут так и остаться в слабых отношениях, а могут быть доведены в своём напряжении до разрешения.

Будут ли в тотальности процесса называть это психологией (которая в нынешнем своём состоянии облажалась, бесконечно одалживаясь и живя в долг — наукой называться не может, хотя право имеет. Живя долго в ожидании, устала ждать и стала просто каталогом состояний, комедией положений. Или этот процесс будет носить имя педагогики (которая представляет сейчас что-то среднее серое, воспроизводящую потребность в унифицированном человеке вроде идеологического диктата «насилия и наказания». И кроме «порки на воздушных», на колени, «на горох», ничего не знает. Это что угодно, но не педагогика.

Хотя вопрос о унифицированном человеке не так уж однозначен, поскольку ясно, что возвращения к кустарным промыслам воспитания невозможен речь идёт о сотворении всесторонне развитого универсального чело-

века в промышленных (плохо звучит) в космических масштабах во всей всеобщности. О преодолении «личности» во всей свободе, включая не только его бытие, но и его небытие, то есть в возможности, невозможности и потенциальности. Вопросы педагогики — это вопросы всеобщего развития.

Но нынешняя педагогика превратилась в приживалку идеологии в её убогом ассортименте: она даже не идеология, а политология. Или это будет чистая этика, когда именем добра (которое конечно же «наживать») от имени добра творятся преступления, которые не снились никому и это тоже человек, всесторонне развитый.

Наконец, похоронив заживо философию, которую все пытаются переиначить то в семиотику, то в феноменологию, то ещё черт знает во что, загнав в трансцендентальную эстетику, а заодно, убив на всякий случай и красоту, и прекрасное именем эстетики забавляются, отказавшись от человеческих чувств удовольствовавшись (прельстившись) ощущениями воспользовавшись своего рода техническими симуляторами ощущений. Это не решение «протянуть руку за живым цветком», отнюдь, — просто печальная фиксаций того, к чему пришли. Потеря сознания при помощи изменяющих сознание, изменяющихся психоделических практик.

Но я не об этом: тут всё равно, как назвать всё это, да хоть алхимией или игрологикой, игроголиккой, игроманией дело не в имени, которое давно ничего не обозначает, а в тенденции и интенции во всём многовариантности выражения.

Если этот «габитус», нечто, чему имени нет, склоняется к психологии — это тенденция, которая имеет инерцию к одному, к минимуму, если это микрирует в пользу феноменологии (вот уж показатель разложения мысли в явлении, кроме гегелевской феноменологии — снимаю шляпу) если мы имеем ярко выраженную интенцию, «пшиязнь», склонность к эстетике, то есть развитию чувств в пространстве и во времени, тенденцию и склонность к магии максимума, то это смещение к всеобразности, всеобщности, всеобучаемости превращения.

Тут ходов неисчислимо множество. И «то, что, выбирая, отбрасываем», как у Игоря Ильина и вообще в традициях истории философии, здесь не действует. Ничего не отбрасывается, как у Гегеля — «абсолютное снятие». И всё сосуществует, более того развивается не скажу — рядоположно, но одновременно, единовременно. Своего рода «эффект Доплера», свечение и смещение к определенному спектру, но это тот же свет.

Это своего рода прихоть, — всё равно, каким путём идти. всё это об одном, и потому переход от одной проблемы произволен и даже, некоторым образом, свободен, если сознателен.

Это не эклектика сосуществования (противоречие сущности и сосуществования — смешно), а превращение, когда всё во всем, как сущее в настоящем. Поэтому всё равно, что исследовать и к чему обращаться: изучать проблемы коммуникации или астрофизику, трансцендентальную эстетику или «автентичный» фольклор, или проблемы геронтологии, устаревания и старения, умирания, и того, как текст становится архаичным ещё до написания. А ты беспомощно смотришь и ничего сделать не можешь.

Исследования ненаписанных книг и не поставленных проблем... что угодно — всё равно дело не в этом. Все средства хороши. Так случилось. Всё равно, каким путём идти. Есть люди, которых философия пощадила. Она сама решает, кому ей являться и в каком обличье. Независимо, что говорят «очевидцы», которые свои иллюзии принимают за прозрение и провидение, независимо, что они «сами видели», как философия окочурилась, философия и настоящая абсолютная красота существуют своей тайной жизнью, какие бы эпифафии мы им не писали. И это не символ веры — это даже не проблема.

Почему интернет? При чём интернет к свободному времени, с полным осознаваемым дилетантизмом в этом вопросе? Рассуждения чайника о том, как ему кажется. Ну, прежде всего, интернет, как бельмо в глазу, «наукома», как глаукома, имитация мысли. Ницета мышления. Автоматическое письмо во всех смыслах... Мешает видеть потеря зрения и созерцания. Диктат механического формального мышления и своего рода штампованный заместитель со-знания. Это и есть со-знание. Он вообще не проблема — данность. С одной стороны он — пустое безразличие знания, ясный показатель, что знание само по себе мертво и того, что именно делание, действие имеет смысл, когда и интернет не опасен своей безмозглостью, и просто инструмент, как в своё время арифмометр, каталог библиотеки, логарифмическая линейка, ну разве что с мистическим приписыванием ему «воли» и действия. Он же работает.

С той же стороны, интернет — освобождение от собственности и знания. Он не вещь, но работает, создавая иллюзию присвоения, обладания. Да, персональный компьютер настойчиво, назойливо приспособливается и потакает слабостям человеческим. Воля возрастает до бесконечности, в том числе и воля к мышлению, но конечно ни о каком искусственном интеллекте и самостоятельном мышлении (что сейчас опять, как в былые времена Винера и Лема, усиленно обсуждается, даже вопросы этического отношения к машине). Конечно, можно создавать дутые как мыльные пузыри проблемы, всюду есть смысл (есть же Институты, которые занимаются проблемой «мыльных пузырей», вопросом пузырей во Вселенной).

Тем более, тот же интернет может и должен пройти момент всеобщей доступности и графомании, наукомании, когда реальные проблемы теряются во всеобщем шуме. К этому нужно относиться безразлично — тысячи радиоволн и излучений проходят, не задевая нашей жизни это фон, который не рассматривается как проблема. Вернее, он может быть проблемой.

Собственно, настоящие исследования переместились в области не обнаружения и открытия, а в сторону создания и принципиальной нерешаемости. Когда решить-то можно, но мысль — оставить недостижимое в дали (на всякий случай). От решения проблемы ничего не зависит. Её решение — только в практической стороне, правда свободно, со знанием дела. А это знание дела такое же удалённое и не похожее на себя, как автоматы Гефеста похожи в своём мифологическом выражении на современные компьютеры, связанные в одну сеть.

Создаётся, хотя и из старого хлама, новый язык, имеющий свою логику. Надо учитывать и момент патриархальной сентиментальности, и ностальгии, и тоски по старому, против рациональности, которая тоже архаична. Или создание дешёвой мистики. Иллюзию чуда при помощи технологии. Язык не успевает создаваться, возникать и адаптироваться, хотя в целом упрощается.

И тогда в ход идут притчи, аллегории, иносказания, хотя они не для того, чтобы прояснить и намекнуть, а полноценное «тело» познания, которое тупо припухает, стремясь сделать всё очевидным, «как сейчас видимым». Со временем эта гипертрофия познания (она же атрофия) слышания-видения-осознания пройдёт, а пока — чешется и болит глаз, воспалённый кажущейся «нарративностью», просто повествованием, описанием бесстрастным, без коллизии, интриги, завязки, развязки, драматургии, безучастно убивающей необходимость мыслить. Взгляд воспаляется.

Язык боится быть неузнанным, сказанным, выпотроженным высказыванием. Но, как бы там ни было, все средства хороши, хотя они сразу же размываются и перестают работать, натираясь, как мозоль.

Поэтому вопрос не в том, чтобы избавиться от интернета и персонального компьютера, не в освобождении от зависимости — он принимается по необходимости, которую можно, как данность, повсюду учитывать, словно самопричину, повод, но опустить, как бесконечно малую погрешность, вопрос в том, как синхронизировать автоматическое и «хроническое» письмо.

Эти «письма» — болезненно (полезненно) бесчувственные состояния. Многие, заигравшись в этом, пропали, сгинули (например, Деррида, буквально исписавшись в длину во времени, хотя это и воспринимается прихотью автора и обретением им авторства определенной длительности). От вре-

менного решения для себя вопроса, писать или не писать, ничего не меняется, хотя в этом есть здоровая бессмысленность. Разрешать себе и для себя, сообразуясь только с тем, стоит (именно стоит) тратить на это время, или слишком большая роскошь.

И этот вопрос имеет смысл, пока мы имеем дело с изжившей себя формой стоимости.

Эти поиски причины, хотя её нет — чистая функциональность, бессмысленная, как вечный двигатель и даже движитель — всё равно механизм. Механическая форма движения, которая самостоятельного существования не имеет. Узаконенная графомания, у которой смысл в себе. Вернее, в тиражировании — простая страсть к письму, как к особого рода деятельности, сродни игре на музыкальном инструменте, или просто пению.

В игре есть нечто опосредуемое, когда примешивается ощущение хорошего инструмента, который есть твоё продолжение, и он исчезает, становится незаметным и надёжным, что чревато виртуозностью и приносит радость болтовни ни о чем. Пение выступает как страсть, даже если это пение про себя и собой.

В своё время издавали книги-партитуры «Трудности в исполнении тех или иных произведений». Тут часто удовольствие от трудности, а не упрощения. В любом случае большинство вопросов, в той же философии для дилетантов, отпадают сами собой, как известные издержки ученичества.

Осмелюсь сказать: всё, написанное семиотикой и околофилософской публикой, которой философия оказывает эскорт-услуги, но без интима, все эти многозначительные разговоры о тексте, гипертексте, письме и прочее — всё это интересно, но в сущности — шум языка на холостом ходу. Надуманные проблемы, своеобразный дизайн интерьеров. Игра как таковая, где правила постоянно меняются, и в этом произволе вся суть — изменение внезапное, и произвольное правило такая же ерунда, причём многозначительная, как репрессия однозначности и приколачивание текста к неподвижности.

Это может быть интересно само по себе, создавать необходимость глуposti, но это осадочное и остаточное явление. Можно при решении проблем, для вящей прозрачности и суровой необходимости, опустить, как нечто незначимое, хотя, конечно, всё, что завладело вниманием, всегда важно и имеет значение. Хотя может быть весомым, как атмосфера, вернее, атмосферные осадки, интонация и местами смыслом жизни, если вы метеоролог или метеозависимым. Нужно это или не нужно — может быть, даже необходимо, и весь смысл в этом, вопрос не в том, чтобы затеряться в безликих неопределённых, — дождит, ведро, пасмурно, — а в том, чтобы отважиться от всего этого отказаться и заняться достойной проблемой на свой страх и риск.

И тут оказывается, что любая проблема, став таковой, не имеет критериев определения, проблема ли она. Поэтому лучше заранее не декларировать значимость и глубину, не задумываться, в чём проблема, предварительно решая, а в чём, собственно, дело, и не в том, чтобы проглядеться до основания в интеллигентном созерцании, а том, чтобы проблема исчезла в разрешаемом противоречии, как, например, в проблеме свободного времени, где ты шкурой чувствуешь, с восторгом, что это настолько всеобъемлющая проблема, что ты можешь позволить себе всё.

Например, то, что любая форма — превращённая и отчуждённая, поскольку отчуждения — это, помимо формы превращения, ещё и форма обобществления. Она и формой-то становится потому, что превращается, и вопрос не в том, как её превратить обратно, вывернув наизнанку, а в том, чтобы это превращение превращения сделать основанием. Не создание искусственного языка, не создание его искусственно, как способ репрессии, контроля и наказания, как у Мишеля Фуко или Ельмслева, Кристевой, славных Романа Якобсона, Яусса или Мишеля де Серто, да хоть Деррида с Ролланом Бартом или Рансьера с Бадью — огромное количество авторов, успешно убеждающих себя, что они имеют право на произвол и ошибку, и в этом их безошибочность. Чтобы вообще отважиться писать. Весь смысл в том, чтобы решиться сказать или написать, чтобы не ограничивать язык и не следить за ним, и он в превращении, даже без слабых взаимодействий, не даст себе растекаться в своей сверхпроводимости, он удерживает логику в своём ускоренном движении и самоопределённости, хотя смысл его в неопределённости, недомолвленности, недосказанности, непрекращаемости.

И просветы подчёркивают смысл непроницаемости. Как в известном стихотворении Моргенштерна, когда из штакетника похитили пространства промежутков и построили себе домик, но пространство стало непроницаемым, сплошным. «Собиратели щелей» С. Кржижановского. Ворованный, украденный воздух. Превращённые формы. Поэтому нельзя к этому готовиться и выбирать язык заведомо. Смысл — движением встраиваться в движение.

Это как в поэзии, писаной акварелью по воде — отражениями. Хрупкость и исчезновение. Когда поэзия знает, что она — на мгновение, она вообще мгновенна, даже если существует больше тысячи лет, она преходяща и она меркнет, устаревая, она не на века, она изменяется ежемгновенно, она затухает и смысл её не в схватывании и затухании, а в исчезновении.

Это мучительно, как забытый стих, стихия, от которой остаётся только смутная интонация и ритм. С размером. Хотя дело не в размере. Так что когда говорят о такте и вкусе самого времени истории от Канта до Мишеля де Серто, со всеми современными композиторами, с их блажью и нахальным

самоуверенностью, что уж они-то знают, что такое музыка, я со всем этим согласен, хотя поэзии всё равно, она имеет меня в виду, только как того, кому открылся, на время, смысл говорения вдаль, мне не чужд такой взгляд, потому что это именно поэзия, которая не должна отвечать на вопрос почему, она — не в состоянии.

Тут смысл в том, что вместо того, чтобы идти «дальше», я вынужден описывать пройденный этап, не естественный, а протухший только потому, что свободное время используется не по назначению, и не соответственно своему понятию.

Я вынужден описывать его в бессильных созерцательных формах как извращение, хотя извращением является превращённая форма стоимости, которая исчерпала свою необходимость и устарела. Ответившая и пустая форма не «хочет уходить». Она хочет жить, причём в своих догматических формах. Она утратила способность к превращению и развитию. Существование рядом её не устраивает. Жалость, беспощадная к самому себе.

Толкиен, который попробовал создать выдуманый язык, захватан любителями — ничего такого не хотел. Сам был удивлён, и теперь можно рассматривать не попытку прорыва, а возможность прятаться, понимая это, как «от страха под одеяло», так и «игру в прятки». Тем более, что отработанный, казалось бы, исчерпанный язык удивляет способностью пробудиться в любое мгновение. Он очень точно приводит аллюзию относительно своих текстов: «Всю эту бурную деятельность можно описать с помощью ещё одной аллюзии. Один человек унаследовал поле, на котором было нагромождение старых камней, остатков древнего строения. Частично эти камни уже использовали для постройки дома, в котором человек жил, недалеко от древнего дома его предков. Он взял часть оставшихся камней и построил башню. Но пришли его друзья и сразу, не потрудившись даже подняться по ступенькам, не замедлили обнаружить, что камень раньше принадлежал более древнему зданию. Поэтому они ценой немалых трудов снесли башню, чтобы заняться поисками скрытой резьбы или надписей, или чтобы узнать, откуда предки человека брали свой строительный материал. Некоторые заподозрили, что в почве скрыты запасы угля, и принялись за раскопки, начисто забыв про сами камни. Все они говорили: «Какая интересная эта башня». Но добавляли (сравнивая её с землей): «В каком она ужасном состоянии!» И даже потомки того человека, которым, казалось бы, следовало с вниманием отнестись к его занятиям, ворчали: «Вот чудак! Подумать только — построил из этих древних камней какую-то дурацкую башню! Почему ему было не восстановить древний дом? Чувства меры ему не хватало». А с вершины той башни человеку было видно море.» (Чудовища и критики и другие статьи. Elsewhere, 2006.)

Смысл в том, чтобы не лишать мифологию её мифологичности и поэзии

вообще. Видеть море, причём именно с высоты башни и именно на этом месте. Но нынешним мало, вопрос в том, чтобы, как минимум создать новую Землю и новый океан, а не просто, используя старые камни, построить башню. Создание утопии — места, которого нет. Не превращать в окружающую местность, в округу «міръоколицу».

Исходник, записанный во сне, приснившийся, был записан так:

«мы выдаём место  
при пении про себя  
мы это место выдаём с головою  
присваивая время  
и тем превращая в пространство  
и в этом исчезнувшем времени  
его постоянство или не постоянство  
и нам мало места и  
не до того

выдаём место  
при пении про себя  
пением про себя  
одиноким собою  
мы это место выдаём с головой  
присваивая время  
и тем превращая  
останавливая  
и задыхаясь  
в пространство  
и в этом  
неизменность времени  
его постоянство  
или не постоянство  
нам мало места  
и места себе не находим.  
место места себя не находит  
мест места себе

неповторимость  
и неуместность

и неустроенность  
неумещаемость  
неумолимость  
забытость навеки

лишь пение о себе  
и собою.  
порою  
самозабвенность.

потом остальное  
и мёртвые зимы  
и розы  
сирени и дождь, и озноб  
окурки и в дыме виденья  
окрепнув, клубятся  
напрасно мосты ненадёжны  
а травы напротив...  
но это всё позже  
а ты не о том  
а об этом  
о пении насквозь  
собою...

Здесь цитирую своё косноязычие, космоязычие, невозможность выразить изначальность.

Дело не в том, чтобы строить халабуды, фавелы или даже дворцы из отходов археологии гуманитарных наук, а в том, чтобы создавать диакосмезис, новые пространства, при этом не только известные, но и неизвестные — непостижимые. Но дальше, чем мог помыслить Семён Людвигович Франк о непостижимом.

Приблизительно так в современность встраиваются туманности, «Столпы творения», почти как пейзаж из окна дома и зачем, для чего всё это — непонятно, неведомо, и это не фотообои, а реальный пейзаж. Только мы не знаем, что это, и честно говорим: не знаем и не узнаем.

Такие «новые науки»: будь это незаконная семиотика или сама, совершенно бесполезная, технология — смысл их в том, что они по ту сторону предметности. И видимую часть, по аналогии с трудом, условно узнаём, и перед нами простирается неизвестная вселенная с мифологическими стран-

ными частицами, тёмной материей, чёрными дырами. И мы умудряемся со всем этим уживаться, паря над провалами и ледяными просторами.

Бытие в каком-то смысле, как чистое мышление, само по себе, никакое — просто самосознание самого самосознания. Даже абсолютная красота — серая. Хотя это, конечно, не так. Это чтобы не сойти с ума. Робость и наглость. Мы пытаемся понять, как это устроено, сделано, а на самом деле — постигать, да никогда не постигнуть, но и некогда постигать.

Смешно сказать, что технология как наука абсолютно не применима, это применимость как таковая, но это так, и это надо допустить. Она не прикладная, не накладная. Поэтому и тексты могут быть не всегда организованны, не структурированы и случайны, хотя это трудней всего, и алеаторика смыслов может создавать ту странную химерность, которая заменяет современности фантазию и воображение, начисто ампутированные и стерилизованные формальной логикой. Фантомные боли воображения обрубками ложноножек формируют комбинаторику, коллажирование, язык жестов немой науки, «как объяснение в любви глухонемых», и с этим тоже приходится считаться. Мне достаточно было бы ссыпать в кучу только то, что я люблю: обрывки стихов, музыки, отголоски картин, скульптур и обломки миров, «меня создававшие», и уже этот мир был бы оправдан.

Современная наука мифологична, страдает от превращённой формы собственности и создаёт новые территории, почти как создаваемые из мусора острова в океане, только здесь — во вселенной. Свободное время создаётся как неучтённое. Побочный эффект и вопрос современности — как его использовать. Его истинное предназначение и возможности остаются в потенциальной бесконечности, хотя именно ему обязан своим происхождением интернет, как выражение жажды, нищеты и нужды. (Но «отвоевание и долженствование человеческой сущности и человеческая сущность, как «ансамбль человеческих отношений» — это разное и непохожее, и требования сущности и незаметная человеческая сущность тоже не одно и то же.)

Потому, что если есть неучтённое и свободное время, то интернет становится в нынешнем варианте убийцей мышления и способности мыслить, чувствовать, в конечном итоге, являясь выражением капитала, интернет становится анархическим разрушителем частной (счастья) собственности (семьи и государства), анатомируя их и препарирруя в зряшном уничтожении, делая чучела как «живые».

В общем, вопрос не в компьютерах, не в «облаках», где мы все витаем, а во всё том же присвоении человеческой сущности, где человек свободен условно, подчиняясь жестокой дисциплине «ансамбля всех общественных отношений», но в их «грязном», грозном и заразном выражении — модель (действующая) этих отношений потребителя — интернет. Есть некоторый

иммунитет, который эту холеру позволяет пережить. Но словесное недержание ощущается каждым. Это никак. Тот, кто пишет что угодно, хоть комментари, лучше чувствует слово. Точно так же, как рисующий лучше воспринимает живопись, если у него не зашкаливает самомнение и он не меряет по принципу, «и я так смогу» (не смогу). Так и тот, кто занимается музыкой, а особенно её пишет, тоньше её понимает, хотя «тоньше/толще» — не критерии, не говоря уже о чувстве. Особенно ярко это выражено в философии, которая, конечно, не научает мыслить, но для того, чтобы её понимать, надо ею жить. Это буквально вопрос жизни и смерти.

Хотя философия, потеряв функции идеологии (что тут же использовал С. Жижек, хотя всё то верное, что он говорит об идеологии, востребовано как выражение «идеологии идеологии», более того, власть идеологии обособилась: это и мода, и реклама — вкусы среднего обывателя — это тотальная диктатура усреднённости). Вообще графомания и наглая распущенность доминирует.

Пример тому — такие смешные персонажи как Дмитрий Быков, который умудрился за короткий срок обгадить всё, что можно. Однако смысл в том, чтобы самому не скатиться до такого уровня, а сохранять некоторую минимальную чистоплотность. Заменитель философии превратился в проносное, слабительное, если и в соль, то в английскую соль бытия. Нужно делать поправку на ветер (смешно звучит). Решать и ставить проблемы, которые не очевидны (хотя они очевидны) и исследовать предмет просто так, без всяких на то оснований. Здесь, как ни странно, имеют значение ложные, но не лживые абсолютизации, гипертрофирования и преувеличения. В моем случае, если придерживаться тонкостей диалектики, всё будет серо и буднично.

Приходится прибегать к формальному и абстрактному. Видя всё и вся через призму, то есть разложенным на спектр (хорошее название: «Хроматизм и спектр времени», или непоследовательный хроматизм, микрохроматика) вопросом о свободном времени, с заявлениями вроде «Все что возникает, заслуживает гибели». Поэтому свободное время является чистым выражением временности. Вопрос о разделении труда и увеличении производительности труда здесь не значим. Независимо от того, используется оно по назначению, или, не задевая никого, проходит в праздности, оно — чистое выражение прехождения и исчезновения, даже исчезновения и умирания смерти. Это, конечно, мифология.

Современная наука в лучшем случае напоминает алхимию (но из которой потом может родиться квантовая химия, а может и не родиться), что химию не отменяет. Так что мифы и легенды, сказки и предрассудки, приметы в пространстве науки уживаются с точным знанием. Истина — баба яга и русалка в одном флаконе. Красота, в том числе и теории, становится чуть

ли не критерием действительности науки, и вообще единственным смыслом что-то делать и шевелиться. Опасность, и смертельная, занятия настоящей наукой — едва ли не единственная причина ею заниматься, несмотря на риск пасть на подступах, ничего не сделав, не создав, не открыв, исполняющим чужие идеи, как по нотам, если удосужился овладеть нотной грамотой.

Всё это великолепно в своё время описали многие, перечислять авторов — занятие утомительное, хотя при наличии интернета не составит труда. (Например, Серто де Мишель. Изобретение повседневности. Искусство делать. <http://www.klex.ru/r19>). Всё сводится к тому, что знание инертно, и соответственно, консервативно. Всю его махину надо заставить работать. Что так называемая наука, уплощаясь, создаёт очень тонкую поверхность видимости, растёкшуюся по большим площадям, а культурный слой не поддаётся даже двухлещному (анализ и синтез) плугу современной науки, не говоря уже о вожделенной глубине, которая вообще непонятно зачем. Она патриархально, уповая на высокие технологии, мечтает о сохе, когда всё было лепо и благообразно, божественно.

Я неслучайно упомянул об аграрности современной науки. Возделывание истощённой нивы в пределах оседлости закончилось. (Хотя не в гидропонных методах дело, не в биотехнологиях и модифицированной генетике, а то, что применение к истощённой науке количественной возгонки невозможно. Необходимо совершенно иное общество, и, соответственно, иной образ и способ мышления.)

Хотя и знать, что собой представляет наука, совершенно не обязательно. Это пустое знание. Какая она, знать непотребно, хотя сама наука по привычке пытается быть потребительной, полезной.

То, что считается наукой, пытается избавиться от кастовости и элитарности, которая всё равно присутствует и закрепляется в языке, грозя сциентизмом и позитивизмом, но при этом позволяет экскурсии дилетантов, приносящих мусор представлений и граффити. Она интуитивно понимает, что дело в коллективности, но становится массовой, не зная, что такое коллективность (тем более, что понятие это истёрлось от долгого употребления не по назначению, скажем, как умную книжку подкладывать под колченогий книжный же шкаф), потому что она иначе не может стать «непосредственной производительной силой». Наука стала повседневной и склоняется к эпическим формам. Наукообразность стремится к наукообразности, создавая новую поэзию в чистоте. Дело уже не столько в понимании, сколько в переживании и даже чувствовании. «Я так чувствую — единственный непрекаемый аргумент».

Это всё неплохо описал Мишель де Серто в книге «Изобретение повседневности». Книга полна предрассудков от Лакана, Витгенштейна и Фуко.

Но они явственно очевидны. И видно, почему автор заблуждается и, страшно сказать, зачем. Наука блажит и даже кичится своей придурковатостью, «включает дурака», косит под безмозглость, чудачество.

В сущности, жизнь современной науки в её повседневности, кроме своей истощающей повторяемости, предполагает сказку, со всеми соответствующими эскападами Проппа. И к сказочным приметам относится точность, сдержанность, которые есть — содержание и удерживание. Разделение труда сменяется разделением времени и пространства, которые позволяют где угодно и что угодно, отвоёвывая место, проецируя жизнь и превращая её в траекторию именно на той поверхности, которая создаётся. В сущности, траектория развёртывается в две стороны и страдает линейностью. Весь смысл в том, что развитие сменяется «ходами». (Тут я подивился, поскольку уже написал «Ходы. Шестая. Пасторальная», — какой удар от классика, — где ничего не доказывается, просто фланируется, по пассажирам, движениям, планируется намерениями, и планируется в восходящих потоках. И с высоты птичьего полёта созерцается поверхность, пейзаж в три четверти, и не делается никаких выводов.)

Занятие так называемой наукой, помимо жуткой тяжести труда без нормы и вознаграждения, жертвенности и мозолистости самой деятельности, анонимности, забытости, обнаруживает, вернее, открывается, покуда для избранных, своей живописной, музыкальной стороной (музыка сфер) и поэзией, когда ты ничего не должен, и ты и есть не интервьюер, но вопрошатель вселенной — её философия на данный момент в данном месте, «здесь сейчас». И вся в тебе. Ты единственный. Никто тебе не подскажет, не просуфлирует. Поэтому хочется спрятаться в общеизвестное.

Диалектика ведёт к энтропии, поэтому современная «наука» — метафизична. И диалектика здесь ни при чём. Это то, что выдают за диалектику, а потом своё понимание подвергается примерному избиению. Наверное, будет интересно, что даже такие зубры, как Адорно и прочие, к диалектике не имеют никакого отношения, а то, что видят в диалектике даже у самых общепринятых диалектиков, вроде Гегеля, — дурно понятая метафизика, диалектикоподобные софистические трюки. Хотя я очень хорошо, с почтением отношусь и к софистике (хотя и осторожно, с опаской, как Аристотель) и к схоластике. Она отлично знает, что смысл именно в диалектике, но, пользуясь тем, что мышление даже при помощи формальной логики диалектично, позволяет себе категории категорического силлогизма, яркости ради. По принципу «или-или», который давно высмеян и является принципом обыденного сознания, который тоже необходим, но в своё время и на своём месте.

Выбор невелик: или всё плохо, смертельно и пакостно, и тут не упомянуть, что это всеобщая гибель и катастрофа, всё пропало, мы обречены, конец

всему, — просто неприлично, настолько это очевидно, и это описано с виртуозной точностью всеми, кто хоть немного мыслит, либо всё это симптомы и приметы не поддающегося мышлению приключения, большая авантюра, где нужно надеяться и восхищаться, издержки производства, пена при возникновении, и радоваться надо каждому мгновению, потому что это мгновение «воспламеняет вечность, которая без каждой пары глаз — ничто». Тактика и стратегия, по Клаузевицу — то, что в пределах видимости и за пределами видимости определяется на глазок. Так бы хотел автор. Это напоминает анекдот, когда ежи приходят к мудрому филину и спрашивают: — Что нам делать? Волки задрали! — Ну, будьте как волки. Обрадовались ежи побежали: — Будем волками! Потом спохватились, возвращаются: — Филин, а как же мы будем, как волки? — Не знаю, я стратег, а не тактик. Собственно, я к чему? Знать всё это, и тем более указывать современной науке, как ей быть (равно и искусству, и философии), что делать — глупо и неприлично. А вот предупредить самого себя и почаще это напоминать, чтобы было побольше юмора, иронии, и особенно остроумия, не заноситься со своим предметом, в данном случае со свободным временем, не подгонять под единый принцип и одну мерку — просто необходимо. Даже если этот принцип — превращаемость. (Например, вербы в ольху. Или пшеницы в рожь. Как у Лысенко. Шучу). Как необходимо свободное время считать в данный момент панацеей и единственным двигателем развития, хотя это не так.

Свободное время может в своей тотальности впасть в крайность, а не всеобщность, стать очередной «кукурузой» (думаю, уже немногие помнят, о чём я, но любая идея, сколь бы хороша она ни была, как только она начинает гипертрофироваться и «внедряется», превращается... трудно сказать, во что. Так было с идеей Христа. С коммунизмом. Так может быть со свободным временем, если его рассматривать как «митридат» — противоядие, снадобье от всех болезней, всеобщую универсальную силу, способную избавить от всех напастей. Тут заведомо ложная идея выглядит вполне истинной, коль скоро она допускает развитие и самоотрицание в превращении. Но превращённое, вторгаясь в превращаемое, уже иное, другое и изменяет сам процесс превращения, какие дифференциальные или интегральные исчисления не применяй — оно не схватывается со стороны количества. Потому только диалектический способ мышления может встретиться, справиться, не нарушив процесс, не прервав его. Да где ж его взять. Если он есть, то не работает, потому что мир формализован и метафизичен, он — в остановленном, в одной и той же определённости, форме покоя. Бесконечная механическая воспроизводимость. Либо мир находится в превращении, но мышление его метафизично... Движение схватывается только в привычных формальных формах, и диалектика пребывает в своих стихийных формах, чувственно схватываясь ис-

кусством в музыке и поэзии, и может быть, в образах философии, которая предпочитает оставаться в бессознательном. В любом случае, это ещё не свободное мышление. Поэтому тревожное проточувство, вырабатываемое новой предметностью, пытается кое-как смириться с новой скоростью, новым ощущением, но выкинуто за процесс развития, пусть такой убогой формы, как технология.

С интернетом, интересующийся, вроде Николаса Карра, человек похож на приговорённого к казни на электрическом стуле, изучающего его принцип работы. С любопытством и восхищением изучающий устройство орудия казни.

То же самое с любой проблемой, бревном в глазу засевшей, когда мнимое решение этой проблемы заведомо не применимо в ближайшем обозримом будущем, а когда наступит такая возможность, то всё будет выглядеть иначе, и ты сам упразднён за ненадобностью. И это ещё лучший вариант. Ты отторгнут в область эстетического, потому что пытался при помощи кувалды решать проблемы современной микрохирургии. Но и так решения этих проблем отторгнуты в область чистого любования.

Хотя всё, о чем можно помыслить — уже возможно. То, что невозможно — не ведомо. Так что, по сути, решение проблемы реально, как действительное (!), и её воплощение в жизнь есть достигнутая на данный момент абсолютность, принятая в качестве тотальности. Как сказал один дельный человек: нас не интересует будущее само по себе или такое, каким оно придёт, нас интересует настоящее будущего, настоящее будущее. Будущее здесь, и немедленно — образ его, включённый в практику настоящего.

А в это время, с треском отдельности, злокозненное намерение появляется с принудительной интенцией (хочу и буду), и тут же, в возможности — интенция, необходимость, случайность и свобода существуют отдельно, рядом и вместе, в зависании, в напряжении, происходя в себе и топяются в мгновении, сомнении, со смутной обречённостью, что ничего не поделаешь. Действие ещё не началось, ещё не определилось, но претендует на суть проблемы. Оно накануне. Оно одновременно потенциально и актуально. И само «в это время...» вне контекста, но схвачено. И если этот абзац вырезать, то от него и следа не останется, зарастёт без швов, без «складок».

Это создаёт ложную иллюзию (в отличие от действительной практики опосредования и опосредствования), что надо руководствоваться практической стороной, применимостью проблемы, а не создавать её. Как раз при всей, казалось, прагматической, вещественной стороне человеческое развивалось только «бессмысленно», с точки зрения здравого рассудка. То есть, вне своего прикладного статуса, наука была чистой поэзией. И да, такова её при-

рода, как и вообще природа человека. Смысл её не в том, чтобы становиться «непосредственной производительной силой», как кажется. Как и смысл человечества вовсе не в том, чтобы быть формой развития материи и выполнить какое-то неведомое предназначение, что-то там совершить, доразвиться до самого себя, что оно и так делает по мере сил (кстати, вопрос в мере сил), а в том, чтобы быть собой, вернее, не стать, а развиваться.

Поэтому вопрос — в чисто эстетическом. В возможно-невозможном. Сама мысль — это только возможно. И, кстати, если пришедшее, буквально наступившее будущее, не совпадает с представлением о нём, то это никак не унижает воображение. «Я так и знал» — это вздох разочарования, а не победный клич игрока на скачках, который выиграл. Свершившееся всегда не такое, как его образ. Свободное время — не панацея от всех бед. Оно будет приносить новые беды, с которыми справиться почти невозможно, но мы пока этого не знаем. Оно требует и свободного действия, «осознанной необходимости», а когда свобода достигнута, что может быть уже сейчас «в», то нет необходимости ни в свободе, ни в философии, которая превращается в непосредственное мышление, ни в воле. И это очень страшно, и даже чудовищно для современной дремучести, погрязшей в предрассудках. Но это жутко и для свободного человека, потому что дальше он ничего не должен, не должен действовать по необходимости и даже по своей воле.

Жить без всяких оснований. Это иная природа... Сродни Абсолютной Красоте, а она не имеет ни количества, ни качества, ни меры, и привычная система категорий рушится. И всё иначе, а как — ты не знаешь. И это — сейчас. А не когда-то потом.

Свободное время не остаётся. Оно создаётся. Путём «отжимки» прибавочного, а потом и превращения рабочего сначала в освобождённое, против высвобожденного, а потом и в свободное. А вообще — из ничего. Хотя его пытаются эксплуатировать, но не в этом его природа. (Например, интернет — типичный способ эксплуатации свободного времени, которое время жизни. Времясос, вампир, пиявка — иногда полезная, собственно, снижение давления, громоотвод, отводящий избыток, клапан, выпускающий давление, хотя технологии здесь ни при чём, они просто копируют формальные отношения, основанные на форме собственности. Палач здесь предоставляет вам добровольно включить рубильник. Никто не принуждает. Он жрёт человеческие жизни, и это нравится, в этом видят востребованность, нужность.

Интернет — лучина современности, и, конечно, лучше в курной избе с интернетом. И страшилки, вроде популярных книг Николая Карра, никого не пугают, как рассказы о вреде алкоголя или каких-нибудь других радостей, вплоть до наркотиков. Интернет неотвратимо и необратимо пожирает наше восприятие,

и с этим надо считаться (см. Николас Дж. Карр. Пустышка. Что интернет делает с нашими мозгами). Не говоря уже о том, что противоречие восприятия и представления застит глаза пеленой мелькания и скорости, хотя дело не в них.

Вопрос в способе его (свободного времени) применения. Все набирающие силу размышления о том, что современный рабочий день стремится к сокращению, что уже грядёт шестичасовой рабочий день, а то и трёхчасовые смены (это возможно) — в сущности, выражают только феномен усиливающейся интенсивности эксплуатации. Да сделай хоть всё время свободным, оно свободным не будет, и автоматически развитие человеческого не наступит. Свободное время само должно переосуществиться, потерять временную природу, перестать быть рабочим свободным временем. И вопрос вовсе не в удельном весе этого времени. Оно может быть случайным, необходимым и свободным, но смысл его во вневременности, в утрате своей временной природы, хотя только оно — время, до тех пор, пока речь о мере. Оно чистая сущность времени — лишённость. И избыточность, смысл его — в исчезновении. Оно, как электричество, гибко. Может убить случайно, как молния (но молния закономерна), хотя по-прежнему говорят «громом поражённый». Поэтому питают пристрастия к громяющим текстам... Так сподручнее. Ты в сознании, но оглушённый. А молнией — это навсегда.

Может применяться для дефибрилляции, в качестве электрошока, но и как орудие казни — электрический стул, изобретение бодрого автора электрической лампочки Эдисона, обокравшего для этой благородной цели Вестингауза. (И травившего Теслу). Вопрос в применении. При этом мы условно имеем представление, что такое электричество, без него никуда, попробуйте пожить сейчас дня три без оного. Пользуемся, производим, но что это — не знаем. О нём достаточно. Так и со свободным временем, можно сказать: они одной природы, если бы эта аналогия что-то объясняла. Язык слишком груб и топорен, чтобы выразить все тонкости свехтекучего процесса, который — процесс без потерь, весь, хотя можно говорить о трении в превращении как таковом.

Прокл в «Теологии Платона» (И в «Первоосновах теологии») пишет, ссылаясь на Плотина, что красота «подкрадывается, будто на цыпочках»... И открывается вдруг. Она беззвучна, и сущностным определением красоты есть нежность, зримость и эрос. Нежность и тоска сопровождает её, и божий свет мы воспринимаем с закрытыми глазами. Вечность понимается без слов, сама собой. И она — автодзоон — живое, порождающее (пророждающее) самое себя. Загадочное автодзоон живёт за счёт превращения энергеи в дайнемис, и, дальше, снятия в энтелехию.

Думаю, на древнегреческом это звучит ещё более затейливо, а как на самом деле? И нежность по-древнегречески, мы никогда не узнаем, что, собственно, имеется в виду. Скорее всего, Лукомский расстарался. Но Прокл! — не устаю удивляться. Через почти тысячу лет после Платона писать комментарии к его диалогам. Но это «Теология Платона». Видеть ужасающий закат античности. Статую Афины Паллады работы Фидия у него на глазах выносят из храма и уничтожают, при этом Лукомский скромно пишет: «Прокл был против». Всюду грязные неграмотные христиане, немытое быдло, которое ненавидит лютой ненавистью и уничтожает всё наследие античности. А Прокл пишет и пишет от руки свитки по 700 страниц, и ни тиражей, ни читателей... без надежды. И поклоняется солнцу. Ну вот то же и сейчас. И так будет ещё пятьсот лет, и до Возрождения ещё тысячу лет, да и Возрождение — это чума, бесконечные войны и убийства, голод и чёрт знает что. Прокл педантично крапает свои комментарии, сухие и чёткие, расчерчивая схемы и понятия, и тут вдруг такое — о Красоте — и это он цитирует Платона. Это же где-то надо было раздобыть рукопись «Эннеад». Не надо специально искать. Просто возьми и почитай, чтобы составить представление, «Первоосновы теологии». Не читают. Надо видеть. Зримость как сущность красоты, вернее, одно из трёх определений. Он сам говорит, что он видит в Платоне, а значит, и в Прокле (это нам ясно, что Платон и Платон Прокла — это совершенно разные миры), так вот, в Прокле видна беззвучная жизнь красоты, неназванной и неопределимой. Я просто тихо млею, я не постигаю, не тужусь, я плыву, как тени по воде на закате. «Движенья редки, тени алы. Забудься сердце и плыви...» (Хименес).

Быть может, искусство не выполнило своего предназначения и уходит. И книги уходят, появляется новая эстетика. Каким уродливыми представлялись первые печатные книги, куда им до рукописных. Появляется новое божество — скорость. Не в этом дело. Всегда сетовали на порчу. Представляешь, Пушкин никогда не читал Пастернака, а Лев Толстой — «Тихий Дон». Но всё, может, и закончилось, потому что это тот случай, когда не сменили основания. Мы и объяснить, что именно происходит, не можем, но оно есть, и чувствуется, а языка ещё нет — только нежность, как сущность красоты, её сущностное выражение и предчувствие, что может искусство и философия исполниться, только мы не понимаем, и они где-то существуют по истине, по-другому, наяву и объективно, как притяжение. Это чистая поэзия философии, и её музыка — в интонации. Которая, может, самому Проклу и не была видна. Нежность и тоска. «Тяжесть и нежность» мандельштамовские. Но тяжесть связана со светом, и свет есть отпадение, убегание, превращение, пребывание. А значит, и время, как лишённость берёт своё исчезновение во всей полноте.

С технической стороны книги устаревают ещё до написания, в возможности, в желании «а хорошо бы книгу написать, уже в первой половине «хорошо

бы», — в непосредственном действии, понимаешь, что читаешь Платона, а он неисчерпаем, неоплатоников — тоже. И как-то оно решится и с интернетом — машина делает штамповку — искусственное обобщение, уравнивание, бетонирование, застывание, схватывание — опасная игрушка, но, с другой стороны — эта унификация не справляется с универсальностью, так что можно в этой неотвратимости вывернуться, поскольку она индивидуальное усилие разгоняет до скорости света. В сущности, как помнится, ещё Маркс говорил, что машина приспособливается к слабости человека, и вопрос о применении машин упирается в вопрос разделения труда. Машина берет на себя то, что может и должна. В данном случае «формальную логику», ну и слава богу. Освобождая место для мышления во всём его разнообразии.

То есть выход в том, чтобы читать неудобные книги и писать «Войну и мир», «В поисках утраченного времени», заниматься поэзией, живописью здесь сейчас, хотя их никто не будет воспринимать. Ими существовать, осваиваться в них и ими — всем тем, что не прагматично по существу, хотя, может быть, и приносится в жертву прагматике, в самой малой части, вещественности, не успевшей стать предметностью и превращающейся только при прикосновении, по мере универсальной сущности человека, то есть в освоенной по-человечески. Остальное — потенциальная бесконечность. Конечно, индивидуализм вступает в антагонизм с самим способом дела, но поскольку современное применение машин отторгнуло нас в «пробелы», а машине предоставлена сплошность, то пробел пока — свободное время, вернее, выполняет роль свободного времени — «в то время, как...», напоминая, что это не «свободное время», а попытка перехода к нему. Переход «к, и от...». Здесь и ютимся.

У Карра, вслед за Маклюэном, о тихой катастрофе — переходе от устного творчества и ритма первоначальной поэзии, от памяти к письменности. Так вот, вопрос не в формальном переходе к эпосу и к слышимому тексту, у голоса свои формальные пределы, как и у гомофонного оркестра: хотя бы скорость распространения звука. Так что наше познание напоминает известный перевод Маршака о поросятах. Наше познание стесняется пользоваться теми формами, которые несовершенны и попадают под руку. А проблема перехода к чистому мышлению, на чём бы оно не фиксировалось, — то есть к самой гибкости и скорости во всём многообразии, — не может быть самоцелью. Это то, что ничего не даёт, но оно ничего давать и не должно. Интонацию машина схватить не может и противоречие тоже.

Так вообще с познанием. Недостаточность выразительных средств и потребность объяснения нового, которое объясняется устаревшим языком, и не надо огорчаться по этому поводу. Не только Платон ничего не понял бы в современных книгах по высшей математике или искусственных языках, даже если

бы их перевели на древнегреческий, но и почти каждый из нас, много ли понимает из окружающего? Понимаем ли мы вообще друг друга... Понимается ли вообще хоть что-нибудь? Так что нет смысла сетовать на то, в чем мы не властны. Как умеем.

Все это пустое, тут главное — смелость, произношение, отвага сказать:

Весной поросята ходили гулять.  
Счастливей не знал я семьи.  
«Хрю-хрю», — говорила довольная мать,  
А детки визжали: «И-и!»

Но самый визгливый из всех поросят  
Сказал им: О, братья мои!  
Все взрослые свиньи «хрю-хрю» говорят,  
Довольно визжать вам «и-и»!

Послушайте, братья, как я говорю.  
Чем хуже я взрослой свиньи?  
Бедняжка! Он думал, что скажет «хрю-хрю»,  
Но жалобно взвизгнул: «И-и!»

С тех пор перестали малютки играть,  
Не рылись в грязи и в пыли.  
И всё оттого, что не смели визжать,  
А хрюкать они не могли!

Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.  
Рассчитывай силы свои.  
И, если сказать не умеешь «хрю-хрю», —  
Визжи, не стесняясь: «И-и!»

Правда, в английском варианте поросята умерли от плеврита, и, как заметила одна маленькая девочка, на самом деле один из них мог сказать «хрю-хрю». Сказал же Поросёночек: «Взрослые свиньи “хрю-хрю” говорят». Как умеем, преодолевая сопротивление языка, и стесняться не надо.

И некая анонимность. Никто ведь ничего не ждёт и никому не должен. Скажем, когда некая Alicia говорит вдохновенным голосом переводчика об Аиде, дело не в том, чтобы остановить



Я слышу эту песню, правда, слов  
не разобрать, и разбирать — не надо.  
Вот рай умалишённых облаков,  
вот нежность ускользящего ада.

Как счастливы умершие давно,  
и веселы умершие недавно,  
а то, что я живу — мне всё равно,  
и это правильно, точнее — это славно.

Вот именно, что славно... Стикс шуршит  
налузганною галькой побережья.  
И воздух неоправданно дрожит,  
и дышится, по-моему, всё реже...

Или любое другое — речь об ощущении. Вместо этого могло  
быть что угодно. Несовместимое и несовпадающее.

Я намеренно выбрал не самое-самое. Совершенство герметично и непроницаемо, но то, что делается, мастерится и производится, материализуется между смыслом и значением в любом «научном тексте» — сродни тому, что ферментизируется в любом стихотворении.

Завершим закат вручную,  
навалием тьму ночную,  
горизонт доупраздним,  
птицы будут наши числа,  
и Господь, лишённый смысла,  
даст им псевдопсевдоним.

В белый снег амбулаторный  
входит человек упорный.  
И возлюбленным на треть  
(а точнее — наполовину)  
погружается не в глину,  
а в сиреневую смерть

так красиво, что не страшно  
стать почти позавчерашним,

а потом не стать совсем.  
И блестят деревья сосен,  
и летает птица восемь  
между прочим, между тем.

Жизнь наступит не однажды,  
а четырежды и дважды,  
но не более. Итак,  
пусть пустеют наши лица  
пусть квадратный корень птицы  
будет корень, а не знак.

За туманом Альбиона  
ныне и во время оно  
начинается земля,  
где сгорают наши души  
посреди нелепой суши  
в жёлтом холоде огня.

(См.: <http://magazines.russ.ru/urnov/2003/17/perev.html>)

И тут сверхтекучесть, и сверхпроводимость, и неустаревание текста, хотя он стал старым и рассыпался в труху ещё до написания.

С открытием сверхпроводимости можно сделать так, что свет в луче останавливается, не теряя скорости света (удивительно), но тот свет, который непрерывно следует за этим, нагнетает свет, скажем, сто тысяч км в длину, в микропространство, и потом этот краткий свет можно опять растянуть до его изначальной длины. Я, конечно, не научно объясняю, но здорово же: хотя свет и догоняет свет, свеча всё равно остаётся тёмной. Кстати, такой эффект, наверное, связан с черными дырами, там отраженья нет, и свет от тяжести не выпускается, но всё равно есть «шурфы», где излучение стоит. Так вот, стоящий свет в свете изменяется только по длине волны, но не по скорости. Превращение — оно же длина волны. Скорость не относительна, а в себе. Тяжесть и пустота — и ничего.

Последняя точка очень точно передаёт смысл, но как парфраз на древнегреческом, причём взятый в ограниченном смысле, по-ионийски. Так что на самом деле она ничего не зна-

чит. Энергейя это не энергия, а дайнемис, одновременно и демон, и динамика, автодзоон, самодвижущая себя душа или душа генезиса. Свет, если натывается на стену, выделяет тепловую энергию, и пытается прожечь препятствие, но тот же свет, попадающий в гелий, охлаждённый до трех градусов относительно абсолютного нуля, работает как холодильник. При помощи лазеров достигают сверхнизких температур, как в вакууме, ещё ниже — при помощи магнитного поля. И с остановленной убогой формой нашего я божий свет превращается в адский пламень, который холодный, и что горит в аду — ничто — это писал Мейстер Экхард, скорее мистик, нежели схоласт, и что абсолютному свету безразлично, что освещать — это Платон. А превращение зависит от перехода точно так же, как становление безразлично к пространству и времени, хотя они и зависят от становления, которая их сущность и предметность — материя и форма. Становление константно, постоянно, как скорость света. Ну и так далее — да такого накушаешься уже у Аристотеля, хотя не думаю, что у него это есть, и не потому, что мы, якобы, развитее. Я о чём: ничего я не пишу, и эта строчка не выпендрежа для, чтобы поразить и пыль в глаза пустить (если кому-нибудь из ныне живущих скажешь такое, подумают, что ты не в себе, и это правильно, потому что это не в себе, а помимо себя, это трансцендирование или спекуляция), но так более кратко, было бы время и вдохновение, изложил бы это на немецком, вперемешку с русским, через отрицание, схватывание и снятие.

Здесь уже надо знать, а я пользуюсь всем этим как метафорами, а смысла происходящего не улавливаю... то есть если это и есть смысл происходящего, то тут должна быть уверенность, что это так. Разница — как между Электрой (причём живой, а не электроплитой) и электричеством. Хотя в определённом смысле электричество мифологично, но может и долбануть. В общем, немота моя вполне священна. Я, правда, ухожу в темноту, в тенета света (хотя это «паутина», сеть, облако, оно само за себя может постоять, элиминируя мою самость как бесконечно малую величину, с которой можно не считаться), и за себя не цепляюсь. И тем поневоле с собой утаскиваю. А вот то, что свет — волна, с тем же успехом можно назвать махонький кусок спирали, да ещё и вращающейся — фотон со спином. Так свет ввинчивается в падении. И это всё — «наверное».

Хотя современная наука имеет дело больше с неизвестным.

Быть может, гравитации нет, вернее, она есть как простое отношение. Её нет, как и невесомости. А наука изучает и заполняет ничто? Когда я читаю о чёрных дырах, драконах и шурфах, я понимаю, что это такой же миф, как, скажем, о Ариадне, Тезее и Минотавре... И сущность не в познании, а в переживании. Хотя, быть может, это и схождение с ума. И тут безразлично, каким путём идти. Будем ли мы следовать европейской традиции, которая уже давно размыта и осталось одно название, или применять, скажем, способы рассмотрения буддизма — все средства хороши. Можно обращаться к Аристотелю с арабским акцентом, а можно к буддизму (например, см.: Чандракирти. Комментарий к «Критическому исследованию движения» (Mulamadhyamakakarika) Нагарджуны // Буддизм России. № 31. С. 9–16). Причем это могут быть авторы, разбросанные во времени и даже не связанные ассоциациями и темой. «Миллионные повторения в практике» рождают сверхформализм, а не диалектику и разумность. Миллионные повторы фигур категорического силлогизма, формальная логика в квадрате — не больше логика, чем просто автоматизм, вместо непосредственности. Это уже мантры. Заклинания. Повтор, о котором говорил Умберто Эко, стал необходимым способом функционирования. В большинстве книг — одно и то же. Поэтому он применял метод децимации, читая одну, остальные просматривая. Но и это не спасает. Как не спасают сомнительные теории гипертекста или нелинейного письма. Я бы мог сослаться на более или менее удачные попытки такого написания книги, и сказать, что эклектика — это законный способ выражения того, что происходит (см.: Петер Корнель. Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи. СПб.: Азбука, 1999).

Все мы комментируем тексты, которые не просто утеряны, но не написаны. Возможные книги, составляющие силовые линии настоящего. Потенциально все книги написаны. Нам остаётся только интонация. Комментарий — это подведение черты под своей жизнью и одновременно проброс, прорастание в будущее над чертой. Черта — это ординар и показатель уровня. Но, в сущности, нелинейное письмо — просто уловка, чтобы избежать ответственности за сказанное. Принцип неопределённости и танцевания от «возможного» и «потенциальной бесконечности». Остранение. Ты не обязан объяснять, что «имеется в виду». Что видится, и видится ли вообще.

Зрение, которым мы видим, уникально настолько, что все-

ленная беднеет на целый взгляд, когда мы моргаем. Поэтому есть известный риск письма. Точность его в том, что оно есть, и человек решается написать. Миллионы поэтов графоманят, не щадя сил, и это формирует известную свободу восприятия. Человек, который разогревает язык, не обязательно воспринимает тоньше, он может утонуть в собственном самомнении и не видеть, не слышать даже себя, ориентируясь только на себя, оглушая себя смыслами. Он может подсесть на один-единственный жанр, будоража свои «центры удовольствия», но уже то, что он действует, пусть ублюдочно, выводит его из общей толпены, хотя и приводит к крайнему отчуждению в герметизме своего «Я». Тупость и общеупотребимость — единственный критерий. Массовость потребления. Количество лайков. Так есть. «Категорический императив техники», как сказал кто-то, не помню, создаёт новую мораль. Новую старую идеологию, которая носит все черты технологии. Новую моду. И новую мифологию. И всё это одновременно.

Так что всё сказанное Лосевым, Голосовкером, Мелетинским, Элиаде, всё сказанное Хайдеггером, Фридрихом Юнгером, Маклюэном, Мамфредом, Бартом, шустрými старателями и рантье вроде Жижека о ситуации (ситуации, трактуемой в духе Бодрийера и Ясперса, см. фильм «Киногид извращенца: Идеология», а так же его поверхностные книги) — вполне соответствует современности, её поверхностности, и составляющим её поверхность и видимость явлениям, понимаемым как суть.

Единственная отрада, что ты можешь не следовать этому, что тоже учтено и расписано. Достаточно посмотреть «Несогласие» Рансьера. Тут не надо паниковать, а воспринимать интернет просто как машину, не мистифицируя его. Это слуховой аппарат, микроскоп, телескоп — не более того, с побочным эффектом. Со своим физическим идеализмом. Необходимое зло. Жизнеспособный кентавр, только без мудрости. Редкая тварь. Штуковина Бодрийера. Функциональность, как таковая. И надо делать поправку на ветер, железный ветер современности. Это ещё раз подтверждает, что переход к иной форме мышления необходим, и этот способ основывается на свободном времени. Причём сейчас властвует заменитель — способ подключения. Создание разъёма. Присоединения.

Вместо того, чтобы использовать момент (буквально), и, сбросив громоздкость формального мышления, перейти к чистому, не отягощённому и замутнённому мышлению как таковому, человек подчиняется власти машины и испытывает обратную связь, подчиняясь и подражая машине, становясь её при-

датком и плохим элементом. Ненадёжным и несовершенным. Правда, несовершенство используется машиной как непредсказуемость и неопределённость, для самосовершенствования, но человек загоняется даже в стилистические рамки усреднённости. В сущности, машина — работающий агрегат по переработке свободного времени, которое — кровь развития. Персональный компьютер вживляется как сердечный, мозговой стимулятор, непосредственно в способ дела. Но с этим ничего не поделаешь. Можно только сознательно контролировать этот процесс. Зло не в интернете. Я потому так много говорю о том, что мне неизвестно, я даже не «чайник» в отношении интернета, а потому, что, когда речь идёт о свободном времени, интернет — мощный преобразователь его в праздное, утилизированное, упраздняющее и делающее невозможным человеческое развитие. Это не означает отказ от интернета — это означает только то, что интернет наглядно показывает крайнюю степень отчуждения, то есть обобщения.

Частного времени больше нет — есть только его общественная обобщённая природа и присвоение, распределение свободного времени как формы общественного богатства, но в форме стоимости. Превращённое свободное время и возвратное — убийственно. Так что речь идёт об освобождении свободного времени, для чего существует развитие технологий. В том числе и интернета, который, по сути, прообраз, хотя изрядно замусоренный, превращения «науки в непосредственно производительную силу». Будет ли это разрешаться в абсолютную эстетику, педагогику, психологию, и как это будет называться — не суть важно. Уже сейчас никаких демаркаций в науке не существует, за исключением «науки» передаваемой.

Вопросы обучения заставляют заниматься вопросами ограничения и экономики, в том числе и передачи упрощённого ложного знания. Разрыв между действительным состоянием науки и представлением о ней — колоссальный. При этом знания устаревают ещё до того, как пишется программа курса. Поэтому преподавателям нечему учить своих студентов. Выход только в самообразовании. Жизнь как импровизация. Вопрос в организации принципов учёбы. И это проблемы, над которыми мы не властны. Увеличение скорости и количества познаваемого — ни к чему не ведёт, кроме разорения, распыления, разращения самого процесса мышления. Телеология, которая выражается банальным «Поставь цель и бей в одну точку», представляет собой порочную практику. Казалось бы, чего проще: поставь проблему, в моем случае, «свободное время», собери всё, что написано. Сделай выводы. Но суть не в этом. Свободное время не может быть схвачено, как самоцель.

Эти коллажи из впечатлений по поводу, повторы банальностей обусловлены тем, что именно примитивизация позволяет использовать машину, которая воспитывает и калибрует потребителя, унифицируя его восприятия, впе-

чатления, отношения. Сопrotивление бесполезно. Это принудительная безмозглость. Думать некогда.

Но схождение с ума — не умопомрачение в своей славе и блеске. (Есть известная книга Мишеля Фуко.) Это старость и слепота мозга, которому мерещатся всякие кошмары, и всё это выражается в одном-единственном чувстве ужаса, которое охватывает и поглощает всё остальное. У тебя ещё есть время. Но ты понимаешь, что его всё меньше. Я понимаю, что, пока это схватываю, это ещё рефлексия и остатки разума, а вот когда перестану улавливать — это будет опухший ужас. Так что не теряй времени. Меня заклинивает. И не хватает мужества писать, как будто это единственное средство от панической атаки. Поэтому хватаешься за философией. Но она нищим не подаёт и не спасает. А мужество мышления оставляет. И чтение просветлённого просто оттеняет темноту и безнадежность в себе. Хотя в самой прекрасной музыке — такие бездны! Человек мыслит со скоростью света, почти. А тень бежит за ним. Наверное, этого погружения во тьму не избежать, разве что воспринимать как ослепительный свет, который выжигает мозг. Я понимаю, что надо совсем не думать. Но эта интеллектуальная слепота продолжается. Океаны книг сочиняются в мозгу, роятся мириады чувств. И ты понимаешь, что с этой огромностью не справиться, но тупо пытаешься осмыслить.

Собственно, философия это и есть схождение с ума, — намного страшнее смерти. Но ни она не предаёт, ни ты её. Она существует помимо слов, в молчании. Ничего не выбалтывает. Известное расхожее выражение Ионеско прекрасно это передаёт: «Есть только слова, всё остальное — болтовня». Философия покидает тебя по старости. Её возраст меняется вместе с тобой. Помнить и забывать — так же бессмысленно, как поиски смысла.

Мы как-то упускаем, что истина — процесс, что слова текут и меняются стремительно. На моей памяти они всё время избегали себя. Только ты дотщился до, казалось бы, решения проблемы, как она уже изменилась, и это совершенно другая проблема. Хорошие идеи всё время меняются, и это ускользание — суть философии. Пока молодой, доставляет удовольствие сам процесс познания, и мышление в радость, в старости это, да, — единственная отрада, но мыслить больно и чудовищно. Дыхания не хватает. И сильное решение совсем не писать не вызывает возражений не только у окружающих, но и у тебя самого. Но, поскольку это единственное держит тебя на свете (в буквальном смысле на свете) то ты, стыдясь, пишешь, хотя бы потому, что напрасно и безнадежно. Ты не успеваешь за собой. И философия здесь ни при чём. Она, как и

Абсолютная Красота — никакая. Да и постыдный критерий применимости и востребованности тебя давно не беспокоит. Это, конечно, не игра в «кремушки», и вообще не игра, ни в каком смысле.

Тут просто высказывается то самое постыдное «мнение» (которое мнительно, сомнительно, как и прежде, но уже без самомнения), которое точно знает свои границы, которое так презирал Гегель, но который именно с него начинается своя «Феноменология духа». И примирительное утверждение Витгенштейна, что любое суждение правомерно, не бывает бессмысленных суждений, как нельзя кстати в своём допущении, что ничего бессмысленного нет. Отчасти это и благодаря интернету. Суть в том, что он категорически формален. И потому для него истины нет. Он сам для себя истина, на уровне суеверий. Но он копирует уже сложившуюся практику. Мифология — не просто чепуха, однажды она становится предрассудком. Суть в том, что она никуда не девается. Мало того — она снимается, но существует не только в снятии, а ещё и в своём первозданном мире, образуя умопомрачительные смеси. Микшируя науку с искусством, религией и прочим. Наука так же мифологична, как и в своём начале, только мифы — другие. Благодаря интернету, и отчасти популяризации, вопрос об истине вообще не стоит. Всё, баста, достаточно. Хватит с нас и суеверий. Отчасти этого хватает для управления, управы над массой, которая серединна, усреднена. Не скажу ту крамольную мысль, что есть где-то «посвящённые», особая каста «знающих». Тут каждый спровоцирован на высказывание — нужно только решиться. И Сеть, Облако этому потакает, потому что знать-то ничего и не надо. То есть существование, возведённое в принцип. Нивелирование до унификации и однородности. Конечно, новые технологии здесь ни при чем. Тот же Николас Карр совершенно верно говорит, что всё дело в экономике, именно она заставляет удешевлять производство. Есть ещё вопрос о применимости. В целом наука, помимо того, что пытается стать и становится производительной силой, ещё и склоняется в сторону эстетизма, считая принцип красоты в познании приоритетным. Большинство знаний современности — не применимо, они просто красивы сами по себе, будет ли это математика, астрофизика, о философии я уже не говорю. Это даёт возможность, с одной стороны, соблюдать строгий режим экономии времени, стремясь к краткости в тексте, а с другой стороны, вливать в текст избыточность, вроде не цитирования, а прямых ссылок на целые тома, музыку или кино- видеоряды. Тратить многие страницы, например, на сравнение исполнения Третьего концерта Рахманинова в исполнении самого Рахманинова с Тосканини и Горовица с Арманди, никакого смысла это не имеет — достаточно прослушать. Но немедленно, без долгих поисков. Поиск — это путь, а тут расстояния сокращены до минимума. Их почти нет. Но вместо того, чтобы мыслить в освобождённом и сэкономленном времени, приходится любовно дублировать машину, причём

систематизация и заменяется чистой поэзией текста. Который ударяется в чистую нарративность, как нормативность, повествовательность, хотя в этом нет нужды, либо пытается «выпасть в осадок», кристаллизироваться в собственной самоорганизации. Происходит натуральный обмен времени. И трата времени становится решающей. Время проходит, независимо от того, трачу я его или нет, и пустая трата времени — роскошь, именно роскошь, поскольку оно не обладает способностью к накоплению, а в скорости только находит способ интенсификации. Свобода не в неопределённости, но в скорости, и тем поддерживается инерция направления. Инерция пространства и связанного с ним пути идущего, как в упомянутом древнеиндийском трактате.

Это видно даже по бессмысленному вопросу об актуальности темы, которую всегда требуют — раньше только в диссертации, а теперь и в статьях. Скоро актуальность будет доказываться количеством лайков, а истина общим голосованием. Если строго подходить к этому, то проблема в том, как потенциальная бесконечность становится, превращается в актуальную, а та доразвивается до потенциальной. И только твой способ деятельности, познания, является тиглем этого взаимопревращения. Поэтому, если ты занимаешься «Начертанием иероглифа “ярость” в первой половине семнадцатого века в провинции Ху Бей», то актуальней темы на свете быть не может, как и «Узоры бисером на кожаных чехлах для зеркальца в бронзовом веке греков Причерноморья». Отсюда и смешные требования указания методов. Всё, что называется: сравнительный, аналитический, синтетический, хронологический, хронический, контемпоральный, компаративный, корпоративный, исторический, комплексный и т. д. — это не методы, а в лучшем случае приёмы. Метод по определению может быть только один, единственный, иначе он не метод, причём при применении он должен исчезнуть и работать, изнашиваться как действующий инструмент, исчерпывать себя, иначе его диктат будет заставлять изменять предмет, что тоже хорошо, но грозит искажением сущности. (Дело не в том, что так повелось со времён Декарта, с «Рассуждения о методе», Декарт должен быть оспариваем, хотя вопрос не в устаревании, а в потере исторической памяти. Современные исследования тупо ориентированы на сиюминутность. Создаётся иллюзия, что нечто может устареть. Это ужасное ощущение — не более того. Но уже в чувствах понимаешь и главное, чувствуешь, что прошлого вообще нет, как и будущего. Есть только возникновение-прехождение настоящего, что само по себе грандиозно. «Изобретение обыденного», о котором говорят, это неудачная попытка зацепиться за вечное воспроизведение, «извечное возвращение» обыденным сознанием. Изобретение постоянства, чтобы отдышаться.) В вопросе о превращённых формах это годится. Как глаз в разрезе не видит, так и метод, обращённый на самое себя, становится догматом. Какое-то время это работает, а потом превращается в идеологию или

символ веры. Унификация ему противопоказана, — только универсализация, то есть конкретность — в единстве многообразия. Он сам выступает как превращённая форма. В каком-то смысле он невозможен, а только действителен. О графе «практическое применение» я вообще не говорю. Представьте себе такой вопрос, поставленный Копернику, да любому (это аргумент профессора А. Клековкина в частной беседе, ну, посмеялись, и что? Ясен перец, что мы не Коперники, так что к нам такие требования приказом из министерства предъявлять можно). Дебильность этого требования в науке неопишима. И особенно умиляют тезисы новизны: «доказано, впервые, что... уточнено понятие...» и прочая дребедень.

Все дело в развитии, которое себя не знает.

Превращение превращается в преображение. И в этом смысл.

Эта книга, да все книги — сплошные предисловия, внезапно оказывающиеся послесловием и эпитафией, на кенотафиях — памятники — без покойника. Беспокойный покойник неуловим. По Гумбольдту не только синонимы из разных языков не синонимичны, но синоним с одинаковым написанием, повторённый синоним — синонимом себе не является. Каждое слово это вихрь, который завтра распадётся или обретёт новое значение, и сверхтекучесть языка — в каждом слове, как в капле, и всё это — превращение и марево, сопровождающее превращение. Надо не страдать по этому поводу, не в силах поймать непостижимое, а радоваться, приняв как данность эту бесконечную сверхтекучесть и непостижимость, используя их как бесконечную энергию. Не знаем, откуда пришли и куда уходим, где открывается то, чему имени, названия нет, и слов нет. Книги без начала и без конца. Немое, не узнанное, неизречённое восхищение.

Так ли я понимаю? Слово, по Гумбольдту, самому себе не равно, не тождественно и даже не синоним, хоть тысячу раз напиши — оно не похоже на себя. В этой светящейся бескрайности страшновато, сердце замирает, как перед падением в свечение и превращением в него — ведь меня в этом превращении не будет, уже нет, я изменяюсь и ускользаю от себя и к себе. Хочется спрятаться в тупоумии, в надёжности кажущегося тождества с собой, в ограниченности слабоумия. Но поздно, ты уже коснулась этой непостижимости до отчаяния — тебя уже нет — только стихия движения, которое ни при чём, оно — безотносительно.

Только отчаиваться не надо. Дескать, никто никого не понимает. Чоран писал: «Ад — это когда все станут как я», Сартр: «Ад это другие». Да кто только не писал (Буковски: «Ад таков, каким ты его устроишь». — *прим. ред.*). Но нет «это». Нет «других». Ни-

какой «разгадки» тайны, никакой тайны — просто так происходит, и оттого, что мы знаем это и как оно происходит, происходит по-другому оно не будет. Это как бесконечность: развития ли, становления ли, превращения. Оно, *конечно*, не одно и то же, но совершенно равнодушно к своему принципиальному различению и разрешению, как то же самое, хотя таковым не является — не возникает и не исчезает. Конечная бесконечность не более нелепа, чем бесконечная бесконечность.

Так вот, этого бояться не надо. Нет индивидуумов, в каждом — всё человечество. Вот когда тесно толпиться в человечестве, тесно в себе и тебя разрывает от огромности дыхания, — это предел, не может быть вечный вдох. Не надо воспринимать бесконечность количественно, как счёт до изнеможения. А как надо? Никто не знает. Просто не только бытие, но и ничто сразу. Всё сразу. Когда не последовательность длительности одной мысли, а все мысли сразу во все стороны. Тут главное не свихнуться. Я понимаю, что, когда сталкиваешься с этой невероятной краткой жизнью, когда понимаешь, чем занимается мыслящий дух, надо много усилий, чтобы не сойти с ума. Ну, само мышление — сходжение с ума. Но очень большой искус робеть, сталкиваясь с тем, что делали другие, и утопить всё это в невыразимом. Я перед каждым стихотворением, даже плохим, останавливаюсь в замешательстве: «это же надо так написать! Как это ему в башку такое пришло!?» Не надо фетишизировать. Это всего лишь люди. И творит не одиночка, а всё человечество, и не только в положительном остаточном результативном окончательном осадке, но в каждом, порою жалком и слабом своём шевелении. И вот, — такая малость! — кода удаётся почувствовать это и перестать благоговеть перед гениальностью, кощунственно поняв, что природа, человеческая природа чудесна своей обыденностью, и творит по обыкновению, и в этой кажности и бесконечной возможности всё дело, вся непостижимая жизнь и грандиозность этой всеобщности, — тут главное не поддаваться этой обязательности и ответственности, что ты должен. Ты ничего не должен, но можешь. И отпускаешь себя на свободу, создаваемую и превращаемую из необходимости. Удивляешься не тому, что я не могу, а что другой не может. И тяготишься своей яйностью, особенностью, уникальностью.

Когда ты понимаешь Мандельштама и Рильке, это значит, что ты Мандельштама и Рильке создаёшь. Они живут твоей

жизнью, и никто другой это никогда не повторит с непередаваемой интонацией, и такого взгляда, как у тебя, не будет, но это «всехний» взгляд во всей неповторимости. И самое фантастическое, что это нормально, как природа, которая всеобщая в каждое мгновение, «и небо в чашечке цветка...», и мгновенна в каждой всеобщности, даже если в следующее мгновение исчезнет всё. Так что банальное «Смерть кажется суровой победой рода над отдельным индивидом...» и «Бессмертна одна смерть» — это такой пустяк, по сравнению с тем, что мы способны чувствовать (это ещё как сказать, способны ли — чувства надо постоянно растить, весь смысл в росте и развитии, а развитие — не становление, оно временно — чувства не зависят от того, «сколько» их, какой «объем времени». Как в книгах. Одна фраза может «стоять» много, заменять целые тома, хотя иногда хочется, чтобы всё длилось вечно). Даже в малом ощущении и какой-нибудь реакции на раздражитель — миллиарды лет эволюции.

А чувства не эволюционируют. Они «мгновенны». Вот тут оторопь и берёт. И замираешь, «остановись, мгновенье, ты прекрасно». А на самом деле пытаешься мелькать мгновением в монтаже какого-то сумасшедшего кинематографа. Мельтешить мгновением. Так что не идёт из головы «нежность» неоплатоников как ипостась и атрибут, сущность (одна из) Красоты — тебе свойственная. Субстанция становится атрибутом.

Что поделаешь, поэзия умирает вместе с нами. Но само страшное, что она стареет. А иногда возрождается, покуда жив хоть один чувствующий, пусть даже он чувствует не так. Я ведь тоже не современник Рильке, Пушкина, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Багрицкого... перечислять до бесконечности? Хименеса, Тарковского, Вельехо, а порой и в переводах. Будут любить поэтичному, может быть, даже сильнее и чище, чем представлял себе сам Мандельштам.

Наша поэзия неповторима, и потому умирает вместе с нами, с каждым из нас. Не надо, чтобы слишком больно, это смертельно, как жизнь, и не смертельно, как смерть. Жить можно пошло, а можно не пошло, как захочешь... Хотя надо так, чтобы пошлость была невозможной, немислимой. А это и возможно, и действительно, без вариантов... Так что не надо бояться, главное — не предавать себя, даже в мелочах. Но не натужно, а естественно: «А как же иначе? Иначе невозможно». Так что «мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою»... И Грузия была бы иной, если бы не было «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» И, как я когда-то осмелился написать, Шуберта лю-

били бы меньше, если бы не «И Шуберта в шубе застыл талисман, движенье, движенье, движенье...» И «Нам пели Шуберта...»

Я не современник самого себя, вернее, буквально — со-временник, современник.

Самодисциплина и самоорганизация, как и самодеятельность (в немецкой классике) — необходимость свободы, а не закрепощение и принуждение, хотя элемент насилия есть во всяком преобразовании и превращении. Так что использовать цели как управляемые, в их спонтанной имманентности, использовать орудием, и уже даже технологией, то есть наукой как производительной силой — очень славное решение, но паллиатив. Попытка обмануть себя ложными обещаниями ограниченности, «вот ещё потерпим, а там и всё, дошли до вершины». Дескать, в последний раз, и всё. Ещё чуть-чуть, а там... Последнее усилие, и вот... Смысла в этом нет изначально, и не будет. Телеология ложна и целеполагание порционно. А отваги раствориться в этом движении нет. Тех, кто отважился — не знаем, и памяти не сыскать. Цель — как желание предела, чтобы его преодолевать. Преодоление цели, «отодвигание предела в бесконечность». Установление меры, «золотой середины», результирующего, «среднего» движения — иллюзия соразмерности. На самом деле развитие всегда «сверх», оно чрезмерно, избыточно, грандиозно исподволь, и цели излишни. Идеалы тавтологичны. Они дубляж, тиражирование смысла непосредственного становления. Как время — «лишённость», так здесь — чрезмерность, которая делает само время недостаточным, и тем порождает своей нетостью избыточность — свободное время, где бытие и возможность — противоречие предела. Это создаёт томительное ощущение: «чего ж ещё»? Куда? Зачем? Вопросы риторические.

Вопрос, писать или не писать — ничтожный: хочешь пиши, хочешь не пиши. Если занимает (а не просто забавляет), то чем не занятие, а можно и не писать, что тоже значительно: «Всё, писать не буду», как объяснение самоубийства и «прошу в моей смерти никого не винить...» — эпитафия к любой книге. С этим разбираться ни сил, ни охоты нет. Многие вопросы кажутся пустыми. Когда-то вопросы превратились в запятые. И здесь, любезный соседюшка, позвольте поставить запятую... Не в том дело, что всё напрасно, и нет ни конца, ни края познанию, сбыванию и решениям с проблемами, а в том, что больше ничего не пред-стоит. Ожидать нечего. Свободное время — время ожидания — тут же превращается во время свершения, воплощения, события. Собственно, оно — время превращения.

Флоренский говорит о методе и различении «науки» и философии в качестве оправдания; скройся за авторитетом в «У водоразделов мысли». Хотя всё это имеет продолжение, и окажется, что Флоренский — неправ, хотя догадывается. Потому что мыслимый предмет меняется и превращается. Речь

идёт о науке, как непосредственно производительной силе. И о стирании демаркаций.

Поэтому вопрос, является ли философия наукой, в сущности, глупый. От того, как мы ответим на этот вопрос, ровным счётом ничего не меняется. Можно и так: «Философия не является наукой, потому что только она и есть наука, поскольку подвергает сомнению свои собственные основания, полагая их и уходя в них».

Не самомнение, а — со-мнение, как со-весть, противоречие, со-чувствие — основание, исчезающее в себе. Удивление от увиденного, или не увиденного, но ожидаемого, всегда неожиданного. И это ожидание трепетно, как представление. Воображаемое, которое никогда не совпадает с явным. Представление как предчувствие. Можно, как Флоренский, дескать, наука аналитична, а философия синтетична, и решить кантовскую антиномию. Потому что трансцендентное и трансцендентальное, анализ и синтез, пространство и время, и вообще противоречивость — это об одном и том же всеединстве.

Но и феноменология духа, и становление науки в её бытии и существовании, и учёное незнание, и всё прочее — её причудливое бытие в превращении в его при-чуждливости, при-чутливости. Она и впрямь граничит с чудом, без всяких дешёвых чудес.

Свободное развитие форм движения материи и человека без всякого «заданного масштаба» («заднего»), хотя масштаб и есть тот (музыкальный) размер, который определяет эту организацию как музыку, которая не предусмотрена и не предполагалась. Она — невольно и спонтанно, нечаянно. Иначе не могу сказать.

Это то, что А. Канарский считал «соразмерностью», хотя о соразмерности и гармонии писали многие. Ровно столько, сколько нужно. Иногда это является как необходимость и свобода, стихия избыточности, порою поражает восхитительностью чего угодно: строгостью, точностью (грубой утончённостью), уверенностью, вплоть до принципиального педантизма. В соответствии со своими понятиями и точностью, и сущностью, и интонациями, в следовании форме, в её превращении и перетекании, когда определённость ничего не значит, не выражается другим. Наука уже давно отошла от того, чтобы быть прикладной и прагматичной. Ей всё равно, какая она — упоённо занята своим сбытием, иногда путая это со сбытом, востребованностью и потребностью. И во многом развивается почти естественно, как развитие самой формы движения. Всех форм движения в их единстве и по отдельности, не только в своей данности, но и в своей потенциальности. А потом окажется, что никакой разницы между потенциальной и актуальной бесконечностями нет, как между жизнью и смертью, пространством и временем... и главное — это дело-действие, а не в том, что это такое.

Каждое слово — загадка, сплошные вопросы. И философия кажется ерундой по сравнению с неизвестным — оно не отзывается и неузнанно. Чем больше познаем, тем больше не знаем. Оставаться бы в неведении! По-своему очень символично, что затухает память — она в беспомощности в реверберации диминуэндо, и остаётся только ощущение бесконечного мрака из света — это его глубина, и память не нужна, потому что всё здесь, и никакого прежде и потом, но пространства даны всецело во всей бесконечности. Память безымянна, даже себя не помнишь и не знаешь.

Наука вообще совершенно неестественна, однако то, что она становится природой и знает, что она не навсегда, может вызывать радость, а не доводить до отчаяния. И отчаяние может быть эстетическим переживанием: ни науки, ни философии, и названия этому нет, — ты не знаешь какой ты, где ты, почему и зачем.

Так вот, не достигнуть пределов, расшибившись о них с разбега, не отодвигая их по-Шеллинговски в актуальной бесконечности, а превратившись в превращение, которое и есть бегущий предел. Но поскольку он — в бесконечности, он на «месте», посередине и на окружности: «радиус везде, — окружность нигде». Предел бегущий, и в то же время он определенный и определяемый. Поэтому вопрос о траектории предела — бессмыслен, и в этом его суть, в бессмысленности. Смысливай, не смысливай, — он не снашиваем и неисчерпаем. Сложность не в том, что ты рассчитываешь траекторию как прошлое, а в том, что исчерпанность наступает в настоящем. Ты на «последнем» пределе. Так что предел в его создании — не отложение солей, когда он со скрипом, как с трудом (буквально с трудом), самоопределяется. А в том, что ты используешь предел как инструмент раздвоения противоречия. То есть, по меньшей мере (по мере сил), сознательно приходишь в сознание, а не спонтанно, впадаешь в определённую, дескать, баста, всё, подвёл черту. Что-то хряснуло, и давно, пошло в разгон, и сознание вихрится, опаздывая, складываясь в отставании, позади.

Продолжаю мысль о превращении многообразия в последовательность речи, а потом закрепитель письма, превращение в длительность, которая протяжением (протяжённостью) присоединяется к мысли и бытию, как старая добрая картезианская проблема присоединения к протяжённости, которую ещё надо создать, выпрясть в нить Ариадны и размотать клубок в строку (бегущую). Только она никуда не ведёт, и мы тем путеводным клубком играем с пространством, как с котёнком, а потом можем себе и свитер с варежками связать — из шерсти, которой поросло пространство.

В современном мире поэзия осталась намёком, как и философия. Поэзия и философия бликуют. Спят глаза. «Знание» условно и излишне. Оно — су-

губо эстетический феномен. В массе своей оно бесполезно, как нечто, утратившее утилитарное назначение. Знание об образованиях звёзд и черных дырах так же бессмысленно, как знание адресов петербургских кабаков и австерий, трактиров, гербергов, бирхалле и прочих заведений времён Пушкина (недавно с интересом читал современную книгу, где указаны уже несуществующие адреса несуществующих ресторанов того времени и что в них подавали). Современное знание так же хаотично и ограничивается несистематичным любопытством, подкреплённым выдуманным самомнением. Весь смысл не в знании, а в со-знании, и в остром чувстве убогости человеческой мысли. Правда иногда поражает взлёты воображения, но это скорее гипертрофия способности удивляться. Так, трудно определить, старческая ли это сентиментальность, когда прошибает до слёз исполнение, скажем, Фуртвенглера, или это действительно гениально, запредельно и не укладывается в сознание. Просто охотно впадаешь в восторг даже без повода, от того, что сам так не можешь, но вот ведь: чувствуешь! А мог бы оставаться равнодушным.

В своё время я испытывал неловкость, любя произведения Родена. Меня смущала художественность, живописность и абсолютная непластичность его произведений. Они казались мне картинными и плоскими. Я стыдился, но не делал выводов окончательно, не определялся. Меня царапало. Пока не прочёл Рильке о Родене. Когда он совершенно невообразимым образом пишет, что скульптуры Родена — это блики на поверхности, отсюда сверхтекучесть, неверность и изменчивость. Здесь скульптурность и пластика не в массе, а в изменениях света и бликов на поверхности. Тут нет анатомичности. А уж когда Рильке выводит творчество Родена из скульптур средневековья, из пламенеющей готики, а не Античности или Возрождения — тут оторопь берёт окончательно. Скульптуры Родена готичны. Без этого замечания было бы не так волнующе. Как и без ненужной, лишней ассоциации, что больной Пруст ездил рассматривать фасады готических соборов в поисках одной-единственной упомянутой невзрачной фигурки, найдя её, был счастлив. (Как чтение Джойса, которого вряд ли кто-то прочёл до конца. Гордость от того, что прочёл, сродни гордости, что играл Моцарта: не важно, как, но играл.)

В книге, восхитившей Умберто Эко, — он даже написал предисловие к ней, — вполне передано это ощущение счастья и поиска, присущего любому познанию: «Но в биографии Пруста случались и реальные паломничества. В 1900 году, сразу после кончины Джона Рёскина, Пруст опубликовал в “Фигаро” статью, озаглавленную “Рёскинские паломничества во Франции”, в которой он призывал посетить места, описанные Рёскином: большие готические соборы на севере Франции, в Амьене, Бове, Руане. Пруст, который позднее отправится даже в Венецию, чтобы ощутить присутствие Рёскина в камнях этого города, отозвался на свой собственный призыв и вместе с группой друзей отправился

в Руан. Дело в том, что в *“Семи светочах архитектуры”* (*“Seven lamps of architecture”*) есть место, где говорится, что на одном из порталов Руанского собора находится маленькая, невзрачная, но в высшей степени удивительная фигура, подпёршая рукой тяжёлую голову, “озлобленная и смущённая своей злобой; её ладонь крепко прижата к скуле, так что щека *собирается складками* под глазом”. Как это часто бывает у Рёскина и у Пруста, деталь вдруг оказывается главной. В своей книге *“Марсель Пруст”* Ричард Баркер (*Richard Barker. “Marcel Proust”, 1958*) рассказывает: “Когда он [Пруст] ещё работал над переводом Рёскина, он снова перечёл тот отрывок из „Семи светочей архитектуры“, где Рёскин, для того, чтобы осудить современные машины и возвеличить средневековое ремесло, описывает некоторые барельефы северного портала Руанского собора; как раз в это время газеты сообщили о смерти Рёскина, и Пруст тут же решил почтить память учителя, совершив паломничество именно в Руан. Он хотел увидеть барельеф собственными глазами. Пруст пустился в путь с друзьями — четой Иетмен, — они подошли к северному portalу и стали изучать многие сотни его фигур в поисках той, которую обессмертил учитель. Наконец мадам Иетмен сообщила, что нашла, — и в самом деле, это были они: драконы и странный человечек, так тяжело опершийся головой на руку, что щека собралась складками под глазом. Трудно было найти на портале другие фигуры, столь же незначительные, — тем не менее Пруст был счастлив”» (Петер Корнель. Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи. СПб.: Азбука, 1999). Все мы пишем комментарии не просто к утраченной рукописи, а к рукописям ненаписанным. Незнание интересует больше, чем известное, которое ещё больше неизвестно, чем то, о чём мы даже представления не имеем, что для нас не значимо, не существенно и о чём даже не догадываешься, но оно есть. Причём не где-то «там», а здесь. Только об этом понятия не имеешь.

Вот это ощущение счастья, блик, тень, схваченная мимолётно — оттенок торжествующего ощущения мышления, мимолётное счастье увиденного. Кажется бы, произведения Родена можно любить и просто так, безо всяких. Но чувство, где длина волны превращается в цвет — именно в бесполезности, ненужности и звучании. Тут не задаются вопросом «Зачем?» Вернее, весь смысл спросить: «Зачем?», а потом ответить: «Просто так». Это воображимое невообразимое, преображающее Родена, вернее, его сделанность в свободу сродни безразличному морю в солнечной дорожке. Там, может, и нет ничего. Быть может, Роден не обладал воображением, и всё это натурализм чистой воды, но чистойшей — не отказ от оснований, а переосуществление их. Рождение видения...

Поэзия и философия не виноваты, что их не видят, но снисходят далеко не к каждому. У нас нет выбора, никто не знает, что и из чего выбирать, а философия сама выбирает. И весь опыт, интеллект и прочее — только мера освое-

ния того, что уже существует. И количество здесь ни при чём. По большому счёту, я должен уже замолчать. Философия, как ни странно, и поэзия — для молодых, когда не знаешь, а в старости ты в растерянности приходишь к тому состоянию, когда можно было не шевелиться. Это если повезёт.

Но я этого не знал, и сдуру две идеи всё же освоил, а объяснять — значит упрощать. Хотя непонятно, зачем. Их (идеи) можно только принять к сведению, а формы воплощения выбирают — происходят они сами, и даже не они, не ими, а помимо них. Идеи только указывают своё присутствие, — ими не руководятся. Указывают на то, что только возможно. Так светятся клады на Ивана Купала огнём холодным папоротника цветущего (иронизирую). В общем, странная штука — философия: то ли это спасение от ужаса, то ли от стыда. Философия всё же отчуждённая, *отчуждённая* форма, и она — ответ свободы, если не её потешный заменитель. Когда этой свободы достигаешь, а её можно достигнуть лишь превратившись в свободу, то не нужна ни свобода, ни философия, да и поэзия — без слов. Ты ею чувствуешь. Она тобой существует, в том числе и чувствует.

В молодости воспринимаешь одно (по одному), в старости другое (по Другому), но это одно и то же восприятие. Вот сейчас мучительно (не читая), пытается меня «Старик и море» (кстати, вспоминается не гениальный мультфильм Некрасова, а именно Хемингуэй). Так вот, в молодости это одно, а в старости совсем другое не потому, что я намекаю на исключительность старости, а просто блики сознания: просмоленный борт лодки и дикая усталость и безнадёжность. Усталость всего и только.

У Гёте даже в безнадёжной старости есть упрямый оптимизм и жажда отдать настоящее ради будущего. Интонация Гёте действительно такая. Но почему? Да потому, что альтернативой такой точки зрения было пассивное самоубийство. Трудно занять позицию превращаемой материи, которая самой природой обречена. Рассматривать всё с точки зрения превращения очень трудно и сомнительно во всех смыслах. Мышление само по себе — бунт против природы. Но бессмысленный. Раз Гёте говорит, то это действительно так и есть. Вопрос: знал ли Гёте правду о себе? Или просто отчаянно цеплялся за свои предположения и фантазии, воображая, что мужество, подкреплённое знаменитым монологом Гамлета, всё же в сопротивлении? Вопрос, конечно, не в том, чтобы быть или не быть... А в том, до каких пределов возможно сопротивление, и оно — гордость, а после каких — хуже, чем трусость.

Жизнь вообще недолгая и скоротечная (старотечная и страстотечная, пантареистая), скоропостижная штука, и дело в самом деле, а не в предварительных доказательствах самого действия и его необходимости. Молодость вообще построена на предательстве. Хотя изо всех сил пытается культивировать благородство. Как старость основана на, мягко говоря, компромиссе и терпимости, снисходительности, однако именно старость консервативна и злобна,

изо всех сил пытается быть благодушной, хотя терпит поражение в борьбе с завистью, и надо знать, когда вечное недовольство собой, временем, миром и роптание перетекает в брюзжание и мизантропию, в зависть, что живут и будут жить уже другие, в ненависть ко всему живущему или в безвольную и бессильную покорность судьбе.

Точно так же молодость — это не определение; ничто не лучше, и молодость, и старость могут быть разными, но всё это основывается на заблуждении, что именно возраст виновен в тех или иных невзгодах, горестях. Но молодость может хоть что-то исправить, а старость — исправленная, затянутая временем в корсет и парализованная, уже ничего не может. Так что не надо готовиться к старости. Где сам человек? А его нет, и он есть одновременно в единстве бытия и ничто в становлении, как бесконечный поток. В становлении, причём не иносказательно. Человек весь полностью обновляется каждые семь лет и даже ежемгновенно, он солнечный вихрь, протуберанец в единстве жизни и смерти, превращение мёртвой материи в живую, чувствующую и мыслящую, и сейчас в данное мгновение каждый меняется, превращается, и конца этому нет. В этом весь восторг и ужас. И жалеть о жизни — это всё равно, что жалеть о молочных зубах, потерянных безвозвратно.

По сути, традиции нет, и нечего её искусственно возрождать. Какой опыт могут старики передать молодым? Да молодых нечему учить, у них другая жизнь. Вот когда они будут склоняться к старости, когда они с ужасом поймут, что и им не избежать всего этого, и почувствуют старость, как неистребимый запах, тогда наступит бессильный ужас. Так что опыт не передаваем, как раньше, от деда к внуку, от бабушки к внучке, вырванный из контекста, он превращается в определённый курьёз, диковинку, и носит эстетический характер, ну, например, я могу оседлать коня или читать Гегеля. Вырванный из контекста Гегель — мифологичен, там ничего от Гегеля нет. Мы имеем дело с фольклором философии, и только. И как ряженные фольклористы пытаются реставрировать старину, воспроизвести с точностью то, что воспроизвести невозможно, — жизнь песни, — так и знатоки философы рядятся в мысли, которые, правда, свободны от условий, опыта, их породивших. Остаётся талантливая имитация.

Недавно был потрясён исполнением фольклорным коллективом казачьей песни «Братина» «старинной» (!) казачьей песни «Не говори, что мы случайно встретились...» на стихи Ганны Зборожек (которая считает себя терской казачкой) — музыку написал руководитель ансамбля Юрий Чирков. <https://www.youtube.com/watch?v=iN-tFU9s7M4> Песня явно навеяна действительно старым романсом «Прости, звезда...» <https://www.youtube.com/watch?v=QJhmTz-nzV4>, который тоже имеет литературное происхождение. Но здесь произошло чудо, когда возникла не имитация, не копия, а неведомая жизнь. Создалось впечатление, что в прошлом, где-то там, все ещё живы и продолжают петь и сочинять.

И не только в прошлом, а в настоящем. Также совершенно ничего не значащий момент в философии. Её беспринципность в том, что она не знает прошлого. Дело не в точности воспроизведения и интерпретации. Даже утраченные произведения выразительно зияют. Поэтому я считаю, что точное цитирование невозможно, хотя и желательно. Смысл в том, что она только в настоящем и свободна изначально от нужды. В ней нет нужды, поэтому это теоретическая область, феория, феерия свободы, которая в представлениях. Реальная свобода в ином... Но принципиальная изначальная неприменимость и неопределённость философии позволяет любить её бескорыстно. Только следует помнить, что она как женщина — светит отражённым светом. Философия ушла в отчасти в фольклор, в исполнительство старинных песен, которые сама же и сочиняет. Но, может случится, привидится и такое — Флоренскому, и когда!? Когда о фольклоре ещё и не говорили, когда не путали фольклор и жаргон философии.

«Просится ещё подобие: русская песня. В музыке раскрыты доселе два многоголосных стиля: гомофония Нового времени, или гармонический стиль, с господством главного мелодического голоса над всеми остальными, и полифония Средних веков, или контрапунктический стиль, с взаимоподчинением всех голосов друг другу. Но симфонисты пробиваются к третьему стилю, в существе своем предшествовавшему полифонии и своеобразно раскрывающемуся в многоголосии русской народной песни. Это, по терминологии Адлера, — гетерофония, полная свобода всех голосов, “сочинение” их друг с другом, в противоположность подчинению. Тут нет раз навсегда закрепленных, неизменных хоровых “партий”. При каждом из повторений напева, на новые слова, появляются новые варианты, как у запевалы, так и у певцов хора. Мало того, нередко хор, при повторениях, вступает не на том месте, как ранее, и вступает не сразу, как там, — вразбивку; а то и вовсе не умолкает во время одного или нескольких запевов. Единство достигается внутренним взаимопониманием исполнителей, а не внешними рамками. Каждый, более-менее, импровизирует, но тем не разлагает целого, — напротив, связывает прочней, ибо общее дело вяжется каждым исполнителем, — многократно и многообразно. За хором сохраняется полная свобода переходить от унисона, частичного или общего, к осуществленному многоголосию. Так народная музыка охватывает неиссякаемый океан возникающих чувств, в противоположность застывшей и выкристаллизовавшейся готике стиля контрапунктического. Иначе, русская песня и есть осуществление того “хорового начала”, на которое думали опереть русскую общественность славянофилы. Это — феократическая синархия, в противоположность юридиксму Средневековья западного (стиль контрапунктический) и просвещённому абсолютизму Нового времени — будь то империализм или демократия, — что соответствует стилю гармоническому.

В философии здесь автору хочется сказать то самое, что поёт в песне душа русского народа. Не систему соподчинённых философских понятий, записанных в Summa, и не служебное, условно-прагматическое пользование многими, подчинёнными одному, как практически поставленной цели, но свободное “сочинение” тем определяет сложение всей мысленной ткани. И если сочинитель не всегда может отвлечённо объяснить, или не сразу может найти удовлетворяющий его ответ, почему в данном месте вступает именно данный круг наблюдений и те или иные частности, то это ещё не значит, чтобы он согласился эти вопросы отставить или перевести на иное место. Не отношение к ближайшим предшествующим и непосредственно последующим высказываниям мотивирует данное, но отношение этого последнего к *ц е л ю*, как это вообще бывает во всём живом, тогда как свойство механизма — иметь части, зависящие только от ближайших смежных, прямо к ней присоединённых» (С. 23).

Понятное дело, всё это относится не только к народному пению, а пению на всех языках, и тех, которые не созданы. И охватывает «океан» чувств, которые «народному» «человеческому» ещё и не грезилась. Вопрос вообще о чувствах, их возникновении и уничтожении в пространстве и во времени, то есть о превращении во всей всеобщности и полноте. Где не отрицается даже «фео-кратическая синархия» и религиозное чувство, которое той же природы, потому что жалко выбросить, и мир от этого обеднеет. И это не исключает чувства ставшего и выкристаллизовавшегося, всё наличное бытие которого есть не что иное, как «превращение» в одной и той же определённости, а потому в форме покоя, но всё же пребывающее в сверхтекучести.

Сверхтекучесть, когда, например сжиженный гелий протекает, просачивается сквозь кристаллическую решётку.

Свободное время обладает таким же свойством. От него ничего нельзя урвать. Его нельзя хранить, накапливать и передавать. Свободное время только на время может быть схвачено и использовано не по назначению (да, у свободного времени и у времени развития материи вообще впервые появляется предназначение), похищено у его сущности, и в этом убудочном состоянии принуждено давать прибыль. Весь интернет построен на свободном времени и за его счёт.

Применение машин не экономит время. Оно увеличивает производительность труда. А в случае применения компьютера, то ни о какой экономии времени речи быть не может. Оно построено как модель потребления.

Современная философская ситуация сложилась таким образом, чтобы исключить философию вовсе. Она напоминает супермаркет, где всё расфасовано, она представляет всё по отдельности. Если ещё каких-нибудь пятьдесят лет назад можно было встретить подобия зоопарков, где идеи жили в вольных

вольерах, якобы на природе, то уже начиная с феноменологии, которая скорее напоминала мастерскую таксидермиста, ситуация начала стремительно меняться. Феноменология гуссерлевского толка, столкнувшись с тем, что явление безжалостно сдиралось с сущности, чтобы расчлнить сущность аналитически, анатомически и познать «нутро», решила шкуру вещей не портить, а бить прямо в глаз, чтобы затем, изъев тушку, набивать чучелко, где идеи «как живые», и даже что-то имитировать «конкретной музыкой», озвучивая. Сейчас философия представлена субпродуктами: отдельно печень, лёгкие, отдельно сердце, мозги и т. д.

Всё не так печально. Как фольклористы создали собственную мифологию, утверждая, что фольклористика развивается, хотя «фольклор умер», носителей нет, но жизнь продолжается, так и философы, вернее, подвизающиеся на этом поприще, теперь не открывают, создают новые территории, вернее, новые измерения, создавая новое пространство, и это не так глупо было бы, если бы предварительно не убили воображение. Его просто ампутировали, как рудимент, вроде аппендикса, вместо того чтобы развить не только в рассудочном (никакой диалектики воображения нет), но и в разумном виде. Формальная граница рассудочного воображения оказывается и границей разумного, так сказать, «нижней» границей или нижним пределом.

То есть, если бы предел выступил в своём действительном виде и сути, как переход, то это бы дало новый виток, вернее, продлило судорожное существование искусства, которое сейчас представляет простую свалку, грандиозную по масштабам, но безмозглую. Свалку отходов промышленности и новых технологий, лишённую воображения. Эта лишённость — памятник и источник времени, которое, как известно со времён Аристотеля, всё происходит из... и представляет «лишённость» (даже если оно — свободное). С развитием возможностей передачи свободного времени на расстоянии становится явным, что оно обладает сверхтекучестью, и поэтому сочится сквозь «кристаллические структуры».

Его первыми «накопителями» условно можно назвать произведения искусства: они, при всех материальных параметрах — не физические, и они сами — источник свободного времени, не в промышленных масштабах (вроде изморози, конденсата, «божьей росы»). Это вульгарное и пошлое представление не отражает и миллионной доли того, что на самом деле может быть при переходе к свободному времени как форме общественного богатства, хотя при неосторожном обращении оно может и убить. Мгновенно или медленно. Зачем это знать? Вопрос не в том, чтобы перейти от красивых предметов к красивым чувствам. Чем тебя эти-то не устраивают — какие есть, или нет, никакой разницы. Вопрос в том, чтобы довести до разрешения противоречие Прекрасного и Красоты. А зачем? Нам и здесь хорошо. И тут бессильны любые аргументы. Их просто нет.

Вместо сомнения — растерянность. Стоит только узаконить её, как несформированные, бегущие мысли как таковые получают полное право на существование. Как бегущая строка. Которая всякий раз новая. Ползучесть, скорость мысли, натолкнувшаяся на предел скорости со скоростью света: вот тебе и озарение! Не схватываемая мысль. Схватывание — как раскат грома. Происходящее, а не произошедшее.

То есть, если принять за норму превращение основанием, и ставшее, как становящееся, возникновение и исчезновение как один процесс, то не просветлённость — свечение мышления перестаёт «делать вид», а ставшее не является целью, и завершается, замыкается на самое себя в воспроизведении «позади», «потом» в настоящем, прошлом ныне.

В современном познании целей вообще нет. Отсюда страх перед движением. Страх перед заведомым исчезновением в потомке, потёмки «потом» и не ощущении себя, как «прежних», хотя «от прежних нас всё глаз не отвести» (Рильке). Ты никто, ничто заранее. Воплощённая «преждевременность», упреждение, предтеча, предвосхищение. Вот это несмирение поначалу страшит, только потом ты понимаешь, что это страх забвения.

Когда это самозабвение, тебя уже это совершенно не волнует. Глядя на это вечное превращение, более того, океан становления, которое не знает, *что* оно, чувствуя не просто причастность, а то, что это ты и есть форма движения во всей полноте — «огонь, мерами угасающий». Здесь уже нет правильно-неправильно. Только исступление. И скорость. И эта неопределённость, когда проблема не является проблемой, что ты неведомая часть той силы, которая — всё и ничего, не спрашивает, зачем и почему так надо, а движется, как природа порождающая и природа порождённая в непосредственном движении.

Не надо бояться. Надо принимать или не принимать. Хотя я понимаю. Вот сейчас со мною с беспощадностью происходит всякое: я умираю, я деградирую и опускаюсь вместе с ординаром. Хочешь или не хочешь, ты поглощаешься общей деградацией, повреждаешься в уме и в мерцающем сознании, хочешь или не хочешь, пока ещё схватываешь этот неизбежный процесс. Тут только и остаётся, пока достанет мужества, мыслить, хотя на самом деле — хочется только отвернуться. Но взгляд не оторвать. Помочь ничем нельзя. Я должен ободряюще сказать: «Ничего, прорвёмся», а при этом знать, что уже всё. Не смотри. Но тут надо сохранять последнюю честность — быть собой. А не пугать всех криками, как мне плохо. Не рисовать адские картины твоей боли, не говорить, что всё конечно. Всё ещё не начато, а ты, заразившись от жизни старостью, смотришь во все расширившиеся глаза на катастрофу. Может, это катастрофа возникновения?! Как знать!

Во многом, я смотрю, отринув жалость к себе, на всё это, как на смену старых привычных форм. Это так, как если бы ребёнок глазами ребёнка, понимающими, что происходит, видел акт своего рождения, осознавал бы его. Ничего страшного не происходит. Страхное — это когда этому процессу тупо мешают. Вопрос в том, что пора сделать этот процесс управляемым и избавиться от недоразвитости. Ну, хотя бы научиться мыть руки и снизить риск родильной горячки, поскольку роды начались, и их не отменишь.

Дело ведь не в том, чтобы заниматься, узнав законы эволюции, селекцией, в том числе и духовной, не дай бог, клонированием, пуская клоны на органы, а в том, чтобы привести в соответствие развитие. А это проблема общественного развития, то есть пока стоит вопрос организации общества в иной форме общественного богатства, основанной не на форме стоимости, не на нищете, а на форме становления (дико звучит, потому что становление не имеет формы), форме времени, форме движения, свободном времени, как бесконечном, бесконечностью, становлением ограниченном.

То есть задача упразднить и форму, и богатство, и свободного, и времени. Так вот, я сейчас сражаюсь с абстракцией, изыскивая, как можно передать это движение, а надо непосредственно применить это на практике. Пока этот фокус удаётся только с моими жалким чувствами, и то они лишние. А надо это сделать в промышленных, планетарных масштабах. И время пришло, но — не готовы. Пользуются механическими заменителями. Падейя и алитейя — это, в сущности, одно и то же. Только падейя — осуществление эйдоса в процессе путём алитейи. Суть не в открытии свободного времени, а в производстве, даже не в производстве.

Так что жаловаться нечего. Но не успеть. Ты видишь, как мгновения уходят, и тебе не успеть, а повреждённость старости, когда твои мысли воспринимаются собой, как результат, эхо опоздания, сумасшествия, ненормальности. Есть темы, которые не для старческих мыслей. Тут примешивается невозможность, хотя (в) сущности — всё равно. Но молодости — доверия больше. Там ошибка воспринимается с улыбкой, как невинный промах, а тут — как заведомое зло, злокозненность, злодейство.

Но главное: ты знаешь, что ещё до написания все твои эскапады ошибочны, и этого не исправить. Свободное время, пока

оно форма и время, и наличное бытие в его превращениях, а не просто в прехождении и «нетости» — исторично, следовательно, может схватываться на каждом этапе неузнанным. Музыка-то музыкой, поэзия, живопись, философия, но какая? Порочность превращённой формы, которая не в себе. Вопрос только в создании, в деятельности, но печально, что тут ты властен только над отрицанием, над «не то», а не — «самое оно». И только в полном всеобщем понимании, в абсолютном молчании, потому что не докричишься, а проговориться тебе не дадут, у тебя отнят голос, и то, что ты знаешь — уже не увидишь.

Мучительно, что не высказать, мучительно, что поздно, но и рано, не вовремя, замечательно, что, если отбросить все банальности и побочные катастрофы, включая возможную позорную гибель, моё тошнотворное презрение к этой человекообразной обезьяне, что натворила такое (Бернард Шоу с его высказанным в сердцах: «Человечество — это большая вонючая обезьяна с дубиной»). И в то же время теряешь дар речи от гениальности (от пошлости тоже) бесчисленных писателей, композиторов, музыкантов, поэтов, философов: они много выше, чем всё это кипение звёзд и галактик. И действительно развитие материи, при всём, что оно смахнёт человека и даже не заметит — антропоцентрично. И ещё есть бесконечная жалостью, почти слезливая, к людям, которые фрагментарно, иногда превышают моё понимание. Такие они, люди! И ещё я понимаю, что начинается самое интересное.

Я это чувствую и предвижу, предчувствую такие чувства: иные, не имеющие предметности, они пока ещё подмётные, подкинутые, подброшенные чувства. Моих возможностей и способностей не хватает, чтобы хотя бы это осмыслить. Понимаешь — вещи уже перешли от мысли, по её контуру, к осмыслению процессов, уже вопрос о скорости и превращении везде, хотя скорость — это всего лишь время, делённое на расстояние — просто ерунда, абстракция, скомкивающее(ся) пространство, а дрожишь, потому что понимаешь: имеешь дело(!) с неведомым, с незнанием, не просто с движением, а со становлением, превышающим развитие, и тут ни больше, ни меньше нет, тут есть то, что всегда во всей полноте. Там такая феноменальная красота, которая даже не феноменальна, но чувственна, хотя чувствовать нечем. Чувства всегда превышают сами себя, и в то же время их недостаточно, чтобы хотя бы ощутить...

Так что все эти сетования на то, что плохо — это боязнь открытых времён, распахнутых просторов времени (а не «распахнутых блинных» — цитата из фильма «Норвег») и стремление к ограниченности, чтобы спрятаться в тени вещей, в привычной очерченности, соразмерности, ограниченности, как органичности, организованности.

Хотя вглядываться в ту ничтожность, что на фоне грандиозности окружающего холодного космоса, украдкой, до немоты, до потрясения, до ужаса, до разрыва сердца, до самой смерти — есть счастье... С тайной гордостью от самой причастности мышления этому непостижимому всеобщему становлению. Я только сейчас отваживаюсь быть не безупречным, как в прошлых книгах, а смешным, не контролирующим движение — это ещё не полет, который полёт, а только прямохождение, учусь ходить с трудом, отрываясь и не радостно, от поверхности. Нет чётких правил. Инструкций. Каждый раз тысячи, миллионы вопросов, тысячи вводных и никаких алгоритмов действия.

Есть у меня шестёрка слуг,  
Проворных, удалых,  
И всё, что вижу я вокруг, —  
Всё знаю я от них.

Они по знаку моему  
Являются в нужде.  
Зовут их: Как и Почему,  
Кто, Что, Когда и Где.

Я по морям и по лесам  
Гоняю верных слуг.  
Потом работаю я сам,  
А им даю досуг.

Я по утрам, когда встаю,  
Всегда берусь за труд,  
А им свободу я даю —  
Пускай едят и пьют.

Но у меня есть милый друг,  
Особа юных лет.

Ей служат сотни тысяч слуг —  
И всем покоя нет.

Она гоняет, как собак,  
В ненастье, дождь и тьму  
Пять тысяч Где?, семь тысяч Как?  
Сто тысяч Почему?!

*Перевод С. Я. Маршака*

Оригинал:

I keep six honest serving-men  
(They taught me all I knew);  
Their names are What and Why and When  
And How and Where and Who.  
I send them over land and sea,  
I send them east and west;  
But after they have worked for me,  
I give them all a rest.

I let them rest from nine till five,  
For I am busy then,  
As well as breakfast, lunch, and tea,  
For they are hungry men.  
But different folk have different views.  
I know a person small —  
She keeps ten million serving-men,  
Who get no rest at all!

She sends 'em abroad on her own affairs,  
From the second she opens her eyes —  
One million Hows, two million Wheres,  
And seven million Whys!

Слуг много более — одни вопросы. Как ни странно, все эти хлопцы, вроде Верилио, или там Карра, Флюссера и прочих Серто с десятками иных, в своём незнании не умнее этих привычных гениев, которых мы постигаем только в старости, когда достаем до абстрактной свободы, но они своей примитив-

ностью и шумом наглядно пророчат катастрофу. Они берут на себя труд червей, сжирающих гнилые ткани. Все обвинения современности можно им отдать. Они выполняют работу уборщиков, гнилостных бактерий. Клининг-операторы.

А вот там, за всем этим, в этом ужасе и недоумении, проглядывает то, что не могут удержать никакие замыслы, слежки, всеобщее доносительство в атмосфере контроля — не в фантастике «бунта машин», а в реальном созидании.

Да, чувства ампутируют и уничтожают. Но эти бессильные тупые действия не могут обуздать живое мышление (мышление не может обуздать действие и действие не может остановить мышление. Хотя чего проще — пулю в голову. Действие не может обуздать себя, иначе какое же это действие. Тут сразу возникают вопросы, что такое «себя», и возвратные формы, обращённые к себе), которое всё равно проговаривается, даже если прикидываться, что уже всё.

Я вижу своеобразный стихийный диалектизм. Ракообразно, но прёт, как ни странно, стихийный, опять-таки, вульгарный материализм, а кое-где и настоящая диалектика, не намеренная, стихийная, вторично, когда вопреки, сам способ производства прёт, и ничего с этим поделаться нельзя. Более того, всё искусство становится натуралистичным, даже самое абстрактное. И ему следует позволить ошалевать от этого. Искусству действительно наступил полный карачун, ну и шут с ним. Это не значит, что история справедлива. Просто искусство стало онтологией человеческих чувств, просто превратилось вдруг, вопреки, бессознательно. Оно не знает, что произошло и как. Ему тесно в себе. В искусстве.

А новое не пытается рядиться в оболочки и одежды, в «сброшенную кожу», притворяясь искусством. Сейчас — это процесс превращения. Может быть, превращение превращения будет всегда, но только может быть. Может, смысл его в отчуждении, и никогда не быть опосредствованием, сохраняя между опосредствованием и опосредованием принципиальную разницу. И угроза искусства покончить с собой содержит смысл в самой этой угрозе и шантаже: обещание оставить. А так называемая «пост-феноменология» и есть мелкая гибель искусства в корчах овеществления и собственности.

Даже если, может статься, этого пути не будет вовсе и ничего не произойдёт. Искусство уже не оно, но ещё и не непосред-

ственность чувств. Оно не знает, во что оно разрешится, и, почти уверен, не в искусстве будет искать выход. Да, собственно, в искусстве выхода нет. Оно безысходно. Отыграло свою шутовскую роль. Хотя это не так. Очевидно, что оно переросло вещь, и теперь тянется к процессам. Его серьёзность и священнодействие с благоговением никуда не деваются, но уже сковывают его. Служение искусству уже стало исчерпавшей себя религией. Культom. Служебным ритуалом.

Мы не обязаны это любить, а уж тем более умножать своей жизнью. Принуждению к вульгарному пришёл конец — это да. Меряй по тому, что любишь. Баха любишь? Ну вот, способность не потерял. Но не надо аналогии, каждый раз заново. Зато как открывается бессмертное искусство, где оно действительно искусство, какие просыпаются чувства, мы даже не знаем. Они (чувства) впервые. Во что это выльется и распустится, во что произойдёт, чем станет и не станет, и как сама чувственность будет произрастать? Те же сенсуалисты преобразуются и становятся интересно читаемыми. Мы не знаем, как это будет и что последует: можно и не узнать, потому что с нашей точки зрения — ничего не следует, а оно произошло, а может быть произойдёт нечто неожиданное.

Они уже не такие ползучие эмпирики, допускают, что нечто может грянуть и без причины, или тихо просочиться, не носясь с утверждениями, что «нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах», и с глубокомысленными заявлениями «из ничего ничто не происходит». (А сколько смелости, от которой замирает, как от боязни «высоты», мысль, чтобы отважиться это произвести с чувством восторга от гибели и ринуться в эту пустоту — бездна манит.)

Даже в текстах, казалось бы, безжизненных, присутствует совсем не то, что было написано. Как ранней весной ещё всё то же, но соки уже пошли ввысь, и потом — «нынче вырвалась, будто из плена, весна...» Извините за банальность. И это может быть ядовитой иронией. Но я задыхаюсь и от избытка бытия, и от нестачи — вот в чём подлость. «Мне не хватает меня самого...». Как сказали 2500 лет назад, так это и остаётся актуальным. Чувства всегда новые, юные и всегда те же и иные, так воспринимаются.

Мы думаем, что греки чувствовали не иначе, или точно так, а сами каждое мгновение не узнаём себя. Но дело не в узнавании.... А в том, что, я подозреваю, нам лень ворошить прошлое

и идти неузнаваемыми путями. (Как в примечательной книге Поля Лафарга, где панегирик лени и праздности в пику культу труда и работе. И всё же — действие.)

Да, всё очень медленно. Со скоростью света, со скоростью происхождения времени. Самое новое о свободном времени — это по-прежнему Маркс. Даже «о Другом» устарела на двадцать лет, но и то, что написано в «свободном времени как пространстве человеческого развития», и дальше, освоят в лучшем случае через сто лет, а может и никогда.

Никогда, потому что, схваченные, эти проблемы угасают. В сущности, если коротко, вся история человечества — это борьба за свободное время — всё остальное примеси и производные. Поэтому, пока оно бессознательное, в связанном состоянии — это как естественная радиоактивность, — не опасно. Как естественная необходимость: что есть, что нет — фон с мелкими вкраплениями.

Но вот когда оно становится осознанным и управляемым, когда превращается в общественное богатство не в форме стоимости (это ещё пустяк, потому как оно опосредованно и управляемо), а непосредственно в форме свободного времени, вот тут проблемы.

А уже когда теряет временность, вот тогда неуправляемая хана, иная природа, мы к ней не готовы, это выпущенный свет огненной природы, его свобода — выражаю в мифической форме светоносной эстетики. Но там вообще и природа чувств, и природа красоты, да нашим кондовым языком и унылым мышлением этого не выразить — язык немотствует.

Там даже чувственность поднята до уровня чувств. Там нет иерархии, и все явления буквальны, а не метафоричны. Нет доминанты, и чувства не выше ощущения или аффекта во всей полноте. Всё едино, а не всё равно. Равенство ведь — от неравенства. Вспомним Бердяева, «Философию неравенства». Зачем — это вообще, даже сейчас, — не вопрос. Зачем жизнь? А ни зачем. Всё это вопросы: зачем, почём, сколько, почему — логика торгашеского мира. Едва-едва мы видим отблеск красоты. Красота для нас всё ещё проблема, а должна быть основанием, началом, нежностью, и вдруг, самое странное, что она есть везде и вся, но именно нами замутнена и остановлена, затемнена, помрачена. Хотя ты помнишь, что божий свет и адский пламень одной природы.

Это тоже не о боге и аде, как понимаешь, и всё это абсолютно в развитии материи есть, даже то, что мы не знаем, но оно просто ещё не видно, пока мы не станем той же природы, и оно, как видишь из истории, светится, но не всем. И дело не в про-изнесении или вознесении (несушки), хотя и в том, чтобы возвысить голос — дело тоже.

Природа действия и две тысячи лет назад была точно такой же, но действие разное. Вот в чём досада. Если бы ребёнка античности перенести в нынешнее время, он прекрасно справился с компьютером и прочими причиндалами. Так и с теорией. И мы точно так же вполне бы могли прижиться в будущем, лет через сто тысяч (если бы будущее было,) ребёнок бы мог спокойно включиться в будущность, как в свою современность и своевременность. А вот мы бы не прижились в прошлом. Движение прошлое переосуществляет не только в теории, но и воспроизведением и превращением.

А теперь представь, что мы можем спокойно переместиться через сто тысяч лет и поняли бы то, что там будет происходить (или погибли бы). А мы сидим в этом нужнике, — вот в чём досада! — хотя давно уже могли бы быть в будущем, не ожидаемом и желаемом, а хотя бы соответствующем уровню развития уже достигнутого. Но мы в самом низменном, незаконном его варианте. Это как рассказ Вересаева о том, как убили земских врачей только за то, что они пробовали объяснить во время эпидемии холеры на Волге, что не нужно есть арбузы с корками и немывыми, не пить сырой воды из реки. Ну, так вот, много не прошу — хотя бы гигиены мышления. Какое там.

Но уже сейчас кое-что можно сказать о свободном времени, если уже во времена Маркса можно было.

Конечно, страшно облажаться перед собой и проблемой. Страшно не знакомое, страшно, что там может скрываться. Как супруги Кюри перед радиоактивностью. Мария Кюри дважды получила нобелевскую, — до сих пор их дневники, бумаги и письма хранятся в свинцовом специальном сейфе. Что бы они чувствовали, если бы увидели Хиросиму? Они не знали. Уже я успел ужаснуться, и не могу спать, прекрасно зная побочный эффект свободного времени, если оно не вовремя и не соответствует своему понятию. Что такое свободное время в стадии загнивания, я знаю, но не я открыл — это эффект сознательного, свободного зла.

Пастер не несёт ответственность и вину за вирус бешенства, бактериолог не отвечает за холеру или чуму. Я знаю, что атомное оружие — детский лепет по сравнению с использованием свободного времени против его природы. Его вообще использовать опасно. А если учесть, что это ключ, код к созданию чувств, которые аналога не имеют, а потому можно продуцировать не только «добрые», но и «злые» чувства, и что эти искусственные «мутанты» могут вырваться из-под контроля, то страшно подумать, что может случиться даже из добрых намерений.

Это очень страшно, поскольку нет противоядия — я не властен над этим эффектом творения и не знаю, что может случиться. Нет, мне не всё равно, как оно может быть применено. А я знаю, что пока точно во зло, хотя законы физики абсолютно равнодушны, как и законы развития чувств — бесчувственны. И потом, я не знаю, как и что они сделают с чувствами и с собой.

## **СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ**

(на чём «мы» остановились?)  
в его историческом развитии



Когда книга начинает своевольничать, с ней происходят «чудеса», вроде «забывшихся» (забившиеся в какие-то ниши, засорившиеся, страдающие от непроходимости/необходимости, бьющихся в падучей, загородившихся ложными границами, внешними формами, закамуфлировавшиеся, замусорившиеся) в самозабвении кусков текста, которые, дымясь, выпадают.

Провалы в памяти: книга забывает тебя, обретает свою волю — это значит, что она поспела. Этот кусок — как привой, побег из предыдущей книги, в которой очень не хватало раздела о свободном времени, отчасти потому, что задолго до... свободное время разделили...

В книге «О другом» была глава, которую не хочется переписывать, или, наоборот, хочется переписывать до бесконечности, но и подняться выше невозможно, отчасти потому, что ещё не пора. Вообще, риск заниматься проблемой свободного времени сейчас — бесконечен. Это, своего рода, ритуальное самоубийство. С одной стороны — риск преждевременен, но временён. С третьей — поздно.

Конечно, в традиции унылого академизма — удариться в долгие преамбулы, рассказывая историю вопроса или гадая: «Что есть, что было, что будет, чем сердце успокоится». Но этот путь гнилой и вообще не путь.

Мелькает смутное сознание, что надо бы разбить текст на темочки, на параграфы, рубрикации: то ли в духе Гегеля, то ли незавершённого Адорно периода «Эстетической теории» — сплошность утомляет? Или, «слизав» импонирующую манеру Кузанского, а то и Чорана, вообще ограничившись отдельными фразами, получить искомую читабельную динамику. Тихо и незаметно изменилось всё: скорость восприятия, монтаж и неодно-

значность представления, способ постижения. И изменяется *всё время*. Говоря уголовным языком: «Время — на измене...»

Есть чутьё, что, если будут читать книги, то только непоследовательные, малого, «карманного» формата (интернет и современные технологии уже решили эту проблему за меня, создав электронные книги).

Все стали вдруг «карманниками», «щипачами», не только умыкая чужие идеи и фразы, а большей частью просто пользуясь поставленными на поток эрзацами, которые заменяют искомое суррогатом. Это одноразовые заменители общего пользования. Явление истончилось до радужной плёнки. В глубину никто не идёт, и сущность никому не нужна — достаточно внешности, данности.

Книги очень лаконичны и «по делу». Всё должно быть кратким, афористичным и легкоусвояемым — это работа на потребителя. И даже без смысла. Чистая функциональность. Толстые книги никто читать не будет. Некогда. Да и не пресловутая «истина» интересует — чистый результат. Думать о том, что кто-то будет разбираться в тонкостях и хитросплетениях текстов, было бы самонадеянно. Никто не будет стирать глаза, спотыкаясь, и искать смысл. Проще самому написать. Эти требования «структурализации» текста так же смешны, как если бы скульптуру украсили указателями: «Глаз», «Ухо», «Рука», «Нога»... Поясняющие таблички здесь излишни.

Претензии искусства, гордо называющего себя концептуальным — результат разложения видения и прогрессирующего паралича апперцепции. Глаз и так воспринимает и картину, и текст дискретно, перескакивая с одного на другое и, тем не менее, получает цельное представление о предмете, а если он достаточно окультурен, то и в единстве многообразного, в развитии, как пресловутое «единство трансцендентальной апперцепции», как если бы он сам был источником этого движения и самим этим изменением...

Поэтому нет никакой необходимости считать фрагменты, разбивая по секторам или расписывая копии по клеточкам. То же и с текстом — это своего рода произведение искусства, которое уже не обязательно должно следовать принципу удовольствия, ублажая зрящего зряшно, пришедшего удовлетворять своё любопытство или нечто испытывать, рыдать от счастья. Примите к сведению. Изделия в готовом виде и их можно комбинировать. Образ — в философии, эмансипированный, как зритель у Ж. Рансьера.

Можно сетовать, что философия умерла от старости, но тогда вообще не о чем говорить. Поэтому логичнее исходить из браво́й мысли дилетанта Бадью в «Манифесте философии», что философия ещё не начиналась и находится в зачаточном состоянии, что очень даже может быть, хотя и так ясно, что философия только и «может быть», и в сущности представляет возможность, и, естественно, отдаёт потенциальной, а значит «дурной бесконечностью».

И не только потому, что она об одно и том же, то есть о себе, но и потому, что особой потребности объяснять происходящее нет. Сетования на то, что она ищет и находит обходные пути, вторгаясь куда попало, в область музыки, поэзии, литературы, архитектуры — не основательны, поскольку те, в свою очередь, претендуют на решение философских проблем и, можно сказать, тоже ищут обходных путей, иносказаний в философии и даже новых средств выражений. Вот только пытаюсь избежать универсальности в унификации.

Так всё это диффундирует и стирает демаркационные линии, сообщаясь во всеобщем, где становится всё меньше запретов, границ дозволенного, но зато предел, как живой процесс, самоутверждает себя, самоутверждается собой, самым совершенным образом в себетождественности противоречия, которое разрешается *всё время*, постоянно воспроизводя отрицание отрицания, хотя, по справедливому замечанию Гегеля, себетождественность не есть *жизненность*.

Есть, конечно, соблазн выписать таблички: «Основания свободного времени», «Отношение свободного времени к становлению», «Странности свободного времени», «Энергия свободного времени» (по аналогии с «энергией заблуждения»), но с трудом пресекаешь в себе желание всё расписать, объяснить и разжевать. Была давно лелеемая мысль написать книгу из одних названий. Но потом подумалось, что и так это делается всякий раз. И каждая книга по-своему бесконечна. Она растёт исподволь и безучастно. Между двумя словами можно вместить бесконечное количество опосредствований.

Кроме того, исходя из непреложного факта, что в обществе товарно-денежных отношений свободное время представляет собой издержки производства — наука, культура, образование, искусство существуют по необходимости, вынужденно, и им позволяют быть только в рамках необходимого и достаточного,

в рамках нужды, по остаточному принципу, и даже это чахлае принудительное существование нещадно эксплуатируется, используется для получения прибыли. Все эти превращённые формы общественного сознания, как способы опредмечивания свободного времени, с которым у них симбиоз, требуют, чтобы эти отношения «узаконили», регламентировали, что порочно в самом основании.

Можно не одну книгу написать: «Свободное время и образование», «Свободное время как способ существования науки», «Искусство и свободное время», «Право на свободное время и вопросы собственности», «Превращённые и возвращённые формы свободного времени», «Юридические вопросы и кодекс свободного времени» и так далее.

Было бы небезынтересным рассмотреть и то, каким образом наука, культура, искусство, образование превращаются в единое развитие, где все они — лишь различные формы одного и того же.

Деление по предмету — это школярские представления, которые очень живучи, но хуже — давно мертвы. Хотя расписывать, как это происходит, и какие химеры могут образовываться в современной агрессивной среде, изобразить весь этот бестиарий, может быть, было бы и заманчиво. Извращений и в науке, особенно в образовании и искусстве, предостаточно, чтобы посвятить жизнь описанию и классификации уродства. Если бы это имело смысл. Прозрели бы, вздрогнули, возмутились бы и отказались от мертвечины и извращений? Но нет. Будут наслаждаться и культивировать экзотику. Поэтому всевозможные натюрморты, дробления, пережёвывание текста в удобоваримой форме, коллажи из организованного мусора считаю излишним.

Понимаешь, что всё это иллюзия. Здесь не фуршет или шведский стол высокой философской кухни, дескать, всё включено, и прихотливость текста предполагает сплошность, — а всегда найдутся жуткие промежутки, провалы, разрывы, и будут грозить своим великолепным зиянием. И называй ты это «О единой причине всеобщей возможности стать», в данном случае о всеобщей теории свободного времени безотносительно к вневременности становления, или, кокетливо, «Феноменология свободного времени», всё это далеко от проблемы. Читать вряд ли будут. Тут хоть бы уяснили (никого не хочу обидеть), что свободное время — не время выходного дня, что человек не биосоци-

альное существо, и дело не в генах, и то, что давно известно — материя не вещество, а... впрочем, и этого, в самодовольном раже, не понимают. Да и к философии отношение по-прежнему обывательское, в духе смешной работы Рихарда Гербеца «Употребление философии как системы ценностей». Поэтому я позволю себе писать, не обращая внимание на современное состояние философской мысли (хотя это мыслью не назовёшь, скорее почёсыванием философских ощущений — золотухой рефлексии), не считаясь с возможностями современного читателя, которые, быть может (хорошо бы), превосходят скромные мои.

В чём проблема? Свободное время — не проблема. Тогда в чём вопрос? Да никаких вопросов. Будем решать по мере поступления, по мелочам, например: чем отличается объект от предмета; самосознание свободного времени и его представление; свободное время «как»... в то время, как..., и прочие радости — им несть числа. Тут ведь дело в том, что даже если мы создадим проблему там, где её нет, а значит, нет потребности в её решении, и даже решим её, то это никак не то, «что нужно человеку».

История по-прежнему развивается по нужде, создавая новые потребности, превращая все формы движения друг в друга, а как они превращаются и почему — это совершенно безразлично. Чистые «астрофизика» и «алхимия» бесконечного любопытства, очень опасного, кстати. «Любопытство кошку сгубило». То есть — область неприменимого знания. Что с того, что мы будем знать, какие процессы происходят в «чёрной дыре», что с того, что знаем, что свободное время — пространство человеческого развития? Что наука должна превратиться в производительную силу *непосредственно*? История зациклилась на прибавочной стоимости и культивирует свою нищету, с этой точки зрения полагая, что сознание и мышление — непозволительная роскошь, чувства излишни, — достаточно одного обладания, — а безмозглость возведена в идеологию.

Поэтому сама попытка мыслить — это эстетический жест, прихоть, блажь. И все проблемы, претендующие на научные — заведомо не актуальны, да и не потенциальны. Наука раздавлена принципом полезности и непосредственного практического применения, которое передовые расчёты квантовой физики, изложенные в монографии, обосновывают тем, что этот опус годится для того, чтобы подложить под ножку стола, чтобы не качался. Я уже писал, что книги лучше сразу выпускать в виде

рулонов туалетной бумаги с хорошей труппей поверхностью, и текст вообще не печатать, чтобы не мазался.

Дело не в том, что мир захватили жлобы, — я не настолько наивен, чтобы исповедовать теорию заговора, — так было всегда, а в том, что история живёт своими отбросами, отбросив, и совершенно справедливо, ханжескую теорию о героях и еретиках. Вопрос о роли личности в истории даже не ставится. И не в идеях дело. Поэтому само мышление сверхбытийственно, оно не востребовано, и все попытки «думать, мыслить» напоминают чтение лекций холерному вибриону, не случайному, а культивированному в чистом виде, с призывом развиваться в универсального человека. Он этого, даже если бы хотел, сделать не может.

Современные изменения пространства позволяют *изменить* (правда, при известной потере воображения) само представление о книге, и саму книгу. Можно писать бесконечную книгу, вывешенную в интернете, варьировать, дописывать, переписывать, держать её в постоянном движении, позволять другим вторгаться в неё (тут придётся отказаться от чувства собственности), вопрос в том, кто это всё будет читать?

И всё это симптомы свободного времени, его следствия. Потому что только свободное время — вполне время — оно *всё время* и имеет тенденцию к уплотнению, то есть по плотности, по фактуре оно — вечность, а только по форме — относительно.

Свободное время носит черты абсолютного, которое не только абсолютное в бесконечности, но и бесконечно, и вечно в границах — точнее не бывает. Исчерпывающая, но неисчерпаемая бесконечность. И изменчивость тому свидетельство.

Из свободного времени можно вывести всё — даже несвободу (так же, как из становления, развития, формы, из красоты — всё представив лишь как подобия, исходя из того, что всё становится само по себе и всё — изначально).

Отблески падают на всё, приметы свободного времени узнаваемы в истории как «неуменьшаемое и неувеличиваемое» (Кузанский). Время воспринимается «как...», как возможность стать собой, действующая и действительная, «целевая» причина.

Кузанский беззастенчиво излагает Дионисия, его сентенцию о прекрасном («О Божественных именах»), переиначивая: «Красота, которая уже есть всё то, что может быть, неувеличиваемая и неуменьшаемая, будучи максимальной и вместе минимальной, есть действительность возможности стать всего прекрасного, про-

изводит всё прекрасное, сообразует всё — в меру его способности вместить — с собой и обращает к себе» (Кузанский Н. Охота за мудростью. Соч. в 2-х т. М., 1980. Т. 2. С. 355). Очень хочется по аналогии сказать: «так и свободное время», которое будет видеться во всем, как «возможность-бытие» Кузанского, — оно полагается причиной всего, его пределом, и всё «неименуемое» одновременно является причиной бытия-возможности, как неминуемое.

Пока оно начнёт видеться во всём и проявляться как действительное и действенное явление, оно может перестать быть свободным, овеществившись, то есть подчиняясь диктату субъектно-объектных, превращённых форм стоимости, товарно-денежных, причинно-следственных отношений, то есть выполняя несвойственные ему функции.

Собственно, разница между овеществлением и опредмечиванием коренится именно в эклектичных моментах отношения рабочего времени и свободного, в том, как прибавочное время в своём возрастании претерпевает метаморфоз, когда наступает антагонизм свободного и времени — превращённых форм стоимости. С этим блестяще разобрался Маркс, но, к сожалению, суть процесса предпочитают не видеть.

Ещё надо разобраться, почему не видят, сознательная ли эта слепота, или это качество видимости, «как собственного полагания сущности, её в-себе-и-для-себя снятого бытия и этому снятому бытию противостоящее по всей видимости, как рефлексия, то есть в процессе отрицания». Существование и явление, которое может быть по-гегелевски рефлексией процесса, но уж никак не сущность. Бытие, лишённое сущности. «Собственная видимость», а не внешняя, и принудительная в качестве внешней необходимости.

Действительно, свободное время в каждый момент дано всё и сразу, и, казалось бы, его не бывает больше того, что оно есть. И действует оно как первопричина, правда, и не действует тоже (бездеяние, как та же первопричина), оставаясь вне, как фон и ничегонеделание, как данность. Но смысл его в «как, каким образом» и в подобии всякого времени — в возникновении и исчезновении.

И потому в нём можно углядеть развитие, а можно — становление. Свободное время видится «формой форм» — свободное время присуще возможности красоты, но может быть и безобразно. «Каким образом может быть безобразное?» Красота не

в образе — она никакая. Бескачественная и не количественная. Соразмерно — прекрасное. Оно не является эманацией красоты, а, создавая иллюзию отпадения красоты от красоты, снимается в ней, ею, ниспадением, создавая плерому и теофанию красоты, которая расстаётся, покидает самое себя, лучась, избегая как свет, покидающий и оставляющий тьму, как отсутствие света, и в этой лишённости рождая возможность и рефлексию, видимость «тёмных времён».

Это свойственно любому мгновению, которое присваивает «до» и «после», пределы возможностей и сбывание, является разделительным принципом и всеобщей связью, перерывом постепенности и единством. Так что, как гениально замечает Кузанский: «сама возможность стать не находит предела ни в чем следующем за ней, то есть могущим стать: её начало и предел одно и то же» (там же).

То есть свободное время не может рассматриваться, как «что», хотя рассматривается. Свободное время — предел самого себя, и эти исторические границы всё время меняются. Предел — бесконечное отрицание отрицания, и поэтому во всех превращениях сохраняет свою определённую в качестве узнаваемой деятельности свободного времени.

Если бы я сослался на Шеллинга или, скажем, моё внимание привлёк бы нелюбимый Гуссерль, да любой случайный философ, ничего бы не изменилось. Да, это субъективность и произвол — что неизбежно сопровождает переход от логики причинно-следственных связей к логике свободы, которая с точки зрения рассудка алогична. Алогичность, как момент, присутствует и возрастает от грандиозности мифологического «присутствия», события, мгновности, и «поставы» бытия — хотя заведомо все эти обломки метафизики годятся не в качестве бута в основание новых возводимых конструкций, а растворяются в превращении и в сотворение самого сотворения, когда неизбежно свободное время (в нашем случае свободное время, но это справедливо и к любому другому фрагменту, попавшему в поле зрения, в поле деятельности, которое только сформирует это зрение, создав глаз и само видение) восходит само собой, и не для какой-то цели, а в непосредственном становлении, которое не знает, во что разрешится. Оно — вершение простора, исчезновение в нем, сотворение простора из пространства.

Свободное время, как свет, как вода, как электричество — бес-

конечное превращение — оно универсально, и в этом, по-своему, безразлично. И в себе, и в воплощении, в свершении и воздвижении. Оно не имеет направления, а может быть целенаправленно. Оно — действительность возможного, хотя и теряет время. Возможность невозможного — чистая сущность, которая в опредмечивании оседает «на» движение его формой, не «опалубка» цельнобетона, как его действительность — не вектор, не «стрела», не застывшая «музыка», а живая музыка бытия и ничто. Нужно ли это знать? Или достаточно чувствовать? Или даже ощущать?

Глава «Свободное время как пространство человеческого развития» (которую, может быть, я дам в приложении, хотя надо бы переиздать всю книгу), — является чем-то вроде открытия электричества, а эта книга, скорее — просто проектная документация по строительству малых электростанций и мобильных генераторов. Там — восхищение лейденской банкой, здесь — инструкция по применению. Когда-нибудь всё это будет наивным, как восхищение опытами с расчёской и эбонитовой палочкой, отклоняющей струйку воды из Гераклитова потока, загнанного в водопровод, пусть даже римский. Но потом воду спустят в канализацию. Поток шумно смывает сущность проблемы. Рассказы о магнитном поле и индуктивном электричестве бегущей воды. Такова нынче осведомлённость о свободном времени. При этом испытывают то же, что в ранних опытах, подобных этим, и об использовании свободного времени в промышленных масштабах по-прежнему ничего не известно, как и о природе электричества.

Опасность совсем не там, где её представляют. Свободное время только кажется пространством творчества. Оно обладает и разрушительной силой, когда не вовремя. Когда оно есть — то перестаёт быть актуальным, желанным и свободным. И в нём открываются беспощадные так называемые внутренние противоречия.

Причём сразу банально обостряются не только противоречия формы и содержания, но и пространства и времени, времени и свободы, сущности и явления... Кроме того, время сохраняет «многоукладность», содержит все стадии своего развития не только в снятии, но и в одновременности, создавая причудливые эклектические сочетания от праздности до необходимости, а уж о свободном я не говорю. Это становится тоскли-

вым и невыносимым, оно-то в радости и печали стремится не к истине, а к экстазу.

Свободное время мгновенно, даже если длится века, но оно не длится. Оно не про-исходит, оно — pro и contra в себе самом. Стоит ли об этом писать, если всё безнадежно? Многие посвящены в эту проблему эмпирически. Например, Жижек, который проклял человечество, но играет по правилам — так сладостен бывает мучительный укус комара. (От этого наступает нравственная почесуха, оно бы и можно избавиться от микротеодицеи, как микроцефалии. Где каждый сам по себе в своём «богатом нравственном мире». Можно избавиться и от мук совести, запросто, но тогда мир обеднеет на целую совесть, цельное зло. (В принципе, и свободное время на время приобретает черты больной совести, как юношеские мучения «мне уже восемнадцать лет, а ничего не сделано!» Но это болезнь роста. Сердце не успевает за массой.) А можно и ампутировать, приобретая взамен «фантомные боли», что, несомненно, обогатит новыми ощущениями. Это по желанию. Тысячи поэтов, музыкантов, философов понимают только себя, и при этом полны самоуважения. Он (Жижек) знает, что всё безнадежно, но жить-то надо. Есть и другие, просматривающие, присматривающие «будущее» не потому, что провидцы, а потому, что так называемое, будущее — прошло, не наступив, это как отходы, «окаменевшее дерьмо», в котором мы, будто археологи, роемся. Так что не так уж сложно догадаться, чем всё закончится.

Вариации бесконечны — никому нет дела до твоих ошибок и открытий. Оглянись вокруг. Нигде никаких критериев, каждый бесится и неистовствует, как умеет, пытаясь забыться, и смысл только в том, что пожирает каждый: хорошо, если себя, если питается «богатым нутряным миром». Тут встаёт проблема «малой теодицеи» и всяких тому подобных этических проблем, которые мусолят, хотя заведомо знают, что этика уже с душком, на любителя.

Каждый, как «господь бог», несёт ответственность за всеобщее содеянное зло, от которого нельзя избавиться, поскольку «богатый внутренний мир» будет неполон, если эти злодеяния устранить. Но некоторые ампутируют, обогащаясь при этом фантомными болями, упиваясь страданиями. А на самом деле их вполне устраивают многофункциональные протезы. Жижек (дался этот Жижек, но он точно в сознании) — «посвящённый», он понимает, насколько это всё безнадежно, но он цинично проклял человечество (раз последнему это нравится — ах, какое я проклятое, ах, нравственные расчёсы, как расчёты — удовольствие! И раз я проклято, то — всё дозволено), он со злостью говорит: «Буду играть по вашим

правилам — буду торговать дерьмом», и, думаю, если не уверовал в собственную гениальность, смеётся, когда пишет.

Но, к слову сказать, первый успех к нему пришёл, когда он уже имел семнадцать книг (!) в одном известном английском издательстве. Я к тому, что дело, конечно, не в количестве, но в нынешнем мире надо писать (как пасть смертью храбрых) побольше, потому что тридцать лет писать «Капитал» — не получится. Ведь не читают. Он (замысел) устареет в замысле.

Предположим, можно расписать свободное время под хохлому и «петриковку», или под страшный суд, потолок, не Сикстинской капеллы, а вообще «потолок», и даже адекватно, проникнув в суть проблемы и решив её. И что? Все прозреют? «Ах, так вот оно в чём дело!» «Как же мы сами не догадались?!» И сознательно сделают усилие, нет, не по самоизменению, — на это точно никто не пойдёт, — а хотя бы потянутся к свободному времени, где надо действовать свободно? Свободное время не желанно и нежелательно. Свободное время тянут и убивают. (Или же, подхватив и развив мысль Бодрийера, конечно, об этом не зная, общество превращает свободное время в жертвоприношение — *прим. ред.*). Но и оно убийственно, поскольку изменяет напрочь твоё существо, комфортное и привычное, воспроизводимое существование. Это покуда время ожидания.

Оно сразу будет заражено, опосредовано и опосредствовано массой условностей, в том числе, и формой стоимости, и, в сущности, а не по форме, будет неестественным — даже враждебным. Особенно видно это в педагогике. Казалось бы, чего проще, возьмите и создайте условия для развития, но в лабораторных условиях плодятся только крысы с умными глазами. Нужна потребность в свободном человеке, желание что-то делать, заниматься наукой. В стерильных условиях можно вывести лабораторный штамм путём селекции, но живая жизнь, искусство, человек, наука в целом вянут, задыхаются, бредят от удушья и заживо гниют. Прорыва не происходит.

У меня другие мотивы. Их нет. Но при таком тотальном унылом повторении одного и того же не нужно обладать даром предвидения. Мантры ни к чему. Никакого дара — всё повторяется даже без вариаций, и я могу сложить прогноз на ближайшие сто лет с точностью до недели, когда и как всё будет происходить, поскольку ничего не происходит, но без скуки и зевоты, а содрогаясь, что ты ничего изменить не можешь, и не докричишься, а если и услышат, то тоже ничего не смогут изменить, да хотя бы пошевелиться.

И потому чужим (присвоенным) стихотворением Арсения

Тарковского выражаю эту безнадежность, которая заставляет публично сходить с ума, зная всё наперёд:

Суббота 21 июня

«Пусть роют щели хоть под воскресенье.  
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,  
предупредить, кого убить должны.

Мне вон тому сказать необходимо:  
«Иди сюда, и смерть промчится мимо»,

Я знаю час, когда начнут войну,  
Кто выживет, и кто умрёт в плену,

И кто из нас окажется героем,  
И кто расстрелян будет перед строем,

И сам я видел вражеских солдат,  
Уже заполонивших Сталинград,

И видел я, как русская пехота  
Штурмует Бранденбургские ворота.

Что до врага, то всё известно мне,  
Как ни одной разведке на войне.

Я говорю — не слушают, не слышат,  
Несут цветы, субботним ветром дышат,

Уходят, пропусков не выдают  
В домашний возвращаются уют.

И я уже не помню сам, откуда  
Пришёл сюда, и что случилось чудо.

Я всё забыл. В окне ещё светло.  
И накрест не заклеено стекло.

Чувствуете неловкость? Зачем? Ну, как же так? Да потому, что я об этом, — о чувствах, которые умирают, о ложной памяти, о массовом психозе, — стараюсь не говорить. Я знаю, что всё сказанное ни к чему. Но сказать надо, потому что логически — истина в свободном времени, а исторически всё поперло «не туда» — «В ту сторону» (Максим Кантор, но я не буду описывать процесс умирания). Вниз легче, чем вверх. Всё это никогда не произойдёт. Так и будет фонтанировать под давлением.

Свободное время, которое всё равно производится избыточно, рано или поздно задушит, потому что ничего страшнее гниющего времени нет. Если не сможет переосуществить так называемое человечество — оно обречено, и наслаждается этим. И не во времени дела сама суть дела: либо смена формы общественного богатства, либо гибель всерьёз, вместе с превращённой формой стоимости капитала. Тут действует формальная логика. «Либо-либо».

Проблема в том, как перейти от образа дела к способу дела? Или хотя бы как это объяснить. Никакой диалектики исторического и логического. Но — предупредить. Тут — не предвидение, просто мы имеем дело с прошлыми отработанными формами, которые пытаются реанимировать. И именно поэтому, в уже бывшем опыте, можно говорить об ублюдочности нынешних решений. (Хотя всегда ничего страшнее человеческой истории не бывает, трудно сочинить, придумать большее, она не поддаётся никакой самой изошрённой фантазии. И ведь это её стерильная, выхолощенная в текстах, отлакированная, видимая, сочинённая картина мира, во многом кажущаяся, и то, если понимаешь и видишь, настолько всё это обыденно и привычно. Не замечаешь, не реагируешь, не вздрагиваешь, не ужасаешься. А в сущности — это позор, от которого содрогаешься.) Они тупы и, главное, преступны. Я это знаю, знаю, чем кончится. Это всё было. Но не слышат. Так что писать о свободном времени — вполне безнадежное занятие.

Не для очистки совести. Не очередную утопию: это всё уже есть, как неуправляемая ядерная реакция. Свободное время — один из невероятных вопросов, которыми только и стоит заниматься, причём оно обойдётся и без твоей жалкой рефлексии, и в видимости оно не нуждается. Если и задаваться вопросом, то безумным, невероятным, вроде поисков философского камня, личного бессмертия, вечной жизни, как бы это глупо ни было. Сво-

бодное время и есть такая форма превращения, катализатор, ускоряющий и замедляющий процессы по своему усмотрению.

То есть можно описывать свободное время в современных условиях, и это процесс по-своему бесконечный. А можно говорить о сущности свободного времени — всё равно никто не увидит, а увидят — не прочтут, не услышат. Ведь не видят же и не слышат в большинстве случаев, гораздо более простых. Или наоборот: видят и слышат то, чего нет.

Жизнь — действительно произведение свободного времени. То есть жизнь создаёт свободу времени и свободное время создаёт жизнь — они из одного источника одним течением впадают друг в друга, и всё это не через запятую, а в том отрицательном единстве (не то!), которое единовременно, но вне времени и пространства. Тут вопрос о том, почему иногда «стороны» противоречия, находясь в напряжении, в равносопротивлении, «не равны», почему одна из сторон разрешающегося противоречия активна, имеет смысл, и никакой теоремой Гёделя о неполноте невозможно определить, что побуждает к развитию.

Поэтому в отличие от «внутреннего» разрешения противоречия, о котором уже писалось — «вдруг» пред началом, здесь свободное время «вдруг» застаёт начало врасплох, то есть настигает, как то же самое противоречие возвратных, возвращённых форм, из-вне, и это «вне» как простор, который ты сам же и создал.

Вообще Хайдеггер, конечно, неправ в «исток творения», но спорить не хочется. Он даже банален, но красиво фантастично. Его нужно читать, потому что он оттеняет, как зеркало (а зеркало разве может оттенять, зеркало вполонину притушивает отражение, как отражённый звук теряется в новом источнике), так вот, эта потеря освещённости и есть тёмная сторона искусства. Хайдеггер ни с кем не считается, даже с собой. Он ничего не доказывает и серьёзен до смешного. Он просто вещает, порой истерично, заходит в мелодекламации. Не случайно А. В. Михайлов сравнивает его с Тургеневым. Стихотворения в прозе. Но это подкупает.

Потому что вся философия, которая кичится своей критичностью, даже Маркса — догматична. Она — перекраивание и переосуществление бытия, покинутое гнездо, свитое из разных мёртвых направлений. Тут не символ веры, просто никому ничего доказать невозможно, да и не нужно ничего доказывать. Это как пение про себя. Главное — высказаться, а можно молчать. «Язык основывается внутри молчания» (Хайдеггер). Он всегда про себя, как и философия: хочешь — принимай, хочешь — нет.

И потому заговаривается умирание языка, который стремительно меняется в произношении, в неповторимости и невозможности вернуться к себе. Непреднамеренная замысловатость — вот философия, которая невзначай обронена в действительность.

И даже если это не так, то здесь предоставлена формальная свобода: хочешь верь, хочешь нет. Свобода произведения искусства. Философия справилась с ней, став жизнью. Искусство не справляется со своей свободой, зачем-то вырабатывая молчание, как чужой язык, хотя у него есть свой, и переводит всё на язык всеобщего эквивалента.

Я сторонник идеи смерти искусства, в его гегелевском понимании, дескать, ничто не вечно, и так или иначе стремится к своему концу, в т. ч. и философия с религией. Исполнив или не исполнив, исчерпав своё предназначение (которого нет), нечто обречено и превращается в иное, тем самым став памятником самому себе и оставаясь в мемориальной стадии. Но поскольку всё превращается в превращение, то оно избегает банальной смерти в формальном отрицании и снимается в дальнейшем, уходя в основание. Так что и философия, и искусство обретают бессмертие в действии, они теряют только имя и определённую форму. Говорить об искусстве не приходится, а как это называется, именуется — не суть важно. С философией проще — она превратилась в деятельное мышление, во всей непосредственности иногда сознательно употребляя недомыслие, искажённые формы общественного сознания, мифологию, идеологию, психологию, кажимость в качестве «приправ» или «наркотиков» для того, чтобы выйти из себя и почувствовать себя по-другому, примеряя на себя патологические состояния, играя роли и перевоплощаясь или остранённо (по-брехтовски) «представляя нечто не по своему образу и подобию». В любом случае, эталоном является опосредствованная «непосредственность» и желание «быть самим собой», в законченной тождественности, фиксированном противоречии, а это невозможно. Смысл как раз в становлении и экстатировании за пределы себя. «Себя» — это возвратная, присваиваемая форма рефлексии, как сущности по видимости (Гегель).

Искусство смирилось со своей продажностью, потому что так было всегда. Оно даже постоянно задаётся вопросом, что оно такое, заведомо зная о своей невыразимости, как «что». Стремясь к простоте (и это не Хайдеггеровская простота, не Пастернаковская, в которую впадают, как «в ересь») — приходит к элементарности. Свою исчерпанность подменяет многозначительностью, хотя в сущности — однозначно, и клеветает на собственную историю, пытаясь оболгать и себя, и человека в сущности. Искусство кривляется и корчится в этих искажениях.

Что делать? Розанов отвечал: «Да ходить по лесам, собирать бруснику, варить варенье, а потом пить с ним чай из самовара». Искусству совершенно не интересно, что делать и какое оно. Оно по привычке пытается приспособиться и, собственно, так было всегда, но это ему не удаётся. Искусство не может приспособиться.

Достаточно, смахнув пелену мифа о Возрождении, посмотреть на историю искусства — так моторошно станет. Не только свидетельства самих «возрож-

денцев», но и «научные исследования», вроде Буркхардта, могут довести до отчаяния.

А ведь всё было не так, всё ещё страшнее. Современное искусство, попав в вихрь свободного времени, понимает, что оно другое, и пытается укрыться в беспамятстве, но его явленность выдаёт его. Оно не может измениться. Именно в свободном времени искусство сталкивается с собственной неизбежностью, с невозможностью не только быть другим, но и с невозможностью быть. Произведение — как избегание, исчерпание времени жизни. Современное произведение может быть явленным только в исчезновении.

Но и произведения прошлого стремительно изменяются в настоящем, теряя однозначность, которой и не было. Домыслы обретают полное право на существование и голос. Когда учёные пытаются вывести миф о сотворении у Шумеров человека из глины на том основании, что глина играла исключительную роль между Тигром и Ефратом, и потом это унаследовано Христианством, то не важно, как было на самом деле, интересно, что такие «открытия» происходят сейчас, и это правдоподобие сугубо эстетично. Любой артефакт, любая идея в истории стремительно меняется, она превращаема, живёт движением и всегда современна, хотя в этой же современности и устаревает. Так и проблема свободного времени, превращения, становления — это на гребне, на пределе и всегда со-временно: с одной стороны, в превращении самого времени, с другой — вне времени.

Жизнь это и есть произведение свободного времени. Хотя звучит двусмысленно, как «сексуальная озабоченность». Шучу. Природа порождающая и природа порождённая. Самоотрицание свободного времени — да, третий берег, но ещё нехоженный. Не найденный, но уже найденный. Пока не знаю, как это высказать.

Кроме всего прочего, свободное время — не самодостаточное. Оно — лишь ближайшая свобода, как ближайшая причина. Его развитие в ином, но и абсолютность не имеет развития, имеет, в смысле, присваивает. Саморазвитие, даже последовательное, — не в себе, не в последовательности.

Как уже говорилось, и не однажды: вся история человечества является борьбой за свободное время, его экономию, производство и воспроизведение. Каждому времени соответствует свободное время. Оно относительно «рабочему и прибавочному», но и самому себе.

Условно говоря, принимая традиционную схему превращения истории в культуру путём превращения историчности в иное, лишения истории протяжённости в пространстве и во времени — теперь её длительность снята в основании. Каждой эпохе, формации, периоду, мгновению соответствует своё свободное время. Но свободное время не имеет истории, оно не бы-

вает прошлым, хотя, казалось бы, опредмечивает в сделанности.

При абсолютном доминировании необходимого рабочего времени в эпоху охоты и собирательства — свободного времени почти нет, а всё зависит от разделения труда, при переходе к эпохе господства и подчинения — свободное время становится делом избранных, и, по сути — оно праздное, однако перепадает и искусству, религии. Кстати, это стадия развития ощущений и превращения их в человеческие от реакции-раздражителя, потом эти ощущения перейдут к чувствам, которые ещё вернутся, уже свободными. Возвращённые чувства ещё представляют из себя возвратные формы, то есть, по сути, они другие, иные самим себе, но по форме ещё те же. Поэтому они «жмут», формы воспринимаются как внешние.

Следующим этапом станет развёртывание прибавочного рабочего времени, основанного на разделении труда. Мерой отношения будет развитие орудия, через систему машин, но не в аппараты, как полагал Флюссер — это побочная тема, и она будет соответствовать праздному состоянию свободного времени — будет работать вхолостую и являться потребительским пожиранием его избытка. Или дефицита, что одно и то же, как это ни парадоксально. Непроизводительное употребление гаджетов, машин и прочих причиндалов станет мерой порабощения и потребления. Приблизительно так, как когда-то употребление мыла определяло уровень цивилизации. Как форма общественного богатства свободное время — редкость. Оно, как металл, бесполезно — это теперь золото имеет потребительную стоимость, а изначально смысл его был в том, что оно особого смысла не имело, так как непрактично, — ну да, ковко, пластично, но не выразительно, годится на украшения, а оружие не сделаешь, орудие труда тоже. То же самое и с драгоценными камнями. Понятное дело, что стоимость не в материале и в его идеальности, а в том, что не пощупаешь и анализу не подвергнешь. Свободное время тоже первоначально выступает в роли роскоши. Именно им человек становится человеком соответственно понятию своего времени, тому, что в данное время соответствует понятию Человек. Поэтому свободного времени много не бывает. И в тот же момент его избыток. Если задаться безумной идеей черпать энергию из самого вечного движения, то вокруг нас плещется океан, бездна равнодушной вечности, которую можно превратить в свободное время и в бесконечность, и в вечность превра-

щённого свободного времени. Оно должно только перестать быть формой, вернее, форма возвращается в движение. Свободное время — не самоцель, оно уходит в основание, пока по видимости, как мера движения.

И, надеюсь, не наконец: развитие свободного времени, как пространства человеческого развития, когда оно уходит в основание. Здесь снимаются все привычные «вечные проблемы»: творчества и его мучительного происхождения самим собой; деления производства и воспроизводства; противоречия духа и материи; проблема свободы, которая смысла не имеет; проблема свободного времени, которое уже не время, не форма, не общественное богатство, а является тотальным.

Но я не об этом. А о том, что всё свободное время становится абсолютным. Всецело свободным. То есть, свободное время — всё время: и необходимое, и прибавочное, которое вытолкнуло человека из производства, — он перестал быть непосредственным агентом производства, — становится универсальным. Он уже не узкоспециализирован, унифицирован, а универсален, само время становится как отношение, сохраняя в основании «лишёность», как исток самого времени.

Иными словами говоря, важен не переход к «аппаратам», — это пустяки, — а то, что между собой и природой человек ставит сам процесс природы, и, в конце концов, непосредственно человеческие чувства, которые лишены сначала овеществления, потом опредмеченности, — непосредственно в своей практике становятся теоретиками. И, возвращаясь к тем же ощущениям (аффектам, страстям и прочему), делают их тотальными, на пределе всех физических и духовных сил.

Свободное время — время свободных чувств, которые превращают и ощущения. И беда в том, что будет противоречие свободного времени в чувствах, как противоречие красоты и прекрасного. Свободное время есть, а способа дела нет, как и чувств, которые не готовы это чувствовать и действуют по старинке. Все формы, а это внешние формы, все исторические формы, кроме того, что снимаются, отрицаются в развитии, ещё и сосуществуют в одновременности. Всё коварство — в добровольности действия в свободном времени: хочешь — принимай и действую, хочешь — ничего не делай, хочешь — живи архаическими формами. Это полностью изменяет характер человеческих отношений.

Не только чувства, но и времена «переопыляются», отражаются друг в друге, не узнают, питают иллюзии, отбрасывают рефлексы. Но критериев нет. Чувства становятся непоследовательными.

Более того, ощущения в своём проявлении ничуть не меньше, чем развитые чувства (можно сказать, что чувства не бывает без ощущений, а можно и подумать).

Это как в философии — далёкая ассоциация, оттого, что написаны многие тома, ровным счётом ничего не значит, и 127 фрагментов Гераклита — не меньше, чем вся история духа. Одна строчка — это вся философия, которая теряет свой смысл, как таковая, превращаясь в непосредственное мышление. Впрочем, так искусство перестаёт «заведовать» человеческими чувствами и выплёскивается в мир, откуда оно вышло.

Уже сейчас мучения или бравада и легкомысленное отношение философии к себе превратились в нечто мятущееся и распадающееся, но, перестав быть «идеологией в хорошем смысле», отойдя от доминирующей идеи, образа, эйдоса, философия растерянно мечется: куда приткнуться? Как и искусство, пытаюсь найти прибежище в ощущениях и бессознательном.

Тяга к беспредметному ни хороша, ни плоха — это отрицание без продолжения. Достаточно рефлексии, к тому же в форме иронии. Всё хочет стать случайным, как будто в этом независимость и свобода, но главное — что превратиться в случайное не может.

И жизнь является бесконечной абстракцией, голым отрицанием, результатом задохнувшегося, коллапсирующего бытия общества, основанного на разделении труда. Долго ли, коротко ли это будет, но производство расседается под собственной тяжестью и расползается от полной бессмысленности того, что происходит — до полной безмозглости разложения. Беспамятство и галлюцинация становятся почвой существования искусства.

Гениальная формула Маркса: «Всестороннее развитие каждого, как условие развития всех» исчерпывает проблему свободного времени, как формы общественного богатства. Но есть ещё продолжение, когда форма снимается, и вопрос о богатстве вообще не ставится.

Свободное время производится как общественно необходимое, но имеет статус случайности. Оно-то произведено как свободное время всех, но узурпируется

с одной стороны капиталом, с другой стороны переводится как праздное время, с третьей стороны(?). Да, есть ещё третья сторона: наука, искусство, философия, которая, как издержки производства, занимается, оккупируется индустрией развлечений, то есть используется не по назначению. (Хорошо, если занимается пожаром превращения.)

Эксплуатируется свободное время и различными СМИ, коммуникациями, которые подменяют общение, тем же интернетом, который при сознательном обращении с ним может развивать, а может и уничтожать, как наркотик.

Часть свободного времени потребляется для развития культуры, науки, образования, искусства, то есть пытается стать непосредственной производительной силой, где оно у себя, но не в себе, в убогой форме технологии.

А тут ещё оно присваивается-дарится мне, чтобы я думал и смотрел за всех, как у Шекспира: три ведьмы — одни глаза. То есть я «самотужки» пытаюсь репрезентировать свободное мышление в свободном времени, точно так же, как композитор представляет свободное слышание, отторгнутое от человека в специальную область слышимого. Или художник — в область видимого по-человечески.

Вот тут одно из страшных трагических противоречий: «Непомерная ответственность за несодеянное», за всех. Свобода сталкивается с самой собой, и ещё с профессиональным кретинизмом, который выражается в виде чувства долга, в форме своеобразной идеологии, служения идее и тому подобному. Надо ли это знать?

Профессиональная свобода ради свободы. Профессиональное потребление. Я понимаю, что свободным в одиночку быть нельзя, но упрямо делаю невозможное. Кто-то тратит жизнь на то, чтобы произвести независимое свободное время, как условие развитие всех, а приходит назначенный на должность «творца», в общем-то, самозванец, и мало того, что ему это время перепадает случайно, так он ещё и распоряжается им по своему усмотрению, тратя в никуда. А он не может не тратить в никуда, иначе это будет не свободное время. Хорошо, если довлеет идея, а если что-то другое? Вот где невыносимость! Тут и внутренняя цензура, и принудительная распушенность, произвол и разврат форм, потому что у индивидуальной свободы нет критериев, да индивидуальной она и не может быть. Свобода не может быть насильно присвоена. Она не может быть. И дана.

В свободном времени человек предоставлен самому себе, — пред... и оставлен. В преддверии. То есть, я знаю внешние пределы свободы, когда она пред стоит, вернее, я ей предстою в ожидании. И когда я ею покинут, самой свободы я не знаю, нет ни критериев — они внешни и мифологичны (охотнее примут за свободу то, что представляется таковой, чем узнают саму свободу, которая невыносима, мучительна и страдательна — это баховские страсти), соответствуют или нет моим представлениям, ни чувств, которые — только воспоминания о свободе,

они бесчувственны. Свобода же не может быть объектом и предметом. Она возможна, желанна, но не действительна. Когда она действительна, то она не свобода, а способ действия.

Некогда я думал, что искусство (питающееся как раз благодаря свободному времени, которое узурпировало, приблизительно, как зверушка, натянутая на руку кукловода, оно реперзентирует, представляет свободное время), создаёт и культивирует иллюзию, что оно имеет саморазвитие или хотя бы саморазвитие искусства, как раз основания своего развития питает в другом, не важно в чём, в развитии движения материи. Ни дух, ни искусство не развиваются, и диалектика — отражение иной борьбы. Искусство — инобытие, представляющее иную жизнь.

Потому, поколебавшись, я склонен был считать, что, когда свободное время уходит в основание, искусство выходит из берегов и врывается в мир, как возвращение человеческих чувств, отчуждённых в искусстве, но мужественно взращённых в этом инкубаторе.

Я ошибался. Искусство действительно ворвалось мир, но осуществилось, как прорыв канализации, коммуникации, окрасив всё собой, впёршись всей своей низостью в и без того не очень возвышенный мир, приспособившись, пресмыкаясь.

Но иллюзия свободы и развития на собственных основаниях превратилась в убеждение, что такое саморазвитие есть. При том, что не только искусство — все проявления духа утратили преимственность и отказываются от традиции (что неплохо).

Более того, старость, в том числе и мира, перестала быть синонимом мудрости. Не только потому, что история ничему не учит, но и банально, житейски: так называемую молодёжь нечему учить. Образовался паритет на добровольных началах — можно только научиться, при желании.

В принципе что мне может сказать Кант? Или Кузанский? Или любой другой персонаж? Он может только предоставить, уступить мне простор. Точно так же и я. Чему могу научить? Ничему, кроме как оставить пространство, избавив от времени, от себя.

В этом отношении любопытен фильм «Последние дни Иммануила Канта» (1994). И он был бы банальной иллюстрацией к анекдотам, которые рассказывали о философе ещё при его жизни, если бы банальность не предполагалась изначально,

и «педантизм» рассказней о Канте, слухов, легенд не были заложены в конструкцию повествования, когда всё не случайно: и музыка, написанная много позже, и сами «поздние воспоминания» «современников», и, собственно, сама возможность фильма о Канте, когда кинематографа ещё нет, и всё происходит накануне дагерротипа.

Я не знаю, случайно ли фильм «произошёл», или это всегдашняя зависть французов к немецкой философии и попытка «уязвить», посмеяться, но фильм во всеобщем безликом мейнстриме выделяется как метафизическая заноза, а не соринка в глазу. О нём достаточно много написано, например, С. Н. Никонова (кстати, очень восторженно, с ярко выраженной точкой зрения обожания, с уверенностью, что всё не случайно и не напрасно) «Становление и развитие Homo Aestheticus. О фильме Ф. Коллина «Последние дни Иммануила Канта». Этому вопросу посвящена и пьеса Альфонсо Састре «Последние дни Иммануила Канта, рассказанные Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом», и Томасу Квинси приписывают «Последние дни Иммануила Канта». Но всегда есть опасность сведения счетов именно с Кантом. Не любят его многие. Задевает. Даже у Блока есть ядовитое стихотворение «Иммануил Кант»: «Сижу за ширмой. У меня такие крохотные ножки... Такие ручки у меня, такое тесное окошко...»

Что и говорить, событие смерти Канта фантазмогорично и противоречит его системе, особенно в «Критике способности суждения». Это, по сути, превращение готики, схоластики, сразу сквозь романтизм, дальше и навсегда. Конечно, деление философии на до Канта и после Канта — школярское — до и после относится к каждому и делается каждым. По сути, Кант достаточно банален и прилежен, чтобы не мечтать ни о каком коперниканском перевороте. Он изумляет только тех, кто хочет изумляться. И в его работах много невероятного, поскольку в первую очередь мы, даже если специалисты, мало знаем, чем дышала схоластика — мы думаем, что знаем.

Поэтому Кант неопределён и невесом. Быть может, знаменитые антиномии написаны из трусости и в попытке остаться в равновесии. Телеология вообще ускользает, а «Критики» уязвимы, но уязвлять не хочется. Возврат к Канту и вообще немецкой классике — это своего рода надёжность и возможность апологии, почему ты вообще этим занимаешься. Пе-

редышка. Не может быть, чтобы такая мощь — впустую, плюс звёздное небо над головой (Кант) и «внутри нас» (Парацельс), и контрабандный нравственный императив, минус — моральный закон, как имплантированная совесть, которой мы «подшиты», словно алкоголики: стоит его нарушить — смерть в страшных судорогах.

То, что в разговоре о свободном времени опять грозно и молчаливо маячат вопросы этики, почившей в бозе, совпадения истины, добра и красоты — точно не к добру. Императив свободного времени, его напрасности, и свободное время как чувство долга долго будет отравлять простое существование, пребывание в преддверии свободного времени, даже отказом от деятельности, от поступка устранившись принуждения и убоившись что-то хотеть, желать и испытывать чувства во всей полноте.

Опять кантовская антиномичность, новые апории, противоречивость. Это расколота могильная плита философии, окончательная и бесповоротная трещина, в зиянии которой не растут незабудки, а сквозь просвет прорывается свет.

Казалось бы, всепобеждающая старость — величайшая ирония (это не трагедия, а «свободно как природа», значит, старость в своём закисании гениальна, потому что естественна?), когда слабеющее грандиозное сознание впадает в маразм. (Я уже где-то писал о том, как Свасьян позорно писал, переиначивая Катаева, но как очевидец, что в поверженном Кёнигсберге советский солдат (это ж какое должно было быть образование!), на расколота плите, «кровавым штыком» (!) написал: «Теперь ты понял, что мир материален?» По Катаеву, написал с горечью, обломком кирпича. А Кант давно это понял, столкнувшись с неизбежностью угасания разума и убедившись в тщете человеческой жизни. Бунтуй, не бунтуй, капризничай или смирайся, а уходить в забвение придётся при полной ясности ума, хотя память и ослабела...

Тут поражение Разума. И Кант, при всём своём остроумии и даже юморе, наталкивается на иррациональность собственной системы, иррационализм философии вообще, любой, но её смысл как раз в том, что оснований становление не имеет, и любое действие не оправдано — всё равно умирать, а ты живёшь. Здесь упраздняются любые причины быть, но ты не цепляешься за жизнь, оправдывая её при помощи философии, ты

просто живёшь, в том числе и философией, во всей противоречивости. Старость не знает априоризма. Она решает, стирает все антиномии. Это всецело личный опыт, «личнее», наличнее (интересно, что компьютер предлагает синонимом наличного — отсутствующее) не бывает. Она отымает весь возможный опыт, одаривая чистой эмпирией немощи, будто издеваясь, ввергая в беспомощное созерцание собственного бессилия — пародия на жизнь, эмпирия смерти — не «восхождение в эмпирей».

Поэтому философия — для молодых, полных сил. Надо быть (стало быть) самоуверенным, полным идиотом, чтобы ею жить, безрассудным, лишённым осторожности, заносчивым недоумком, упивающимся собственной иллюзией свободы, сочиняемой на ходу, по ходу дела. В философии нужды нет. И тратить в никуда свободное время — время жизни — нужна смелость и бесшабашность сбегать в смерть (словно в философию), «как в погребок за кружкой мозельвейна» (О. Мандельштам). Никакая гордость не поможет.

Эпизод фильма, когда дряхлый, полуслепой, почти глухой Кант на дрожащих ногах пытается дотянуться сквозь замызанное слуховое окошко до опустевшего ласточкиного гнезда и находит там лишь пёрышко, пушинку — гнездо пустое, жизнь улетела, и это перо тоже летит по ветру, беспорядочно вращаясь. И Кант улыбается, почему-то, как Вольтер, мудрой улыбкой чудака. Хотя от страха кантовский текст содрогается и заискивающе пресмыкается, дескать, я ничего такого не хотел сказать.

Казалось бы, к чему жизнь, проведённая в трудах — всё напрасно, все эти колоссальные усилия, всё это издевательство жизни? Кант спускается, проходит мимо пустого постамента и растворяется в сиянии солнечного света. Ни для чего, ни почему, просто так. В этом и весь эстетизм. Не буду утверждать ничего о «человеке эстетическом» — это декларативно, но смысл Канта в том, что он был, как не был, и представляет из себя чистое пространство освобождённого времени, а потому неисчерпаем, и в какой-то мере безымянен. Убудет или не убудет от тебя без чтения Канта — целиком твоё решение. Чтение Канта — как поступок. Причастие. И забвение, попытка забыться. Напоминание о том, что всеобщее развитие, которому ты причастен не там, за миллиарды световых лет (хотя и там тоже), не вдали, а здесь сейчас, и ты — край времени, на тебе время кончается, а всеобщее развитие — и там, в другом отношении, и здесь-сей-

час, ты его гребень, крайнее время, но развитие — помимо тебя, и тобой насквозь и дальше. Ты его торможение, останавливание. И ты его одиночество. Там и здесь. Пристальность.

Есть потрясающее стихотворение Фроста в переводе, который иначе расставляет акценты, примирая с действительностью. Перевод беспристрастнее. Но оригинал...

#### Desert Places

Snow falling and night falling fast, oh, fast  
In a field I looked into going past,  
And the ground almost covered smooth in snow,  
But a few weeds and stubble showing last.

The woods around it have it — it is theirs.  
All animals are smothered in their lairs.  
I am too absent-spirited to count;  
The loneliness includes me unawares.

And lonely as it is that loneliness  
Will be more lonely ere it will be less —  
A blanker whiteness of benighted snow  
With no expression, nothing to express.

They cannot scare me with their empty spaces  
Between stars — on stars where no human race is.  
I have it in me so much nearer home  
To scare myself with my own desert places.

#### Пространства

Снег с неба — с ночью наперегонки, —  
И прошлое как поле у реки:  
Как будто всё схоронено под снегом,  
Лишь кое-где желтеют колоски.

Леса вокруг не ведают утрат.  
Животные и люди в норах спят.  
За жизнь я зацепиться забываю,  
Невольным одиночеством объят.

И это одиночество нейдёт  
На убыль, а скорей наоборот —  
Так сумеречны белые просторы,  
Что ничего не знаешь наперёд.

Поэтому пугаете напрасно  
Тем, что миры безмерны и безгласны  
И небеса мертвы. Здесь, за дверьми,  
Пространства столь же пусты и ужасны.

Перевод В. Топорова

В пепле звёзд так же холодно, как и рядом, в близости.

«Помедлить» воспринимается, как «повременить». Время — замедление, сопротивление пространства. Масса времени, его скорость, преходящесть составляет плотность пространства.

С одной стороны, ты создаёшь эту сторону, и время вырабатывается, создаётся, выделяется из наличного бытия путём ускорения его к своему концу, в мелькании прехождений, ускорением времени отрицания. А с другой стороны, которая та же самая сторона, сколько бы их ни было во множестве, как точек зрения, ракурсов, сторон — это всё об одном, и одним. Так вот, другая сторона, «чужая» — это торможение, обратное ускорение, отставание от предела, отпадение времени, отставание, движение не к своему концу, а то же движение к началу, к истокам, анти-время.

Сколько бы ни говорили, что, «обогнавший своё время должен бояться, что время его настигнет и поглотит» — не этого надо опасаться. Пока ты в становлении — ты вне времени, время, даже жизни и свободное время — овнешнено, хотя и претендует на «устаревшее» ставшее, чтобы быть априорной формой внутреннего созерцания. Превращение внешнего, пространственного во внутреннее, а внутреннего во внешнее — просто трансцендентальная иллюзия, но из которой происходит сила воображения и фантазия, что быть — не скучно. И потому оно так реально, действительно, как мифологическое существо.

Категории выступают субъектами, образы действуют, даже не рядясь в маскарадные костюмы кажимости. Момент переживания, которое может ошеломлять, что общее развитие вблизи, «судьбой зовётся это — быть вблизи, вблизи, вблизи (тобой, тобой — А. Б.) и в вечном отдалении» (Рильке). В нарушении за-

конов (хотя какие там законы, правила и те условны) грамматики, не в *отдаленье*, пребывая в нем, а именно на расстоянии без расстояния, в движении в отдаленьи, отдаливании, происхождении дали, такой близкой и понятной, что тот же Кант или кто-то другой становится «близким», хотя это не так, но тебе кажется, что ты его понимаешь. Он впечатляет остроумием, иронией, лёгкостью — ты резонируешь с его построениями и настраиваешься, невольно опускаешь и не замечая тяжеловесность и то, что вызывает откровенное неприятие, ты не мыслишь, а доверяешь и доверяешься.

Хотя что может быть общего? Ты и читал больше, и видел, и слышал, ты по сравнению с Кантом прожил тысячи жизней и знаешь больше (а толку?), и, пожалуй, роднит нас только то, что мы смертны, и потому, что смертны — мы люди. (Шучу — вспомнился пример формальной логики: «Все люди смертны. Сократ — смертен. Следовательно, Сократ — человек»). Может быть, Кант не столь грандиозен, как хотелось бы. Иногда находит, и читаешь Канта или Аристотеля как сборники анекдотов, смех разбирает, и Кант кажется плюгавым недоумком, а Аристотель жалким, но это — приступ самоунижения, когда от бессилия кажутся ничтожными все проявления человеческого духа, и то, что необходимо жить именно в этот период развития, унижает до бешенства.

Надо бы сейчас не о горестях, а о гордости и радости ожидания свободного времени, которое должно быть вне ожидания грядущих бедствий, в начале, как пришествие весны, которую «приветствуют звоном щита», во всеприемлемости, растворяясь в развитии. А я о том, что не мы ждём, а нас ждёт, что будет, когда свободное время станет обыденным, как дурная привычка, и назойливым, как мозолящий факт. Хотя факт фактически не наступает, ты сам — ложная фиксация бывшести, сбывшести, «упрямая вещь», но не более. Факт — ещё не событие. Здесь не вещь — свободное время, живая предметность, «бытие-возможность», процесс сбывания несбыточного. Оно настаёт настоящим, нарастает исподволь, но как катастрофа, наводнение, однако нехотя предстоит вернуться к «половодью чувств» в их смятении и неопределённости, к «раннему становлению», а я проскочил к развитым формам, когда надежды нет. Можно позволить себе восхищение банальностями, очевидностями, испытывая все возможности сразу, как бытие во всей зримости, при

этом ничего не сочиняя, не привирая, не домысливая, видя, не воображая, не приукрашивая, но во всей полноте движения.

Здесьность развития делает нас всех современниками. «Здесь» тоже длится, и не равно протяжённости. Это уже музыка, когда форма времени сама, прехождением формы рождает анти-время, свёрнутое в звучание, в молчание интервала, и он не между звуками, а есть как отношение, даже если не звучит. Вот это не понимание, а ощущение всеобщего развития, не играет роли, из этого ничего не следует, кроме чувства становления, которое всецело твоё — становление бесчувственно и ему всё равно. Это — возможность любого чувства, которое не становится предикатом, непосредственное пламенение жизни.

Опыт показывает, что никогда, ни при каких обстоятельствах и титанических усилиях, ни один самый прилежный «ученик» не может адекватно воспринять твою мысль, да и сам ты ей следуешь в мареве восходящих потоков жизни — условно. Поэтому остаётся только привкус общения, интонация и смутное чувство: что-то было, но непонятно, о чём. Неясен себе, и в этом счастье, как состояние пребывания. Научить нельзя, но можно научиться (в том числе у будущих поколений), когда точно знаешь, что ничего подобного нет ни в истории, ни в искусстве — ты сам себе непонятен и невыразим. Но бесподобен и оригинал, и твоё видение и чувство — оно раз и навсегда, хотя и мгновения не просуществует. Твой беглый взгляд, твоё видение неповторимо, и это мгновение противостоит всей вечности, всем существом — другого нет, как радость — никогда прежде, никогда потом.

Искусство суетливо ищет, «роется» в основании, доказывая себе свою необходимость, отказываясь от необходимости, пытается извернуться и обойтись без доказательств, взывая к собственной выдуманной непосредственности. В том-то и дело, что необходимости нет, а есть случайная свобода, то есть свобода, не опосредованная необходимостью, не снятая необходимость и случайность в разрешении противоречия, а непосредственная свобода, самородная. Кристаллизованная самим избыточным движением. Свобода, не выпавшая в осадок, поскольку появилась пространство духа, возмнившего, что он самодостаточен, просторы свободного времени (как будто оно самопорождённое, самопорождающее), имеющего основания в себе и могущего игнорировать вечность, проистёкшую до сегодняшнего момента, до момента свободного времени.

Оно создало себе индульгенцию и вид на жительство (читай: Дж. Кошут. Искусство после философии), и философия была с ним в сговоре, и тут больше не о чем говорить, и нечем. Другими словами — да, слов нет... Именно в то время (в свободное время), когда искусство обрело природу развития, став не иллюстрацией к человеческому чувству, не картинками с выставки, оно мало-душно отказалось от свободного развития и перестало быть его атрибутом, сочтя, что так и должно быть, — как же, кто же будет оплачивать жертвы (оплачивать, а не оплакивать). Но с тех пор, как искусство, испугавшись, что оно будет поглощено рефлексией, занято безмозглым самолюбованием: «Какое оно?», о философии не может быть и речи. Страсть укрыться в бессознательном и нарциссизм. Самое большее, что позволено, это «селфи». Взгляд со стороны на себя. Со стороны, которую создаёшь отстранением.

Поэтому так убого выглядят все попытки ответить на вопрос «Что такое искусство?» Достаточно вспомнить гляцевые материалы «Круглого стола» с аналогичным названием: Материалы дискуссии в Институте Философии РАН (где РАНенные профессора философии мучительно пересказывали общеизвестные банальности), М.: ЛУМ, 2016. Эти нелепые фотографии участников — «страна должна знать своих героев». Иллюстрации произведений, которые упоминаются, наконец, сама манера. Собрались вершители судеб и решают, каким искусству надлежит быть, а оно, бедное, стоит по стойке «смирно» и не дышит. Жалкое зрелище. И старческий маразм. Не персонажей, которые собрались на круглый стол — а самого времени. Всё ненастоящее. Все говорят много и правильно, но совсем не то, что хотят. И от этого мучаются, мучатся несказанно. И Бычков, и Подорога, и другие — всё не о том — страдают от вынужденной необходимости адаптировать проблему для общего уровня, до понимания, а дело не в понятии. Тут не договоришься, не заговоришь пространство.

На самом деле, совершенно ясно, что никого судьба искусства не волнует, даже само искусство. Оно впервые на распутье: с одной стороны, есть выбор, продаваться или нет, быть востребованным, или, наконец, заняться собой. С другой стороны (искусство всегда и с одной стороны — односторонне, и с другой — потустороннее, и это делает его искусством), оно оказывается

перед ничто, за которое ошибочно принимает свободное время, и это его страшит, не только потому что ничто — это «недра смерти» (Хайдеггер). А потому что это свободное время надо опредметить, то есть проявить, и произвести в произведение, а это чревато потерей себя, потому что оно больше, чем оно есть. Оно — «более того».

Я сам негодовал и морщил нос, когда искусство вышло из кустарных мастерских и стало в промышленных масштабах «производительной силой», ворочаясь в исторических рамках. Оно потеряло, отказалось от элитарности, уникальности, создавая, а не открывая пространство, как произведение, но суть не в этом, а в том, что искусство попыталась стать природой. Субъективность без основания. Противоречие не разрешается спонтанно. Субъект и объект — отношение видимости. Развитие субъекта без объективных оснований. Кажимость произвола как свободы. Он не обусловлен, как и его свобода. То есть развитие субъекта без цели, основания, смысла и самого развития. Это пребывание без сил, без чувств, без сознания. Накопление времени, как накопление энергии. Масса времени. Ожидание и безнадёжность. Без поисков критериев. Субъективность выступает как деспотическая сила. Как причина самой себя. Так это же великолепно! Но невыносимо. Пока абсолютная свобода и красота не станет твоей природой. Суть в том, что абсолютная свобода не свободна, а красота никакая, но если она — не твоя природа, то она тебя уничтожит, как и преддверие, предчувствие красоты — свободное время, которое несовместимо, как чужая группа крови. Происходит отторжение свободного времени.

Если нечто не происходит, то всё равно произойдёт, пойдёт в обход и явится в ублюдных поражённых, превращённых формах. Если процесс разложения продолжается, то пространство отделится от времени, субъект, если человек не отвоюет свою сущность, отделится от объекта и будет объективировать свою субъективность, отвоёвывая всеобщность в крайнем эгоизме. И дальше продолжает разлагаться в гниении.

То есть, по сути дела, искусство, которое в истории происходило по остаточному принципу, столкнулось с необходимостью пространствовать, и тем опространить (опростить) этот хаос, превратив его в ничто, организовав, образовав. И тем исчерпав себя, распространив.

Искусство создаёт свою жизнь и не узнаёт себя в ней. Оно те-

ряется и больше не искусство, по крайней мере, не искажённая, отчуждённая форма человеческого чувствования. Не идея чувства, а пока только реакция-раздражитель. Первобытность искусства, переставшего быть собой.

Не стоило ворошить это давно забытое «происшествие», но очень уж типично и показательно: какое искусство — такая и философия. Я бы не стал упоминать четырёхлетней давности полемику, если бы это не стало навязчивой идеей современности: возводить руководство искусством в ранг государственной политики. Да и сами представители искусства, выторговав, хлопотав себе вольную, теперь требуют легитимности и правовых норм.

Справедливости ради, любые попытки безыскусных комментариев к искусству, в том числе и мои, отдают маразмом, поскольку вносят элемент опосредования, «потому что...», момент доказательства. Искусство потому и искусство, что очевидно и недоказуемо, и любая попытка суждения — это не об искусстве. Здесь не логика, а поэзия бесконечности. Но то же можно сказать, когда искусство вторгается в философию и начинает «умничать». Особенно этим славятся приживалы-искусствоведы. Вот где потеха.

При этом, отказываясь от философии, представители искусства пользуются тухлой самопальной философией здравого смысла, вроде известного «Искусство есть определение искусства» (Рейнгард), что очень точно выражает происходящее. То есть то, что Хайдеггер глубокомысленно называл «болтовнёй», — шумом языка, работающего вхолостую.

Искусство воображает себя свободным, сочиняя свои основания, как причину без причины. Впервые искусство забывает о своём положении содержанки и пытается представить, вообразить своё развитие, выйдя из себя и не сообразываясь с потребностями рынка. Но отсутствие идеологии — тоже идеология. И оно исповедует убогий неопозитивизм, даже не стесняясь ссылаться на А. Дж. Айера и прочих.

Принципиальность и бравада искусства сразу слетают, как только речь идёт о финансировании, когда искусству указывают его место приживалы, «допущенного к столу». Очень немногие отваживаются, благодаря свободному времени, видеть основания для того, чтобы быть свободными.

Не так всё просто. Конечно, ни искусство, ни дух собственного саморазвития не имеют, но и дальнейшее развитие материи без этого невозможно.

В узком смысле можно говорить о саморазвитии искусства (спасибо, разрешил). Поскольку, как только оно пытается взойти на собственных основаниях, то есть действовать так, как если бы и впрямь жило самостоятельной жизнью, взяв в качестве природы дух, как тут же бросается в свою противоположность. Более вульгарного материализма, чем современное искусство и его порождения, трудно себе представить. Натурализм как порнография.

Различие порождает безразличие. Я бы не стал этим заниматься, потому что не любопытно, что произойдёт дальше. Тут всё ясно. Всё это скучно, назидательно и штампованно, а язык, которым можно выразить, что происходит со свободным временем, в сводное время — ещё не создан, не высказан. Он молчит.

Да, были периоды, когда необходимое рабочее время подменялось овецествлением. Но свободное время всегда было выражением живого труда, даже не опредмеченного. Самое интересное, что в этом безвременье живой труд всегда стремится к свободному времени, и потому, как и становление вне времени и пространства, которые внешни ему — в этом тигле смешиваются все возможные и невозможные времена. В расширенном воспроизведении — прошлое, настоящее и будущее. Необходимое и прибавочное, помимо воли, нехотя превращаются, происходят в свободное, в котором себя не узнают. Это то, что «помимо», «сверх», «пост», «мета» — освобождённое, и освобождённое прежде всего от временности, от себя, хотя время может быть не только отнято, но и привито, не только изъято, но и присуще — временение, та вечность, которая присуща мгновению бытия, например, произведения искусства — хотя это как жалкие проблески в пустой породе, нет не золота или драгоценных камней, а живого, доведённого до человеческого.

Меня занимает вопрос, что будет, если свободное время уйдёт в основание, а это возможно только сознательно. Со сменой формы общественного богатства. Но уже сейчас, по сути, эта многоукладность времён любопытна тем, что время перед выбором, а выбор — это несвобода. Время перед возможностью произвола. Свободное время угрожает, оно предгрозе — место встречи человека с самим собой.

Настоящее свободное время выбора не оставляет. Именно сейчас всё зависит от твоей воли, но требует колоссальных усилий, буквально нечеловеческих. И зачем? Написать-то, новым, не посконным языком, выражающим адекватно предмет, можно, но, во-первых, не прочтут, потому что уже разучились читать. Этот язык неведом — всё равно, как если бы выразить мысль на шумеро-аккадском. Но только тем, будущим языком. Представить трудно, что сказали бы поэты викторианской эпохи об Элиоте, или Ломоносов о поэтах Серебряного века. Ну, может быть, хватило бы ума посмотреть с уважением, приблизительно как мы смотрим на тексты, написанные на неведомом нам языке. Так большинство сейчас не понимают язык современного, да и вообще, искусства, да просто язык, любой.

Поэтому лишь немногие не паникуют, чем бы занять себя. Дело-действие (Фихте) в никуда — единственное проявление человеческого, хотя самое бесчеловечное, что есть и может быть.

Умение действовать без мотивов, без внешней обусловленности, без внешней необходимости — это почти извращение, это в индивидуальном исполнении — деспотическая свобода, и может быть воспринято как паразитирование, если бы общество это паразитирование не возвело в образ жизни — кто как устроился.

Свободное время, употреблённое не соответственно своему предназначению, становится оружием массового поражения. Но это не означает, что его надо упразднить. Хотя упраздняют, делая его праздным. Это значит, что его нужно преодолеть, распространив, сделав тем простором, смысл которого в предстоянии, вернуть в ничто. Свободное время в самоотрицании себя, в превращении возрастает до вечности в каждое мгновение своего творения, и сам его смысл в преодолении времени, в «свершении всех времён».

Тут происходят странные процессы, и они культивируют и «гордятся» своей необычностью, чужаковатостью и странством, неприкаянностью. Связанные бессвязностью, разрывами, противоречащие причинно-следственным связям, произвольные, наполовину свободные, хотя свобода не может быть наполовину.

Тут аристотелевское удивление с декартовым сомнением вдруг превращаются во внешним образом организованное противоречие, изображающее диалектическое, хотя — это «страда-

тельное», воспринимающее, эклектически соединённое ощущение, не задающееся, не озадаченное вопросом: что оно? Откуда?

Сомнение и удивление разрешаются в «восхищении в вечность», онемении в восторге от происходящего, «благоговении перед жизнью», «свершении всех времён», — без кавычек, по-настоящему. Но это взрывное сочетание, воспламеняющаяся смесь может выветриться в сокрушительную иронию. Здесь — рождение интонации и мелоса в философии, при всех её безуспешных попытках стать однозначной, раз и навсегда. Кавычки тут потому, что эти выражения сказаны другими, я только цитирую. Удивление и сомнение — два крыла.

Причём ещё нет старости и не предвидится, когда понимаешь, что летать — тяжёлый труд: и ты, как старый ворон Эдгара По, каркаешь: «nevermore!». Скрипят суставы, дыхание сбито, тебе уже триста, тысяча, две с половиной тысячи лет, и конца и края не видно — по-прежнему в самом начале и ждёшь, когда это кончится. Ты во взаимопереходе вечности и времени, удивления и сомнения, и тем живёшь: пределом, переходом, превращением. Ты сам — превращение. И взгляд твой действительно «беглый». Взгляд ловишь. Он неуловим. Мышление теряется в образах. Ты по ту сторону предела и невольно оглядываешься. Но прошлое «схлопывается» (!) позади, а ты в сверхскорости превращения не слышишь этот раскат в полном молчании. Тут «звук высотности тишины», её напряжение и интонация.

Объективирование субъективности. Всеполнота. Субъективное и объективное разрешается, снимается в непосредственности деятельности, онтологии, «онтичности» практики, в непосредственности становления как единства бытия и ничто. Не устаю повторять Флоренского: «Красота так же объективна, как и тяжесть». Хотя красота бескачественна, она — никакая, но и не количественна. Красота для кого? Она всегда конкретна.

Тут категории бессильны. Это не состояние. Красота — не отёк наличного бытия. Форма аморфна, и привычные категории «не работают». Форма — движение.

Смешны разговоры о сущности и явлении, форме и содержании, и даже о пространстве и времени красоты. Здесь образы, метафоры, понятия, категории, универсалии и трансценденталии, метафоры не имеют доминанты и, по сути, одно и то же движение. Тут, собственно, нет деления на дух и материю.

Здесь всё то, что говорили некогда о красоте в природе, с той

только разницей, что красота сама становится природой, и куда становится природой в основании, она преобразует агонизирующее прекрасное в своё подобие, превращает в себя и потом отчуждает как «усию», атрибут, ипостась.

В этом — насилие красоты. В освобождении прекрасного от вещности, времени от временности, пространства от пространственности. Это свободное время «второго рода» — не вольное свободное время вечности — свободное время «прима», а не «секунда», «втора», а освобождённое свободное время, выпущенное на свободу, на волю. Превращённое, очищенное свободное время не по первородству, а как преобразованное из аккумуляированного овеществлённого труда, когда овеществление преобразовано, превращено в предметность. Самое интересное, что это происходит тогда, когда предметность теряет логику дела и служебную функциональность, утилитарность, прагматическую ангажированность.

Кстати, то же самое происходит и с текстами, книгами, партитурами, музыкой, поэзией, книгами, философией, филологией (достаточно посмотреть на тексты Вяч. Вс. Иванова и всех, кто вокруг него. При всей показной «тщательности» с претензией на точность — это сплошная фантазия, слепая в своей уверенности, «научности» и убеждённости, что открывает некую абсолютную истину. Никаких «может быть». В исследовательском раже заходится, но это как пение до самозабвения, ошалевание от собственной смелости и варибельности — хочу так, а могу и иначе, и вот так. Своеобразный люфт и зазор, создание пустот для манёвра. Это создание нового пространства и одновременно сотворение «предметности» и не «апперцепции», а именно «перцепции», ощущения и самосознания, в данном случае филологии, когда исподволь рождается то, что изначально не является целью и не предполагается.)

Всё освобождается в этом вихре, протуберанце преображения, по крайней мере, в воображении воображением. Это ещё не последнее время, прощающееся с собой и обретающие новые черты, ещё не узнаваемые. Это крайнее время. Время на краю, над бездной, которое наделяет очертаниями прошлое.

Красота из случайной превращается в свободную, из одно-сторонней, абстрактной — в красоту, как она есть сама по себе, сама собой, в себе и для себя, а не для постороннего взгляда, как «то, что нужно человеку». Я бы сказал, становится природой, — природой-красотой, преобразующей и преображённой.

(По слабой аналогии: Моцарт ничего не сделал в истории музыки. Никаких новых форм, приёмов и прочего. Он просто был. Когда слышишь его — не надо ничего другого, но, когда слышишь Баха, происходит то же самое, и с Бетховеном, Брамсом, Малером, Брукнером и любым другим, даже Кейджем, Айвзом, Нона, Сильвестровым, Грабовским — не суть важно. Вопросы градации — это для дилетантов. В музыке банальностей нет, но порой поражает Бахоцентризм или Моцартоцентризм, Бетховеноцентризм и даже Шёнбергоцентризм. Ложная очаровательность нововенцев, которой музыка не столько заморожена и околдована, сколько пришиблена, делая вид, будто чувствует, мыслит и творит. Музыка — дисциплина. Она стала артикулом. Осмелюсь утверждать, что Шёнберг — такое же дикое явление, как Фрейд в психологии у откровенных поповиков, хотя я его понимаю, и его последователей, и сочувствую, а надо бы чувствовать, но нечем. Однако, это похоже на любую увлечённость любым предметом.)

С философией точно так же. Она ничего не сочиняет и не сочиняла. Её сочинения показывают то, что есть и не есть. Она всегда двулика, двусмысленна. Она — снисхождение к созерцанию, к очевидности, в котором дистанцируется, становится в стороне, иначе «лицом к лицу лица не увидеть».

Зная, что созерцание «преодолено», философия к нему относится с нежностью и удовольствием. Отношение к «избранным»: к «сложности» Гегеля (которому многое «прощаешь», стараешься не замечать и то, что сущность в понятии, что материя «пористая», и все эти пассажи о государстве), Прокла (ему приписываешь такое, что буквально «уму непостижимо»), вычурности Хайдеггера (и его недоумслию в простейшей ситуации), грандиозности Маркса (нет-нет, да и задумаешься, зачем всё это. Эгоизм непостижим, ведь кто-то будет читать «Капитал», а книга с самого начала ничего не доказывала), когда «неподъёмность» Канта, или что там в детстве представляло трудности, сменяется непонятной лёгкостью, но не поверхностностью (хотя поверхность — то, на что можно опереться, пасть проекцией, тенью) и умиляет «лёгкостью», доводящей до отчаяния своей непостижимостью — это сопровождает философию, потерявшую трудность, усилие, обращённую в чистое чувство, почти как чувство полёта. Ты согласен со всем, и со всем не согласен. Всё — недостаточно. Но летать ты разучился.

Ты делаешь себе «послабление», как будто играешь Баха, потому что логика там естественна, будто дыхание — обещанный будущий вдох. Бах — чтобы отдышаться, хотя он труден, вернее, не столько труден, сколько непостижим, но в нём можно восстановить дыхание, чтобы его не замечать, как если из спёртого и регламентированного пространства автономного и искусственного выходишь на простор бесконечности, свежий воздух музыки как таковой.

Когда Кейдж, с пафосом, многозначительно, в расчёте на дешёвую сенсацию говорит, что композитор не должен писать красиво, сразу хочется его больше никогда не читать, потому что у него обывательское представление о красоте: «красота красивая», красота не бывает банальной (композитор вообще не должен). Она непостижима, и потому сама по себе никакая, она не нормативна — несказанна, невыразима, необыкновенна и уж точно неопишущая. Это как музыку подменить технологией. И подменяют. А поэзию — грамматологией. Это возвращение домой, на планету Земля в бесконечности космоса или хотя бы его видимого звёздного неба с привычным сочетанием созвездий, а ведь с другой точки конфигурации их неведомы.

Философия опускается до созерцания, раздваиваясь. Она в деятельности, и отнюдь не в деятельности созерцания, в интеллигентности, и в деле-действии, она на пределе, в незнании.

В то же время для неё проблема сообщаемости, чистая схоластика (с которой появились университеты, а с ними и идея универсальности, правда, формально понятая), школярство и проблема философии как знания, вопросы обучения и проблема преемственности школы и передачи знаний, сообщаемости, и, по сути, коммуникаций, — стали проблемой и препятствием к пониманию. Хотя «философию нельзя знать, ею можно только быть». Вопросы пропедевтики так и не были решены. Вернее, все вопросы философии решены гибелью философии и подмены её упрощённой, лишённой сущности феноменологией. Преодоление созерцания — не отказ от неё или признание, а просто снятие. Но дело не в этом. «Сходство понятий», «мнимость совпадения теоретических взглядов» («пошлость» абстрактной общеизвестности», говорил Хайдеггер) — это тоже «созерцание». Ни в одной точке философия с собой не совпадает, не может быть повторена в той же определённости, то есть

в форме покоя («ужасен лик всеобщего покоя» — новозеландский поэт Э. Тригир). Философия — всегда другая и никогда не повторяется, но всегда об одном.

Нужно разрешить себе любопытство без причины, и, как я уже говорил, просто эстетическое любование (хотя это пошло звучит). Чистую поэзию, музыку бытия (и ничто). Тогда не возникают глупые вопросы «зачем?» и «до каких пор?», «доколе?» Воображение (сильный был удар), когда я понял, что оно — пределы рассудка, никак не диалектично. Что даже формальная логика, способ мышления здравого смысла, формальное мышление происходит диалектично, но диалектики воображения — нет, её надо сочинить и смысл её не в работе и употреблении. Наконец, совсем убила современная феноменология, которая философию доконала, разложила и внесла гнилостные процессы, даже не бродильные, и эта пыль меня уничтожила, распылила на частности, хотя это космическая пыль — прах превращающейся материи, иллюзия самодостаточного и самостоятельного явления в бессущностном мире.

Скажите: как? Всё в дело в том, что феноменология публично и сознательно (то, что сознательно — большой прорыв, почти свободно, «великий, но малодушный отказ») отрёклась от «вещи-в-себе» и сделала сущность карманной, универсальной отмычкой. Купиться на это легко (купиться — значит продаться, и это — не окупится), потому что удобно, даёт ощутить произвол как домашнюю свободу, ручную. Никакой «фурии исчезновения»: как приручённая атомная энергия, почти безопасно. Возможность произвола и мелких достижимых целей.

Думаю, уже возникает институт возвратных целей, новая телеология, цели «с той, преодоленной стороны», со стороны реализованных и потушенных, отработанных целей. Цель — выражение нищеты настоящего, нехватка, негативная, отрицательная форма того, что не хватает для целостности, утоления жажды тотальности, сбывание несбыточности (цель — процесс, она постоянно меняется в себе). Но когда она свершается, угасает, в обретённом бесцельном мире эту цель, драпирующуюся как идеал, в складках которого теряются истинные желания и мотивы движения, рассматривают как одолённую. Утолённую. Её хочется обрести заново, восстановить, хотя бы как культ, памятник цели во всём ничтожестве или величии.

Жить без цели непривычно. Нужна «цель с изнанки». Хотя она отличается от цели «с лица», «внешней цели» и цели в основании — «конечной цели», то есть той, которая по Канту есть побудительная причина. Хочется чего-то хотеть (как у Салтыкова-Щедрина: «Чего-то мучительно хотелось, то ли конституции, то ли осетрины с хреном, то ли ободрать кого»). Но «ободрать первее»).

И тогда ты становишься самоцелью в тотальном эгоизме — *éγώ* -эго, «я», «Ichkeit». Но это не то «эго», «я», овнешнённые, лицом наружу, как «яйность»,

а всеобщность, свёрнутая вовнутрь, в себе, развивающаяся в себя, и это «себя» создающее, но не присваивающая, как ту же, не отстранённую вселенную, а в которых, как подо льдом вода струится, становление.

Сочиняются искусственные цели во всеполноте восполненного бытия, даже о необходимости смерти, иначе бессмысленный мир — не полон, и смерть — смысл жизни. Но это чистая поэзия, её смысл в про-исхождении. «Я теряюсь от этой огромности и испытываю робость в своём желании, как слабость и головокружение, если не вместить всё это и сразу, внезапно и вдруг, и «хотя бы», то хотя б ощутить себя краем, пределом и «минимумом» Кузанского, присущим единому, краем, за которым ничего нет и это «нет» бесконечно.

Мир вращается вокруг тебя, даже если это не так и всё происходит ради тебя. Соблазн велик. И не надо никаких усилий, чтобы читать трудные книги и мыслить — это больно. Впадаешь в удовольствие, гедонизм и покой.

Только не надо мне рассказней о том, что «жизнь — борьба». Есть возможность изменить свою судьбу к лучшему. И меняют, приспособливаются, впадая в простоту, не ту пастернаковскую, «как ересь», а в банальный «идиотизм» самодовольства. Что плохого в простоте? «На всякого мудреца довольно простаты». Да ничего плохого, но и ничего хорошего. Может, и надо не усложнять, но — есть ощущение безмерной фальши.

Вообще, мне история человечества представляется историей заблуждений, а это плохой признак. Значит, с тобой что-то не так. Сейчас обращаю пристальное внимание на последние произведения авторов, которым доверял — жалкое зрелище. Я бы написал утешительно, что в отчаяние впадать не надо, а если уж впадать, то резвиться, как в водопаде. Я не знаю, как и что надо делать, для меня вообще такого вопроса нет. Тут бы лицо не потерять, и, как говорил Эпикур, надо быть незаметным, или как-то так: «живи неприметно», довольствуйся «броском мысли», броском жизни, которая «порыв и прорыв в иное, в себя, чтобы остаться собой» (или не оставаться). В общем, быть собой.

Но на старости лет просвечивает назойливый вопрос «где я?» Понятно, что в бесконечности — всегда посередине, и это пошлое желание определиться, сбыться, свершиться, завершиться и закончиться уже утомляет. Так что я, по сути, в «деятельном созерцании» и это приспособленческая полумера, это не Элизиум, это эмпирей с огненной природой. Эмпирический не в смысле ползучей эмпирии частного опыта, а эмпирии Гераклитова огня: «И пусть вдохновит меня пламя, где исчезает предмет и, исчезая, поёт» (Рильке). Жизнь предстаёт во всей полноте, но выразить это убогим современным примитивным языком невозможно. Тот случай, когда язык катастрофически отстаёт от бытия, которое вынуждено немотствовать. Я не разочарован. Посмотрел, а теперь пора. Это стоило пережить. Повезло, что меня пробросило туда, но в целом — жалкое и позорное зрелище.

Оно, конечно, удобно и фантазийно, но и фантазия остаётся формальной и примитивной, а воображение так и не становится диалектичным, а только эклектичным (*диаклектичным*, тождество — ещё не противоречие, вернее, противоречие безжизненное) — исключительно формальным, отказываясь от разума и оставаясь только границей рассудка, делая мышление не разумным и невозможным, умирая в актуальности без потенциальной бесконечности. Коллажирование вместо философии, комбинаторика вместо музыки, конструирование вместо поэзии. Инженерное мышление вместо живого восприятия. Это может быть восхитительным, но уж слишком ограничено. Так испытывают радость от хорошо сделанного документа или циркуляра.

Да, философия созерцанием делает расстояния видимыми, но не создаёт их. Созерцание сродни рефлексии, схватывает, и даже если в обратной перспективе, а не только в линейной, то всё равно — односторонне. Объективируя, материализуя, не овеществляя, вносит движение, превращает, хотя и в рамках достаточного, *по мере возможного*. Невозможное неведомо, но его надо создать, и пока это то, что невероятно. Вот это и надо сотворять (слово надо неуместно, конечно, потому что тут нет долга и необходимости — это пространство свободы). И это будет оправдано тогда, когда возникает чувство, как форма движения и форма движения как чувство. Создаётся непосредственный «язык чувств» из ничего. И нечто возникает — сознание, создание невыразимости, чтобы её выразить, и при этом она осталась бы невыразимым, то есть не нарушить безмолвие самодовольной и самолюбующейся, самооправдывающей истории, которая плетётся вслепую по следу. Никакой «исповедальности» навзрыд.

Прекрасное агонизируют, обретая вечную природу Красоты — вечность становится красивой, а красота природой развития, хотя прекрасное стремится к ограниченности, чтобы стать ставшим, наличным бытием. Быть собой и только собой. Оно всегда против красоты, но ничего с собой поделать не может, — стремится остаться поделкой, но попадает в расплав бытия, в однородность движения и, растворяясь, теряет границы, становится неопределённостью, обретая стремительность и необратимость движения. Это консервативный момент развития, его направленность, целесообразность постфактум. Апология

спонтанности. Цель-задним числом, осознающаяся, когда дело сделано и ничего поделаться нельзя. Свободное время маячит тут как предстояние, нечто манящее, несбыточное, начинающееся Грядущее, но, когда оно «грянет», обрушится и станет переосуществлять тебя, тут совсем неведомые ощущения и чувства переиначивают всё привычное и знакомое.

Однако свободное время — неоднородно, оно разное по интенсивности, скорости превращения. «Энергейя» и «Дайнемис» свободного времени не соответствуют, не отвечают возможностям человека — они требуют невозможного (по крайней мере, для тех деятельностей и чувств, которые застигает, застаёт, заставляя, нагромождает, заставляет быть).

Тут происходит своего рода реверс. Формально «плюс и минус» меняются местами, и не только местами, но сущностями. Превращение полюсов и их смена. Сущность кажется «явлением».

Феноменология только полагает, желает, мнит, что она занимается «явлениями», ампутировав в сущность в неведомое, сделав сущность только явленной, создав «кроме того и ничего большего», которое не знает своих границ, как неограниченное безграничное. Скорость превращения такова, что появляется видимость того, что возможность существует самостоятельно. То есть, имеет саморазвитие. Это — творение из ничего.

Что невозможно. Что — невозможно, но всецело действительно.

Скорость выступает как «что». Как — «что такое?!» (что за чёрт!). И как — это здесь. Как?! Здесь?!

Оказывается. Изумляется. В упоении пребывая в превращении, как в вариациях.

Появляется нечто необусловленное, как процессы звёздообразования везде, в каждой точке пространства, как всё сразу.

Необоснованно как *неоснованно* развёртывание оснований. Причина самого себя, которая — беспричинна и беспричинно. Появляется «новое» «качество» времени. И оно пробует, как первый хрупкий лёд, с опаской, — время «держит», но не удерживает.

На самом деле, самым делом, ты «над», «вне» превращения, помимо и вместе, в течении течением, «опираясь на него», отстраняясь. Оно несёт, превращая, и даже если превращение как

становление вечно, то и тогда это превращение — промежуточный этап, оно преходяще, угасая в бессмертном чувстве, избываясь, затухая ощущением, которое не желает терять эту остроту, изнемогающим в чувстве, исходящим чувством. Сразу и вдруг, как удар молнии.

Вечность чувству претит. Вечность чувству не свойственна. Но навязчиво, опрометчиво желаемая. Она про-исходит вся. Обрушиваясь в мгновение мгновением. И это желание обратного хода не имеет. Оно необратимо.

Как только вы скажете, что «желаете», «я хочу» — это сбывается, и остановить, отменить, передумать уже невозможно.

Избавление от вечности и желание вечности — одно и то же чувство свободы, но не сама свобода. Я боюсь даже делить на абзацы, внося чуждую ритмику, хотя каждое слово здесь отдельно.

Это может быть грандиозным, как возникновение жизни из неорганической природы, а может быть пшиком. Это может быть, а может и не быть. Как возникновение мышления и чувств — отнюдь не с железной необходимостью, «иначе и быть не могло» — так случилось, и теперь необратимо.

В каждом отдельном случае нынешнего существования убеждаешься в этом. И это не врождённо, но самопроизвольно. Причина потом, позже. Она остаётся, отпадает, «опрошлевающая». Миллионы наших современников не воспринимают изначально ни поэзии, ни философии, ни музыки, хотя всё многообразие — во всём, как «сущее настоящее». В том-то и дело, что можно иначе, без свободы, так даже удобно.

Но возможность есть, и она бытийна. Со-бытие — ты сам, как Я-около, околевающее в осадочных остаточных формах наличного бытия, устремляющееся, как воронка, средоточие по часовой стрелке.

Но страшно происходить в неведомое, когда не знаешь, как будет, и будет ли, чем будет? Я представляю, какой ужас у личинки стрекозы или у куколки бабочки, у гусеницы, когда они превращаются, и растут крылья, — если они соображают.

А ведь это не значит, что рост способности к полёту — сплошной экстаз (оргазм происхождения, «инстинкт явления», неумолимое ощущение жизни, когда материя начинает чувствовать (и никакой «витальности», только ощущение). Может, их это тяготит, и они чувствуют себя монстрами? Большая ли радость превращаться в человека и жить превращением?

И ведь тут — не инстинкт, не тупая внешняя необходимость, когда хочешь-не хочешь, а надо быть насекомым, человеком или динозавром, измельчавшим до птиц (всегда смеюсь, когда вижу стаю голубей). Само мышление может быть ужасом, от которого хочется избавиться, забытья. А может, только в мышлении можно забытья? «И в битве с целым море бед...» Может быть, становится человеком в тотальности и универсальности — проклятие? Мы мыслим временами, как аккордами, кластерами образов и метафор — сразу все, не последовательно, но это на поверхности. Создание поверхности.

Не о мышлении забота. При всей пошлости и пакостности происходящего, может быть, происходит что-то грандиозное, только мы это, предчувствуя, не замечаем. Это может быть перерождением, но может и вырождением. Конечно, не о сверхчеловеке идёт речь, а о той мощи развития (сказал бы: «формы движения материи», но просто развития), которую неудачно называют (просто скомпрометировали в истории) коллективностью, когда человечество (с которым не хочется) — но человечество...

Так что приходится терпеть, и, может быть, никак не будет, и хотелось бы пролистать всю эту нудную, скучную историю, и сразу — к тому, что становится, рождается. Но ты вынужден терпеливо всё это сносить, умерив гордыню быть человеком уже сейчас, оставаясь в кавернах и лакунах бытия, что осталось, отвоёвано у времени. Свободное время — как проталины. Пустоты бытия, ничто, в которых — ещё бездыханный, но ждущий жизни, полёта простор. (Ничего этого нет, никакого предчувствия, полное безразличие, но такое в будущей поэзии превращения — ожидание, «вот-вот, и взойдёт».)

Я огрубляю, упрощаю. Не «поры материи», как у Гегеля, а «поры времени» без зазора, как поры года в цикличности самовоспроизведения. И воспроизведения никогда не повторяющиеся, неповторимые. Нет ни разрывов, перерывов, ни сплошности — это «плазма» времени, его спонтанность, порыв, который не поддаётся определению — не схватываемая сущность, непостижимая, но постигаемая, а главное — «кусочек вечности».

Он (порыв), она (сущность) «работает» как «сила», «энергия», «динамика», и к своему явлению не сводится — противоречие в чистом виде, и его разрешение — единый процесс.

Можно пребывать в изумлении бесконечно долго, это — оторопь, очарование, «чудо», как будто воочию видишь форму дви-

жения материи, но на самом деле — просто сущность, которая не имеет имени, названия, и потому непривычная. Когда-нибудь она станет обыденной и даже скучной, хотя «придается всё, лишь тебе не дано примелькаться» (Пастернак).

Мне даже весело от этой, вхолостую, работы языка. Трение в норме, сопротивление воздуха тоже. Так по гудению двигателя понимают, что всё в порядке, что имеешь дело с невыразимостью, но что-то произошло, что-то сбывается, и «творение из ничего», и реальность, ты создаёшь «шаровые молнии», и не просто скачки, порывы мысли, «броски» её, как у Эпикура со всеми этими «предвосхищениями», «чувственными оттисками», «претерпеваниями» и прочим добром, приписываемым философу, как и «чувственным наслаждениям» — что там имел ввиду Эпикур, мы не знаем, — содрал ли он эти принципы, возведённые в систему, или был уникален, — только полагаем, уступая своим желаниям, поддаваясь себе, хотя всё это — весёлая, беспшабашная паника, когда хватаешься за всё, лишь бы остановить безудержное движение, остановить «мгновение» любым способом: Эпикур так Эпикур, «Книга Перемен», так может, она? И страшно это поступательное движение, а уж прийти к тому, чтобы его ускорить, сделать превращение способом, делом жизни — от этого моторошно и невыносимо прекрасно.

Реальный процесс, а не то, что ты можешь помыслить, когда непостижимым образом субстанция может быть только одна (как у Спинозы) и, столь же неопровержимо, субстанций может быть множество (Лейбниц). Ты сам напряжение этого отношения — есть и не есть. И надо заново любоваться отношением единого и многого, и прервать, проживать это как событие и судьбу, но тут же все эти моменты игнорировать, пренебрегая и собой и движением, и жизнью, предчувствуя, что ты на грани, сам — грань, предел и граница в тревожном ожидании того, что независимо от твоего сознания грядёт, а ты не можешь быть к этому готовым, оно настаёт. И хочешь-не хочешь, но тебя накрывает с головой в тот же момент, тем самым «выбрасывает» тебя, поглощая и оставляя, — не скажу в одиночестве, — в себе и вне себя, собой.

Кроме того, требуется учитывать непостоянство, «интенции» и «желания» самого свободного времени, которое усиливает в разы, возводит в степени «способности» человека (и не только

его положительные качества, но и любые, возводя их в бесконечность).

При этом время воспринимается, как переменная величина, покуда оно — время. Интегральность свободного времени показывает, что «давление» свободного времени исчезает при постоянном усилии, а «скорость» возрастает до бесконечности (но это как скорость света в квадрате в известной формуле Эйнштейна, хотя тут идёт речь о «богохульном», еретическом появлении в происхождении свободного времени «массы времени», которое воспринимается как «так не бывает», «невозможно», хотя приемлемо только «немыслимо», и то «покуда», «ещё не время), хотя требуется ещё учитывать «сопротивление» вещиности, «трение времени», заимствуя у естествознания их термины, как метафоры.

(Надо ли напоминать, что энергия, скорость, движение и прочие причиндалы так называемых точных наук более мистичны и метафоричны, к тому же, условны и относительны, чем энергия, Хронос, динамика, атомы античности? Поэтому чисто по-человечески мне невольно ближе раннее, светящее становление, «утреннее» свободное время, а не время периода расцвета, когда работа и эмпирия свободного времени как свободного становления, становится обыденной, и чудо объяснено и даже освоено, что происходит, случается не случайно каждый раз в обучении, хотя и необходимо, и пока ещё не свободно.)

Тут приходится вернуться в «возвратные» (как тиф) и преодоленные формы новой телеологии, создавая цели, уже преодоленные в качестве побудительного принципа, превращённые из превращённых форм, возвращённое необратимое, сотворённые в качестве муляжа мотива и соблазна.

Это как учить молодость молодости и преодолению трудности, когда цели формируются не по необходимости или нужде, а по прихоти, хотя и не от скуки, но скуки ради, потому что это по-первой и скучно, и трудно невыносимо, хотя бы потому, что «потому что». Тут надо ещё справиться со своей волей и захотеть что-то делать.

Происходит не только «абсолюция», отрешение. Всё что попадает в свободное время либо уничтожается, как чуждая природа (включая и разрушение самих слов «природа», «мироздание», «развитие» и прочего, опустошая их значение, что тонко заметил Поль Валери, хотя от того, что мы считаем природу превратностями речи, оставляя слова словам, гран-

диозность происходящего не зависит, как ни называй. «Чистота и строгость Не-человеческого» в пыку «гибельному Неясному», «разрыв между словарём обихода» и «сводом чётких идей», «искусство создавать науку» откладывается на неопределённый срок, либо переосуществляется, приспособливается, чванство, заносчивость, а теперь ещё и наглость человека будет его макать в собственные нечистоты не потому, что он дерзок и зарвался, а потому, что он не достиг самого себя, не пришёл в сознание и не соответствует своему понятию. Всеобщее развитие даёт сбой, потому что человек не стал человеком, грубо говоря, не выполнил своего предназначения во всеобщем развитии), или сопротивляется разрушительной турбулентностью, потому что ещё не время, не пора.

Сложность ещё и в том, что любая частность, любой фрагмент, даже любая ущербность начинает действовать как форма форм, доведённая до абсолютности. Как-то не учитывается, что здесь, когда воля разрастается до абсурдности, приходится считаться с тем, что она не захочет перемен и беспрестанного изменения в развитии. (То есть, в раже творческого «героического энтузиазма» воля может впасть в крайности: с одной стороны, в самоубийственном порыве исчерпать себя дотла в действии, с другой — замкнуться на самое себя в культе «личности», в безмерном самоуважении, почитании своего «я».)

Захочется остаться в противоречии и не пожелать совершенствоваться до свершения. Остаться в вечном интеллигибельном созерцании. Например, мне не хочется идти дальше Кузанского и преодолевать его, я вполне согласен и хочу остаться в интеллигибельном созерцании, потому что это «красиво». Мне он не нужен, как аргумент, в качестве доказательства — меня всё это устраивает.

Тут нет принуждения к действию, переосуществлению, разрешению противоречия — я хочу остаться здесь. Ощущение: «всё, я пришел», и пусть будет вечная весна. Это «сущее бытие», «форма форм».

О форме форм, я полностью согласен с Кузанским, до зависти: «Следовательно, “сущим бытием” (прим. 51) или “бытием-бытийственностью” (*esse, quod entitas*) именуется для нас форма форм. Никакой форме не свойственно сущее бытие, кроме той, которая полностью отвлечена и совершенна до такой степени, что она уже свободна от всякой ущербности. Поэтому всякая форма, которая не есть абсолютная сущность, может быть более совершенной. Бытие же, которое есть сущность, является совер-

шенством всякого бытия и тем самым охватом (*complicatio*) всех форм. И если бы сама сущность не дала всем формам формирующего бытия, они никогда бы его не имели» (О возможности-бытии (*de possest*) // Кузанский Н. Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. С. 175). И не могу надыхаться. Хотя понятно, что Кузанский имеет в виду Бога с его «Я есмь сущий», «Я тот, Кто Есть».

Да в том-то и дело, что это и есть упомянутая «малая теодицея». Когда «божественное состояние» становится обыденным состоянием жизни на пределе, как та самая полнота бытия, и ты видишь, а главное, чувствуешь и ощущаешь это во всем, независимо от того, истинно ли то, или ложно — тебе всё равно, ты в этом отношении пребываешь, без всякой цели и прагматизма. Тебя не интересует ни результат, ни решение проблемы.

Я бы оставил пафос, поскольку этот процесс вещания скучный и унылый. Помпезность современной претензии на философию, при всей демократической развязности гипотез, примитивна и отличается отсутствием фантазии, крайней вульгарностью. И ничего с этим поделаться нельзя. Тут цепляются за мифические правила поведения, соответствия, «самоидентификацию» и прочий хлам.

В чём-то действовать по-человечески в этом случае — представляется более высокой задачей, чем становиться человеком в будущем, если оно есть. Тут требуются мужество, воля, честь, если хотите.

И дело не в том, где их взять, а в том, каковы критерии человеческих чувств, и нуждаются ли они в критериях? Да и какие критерии свободного времени и действия в соответствии с ним, если даже искусство потеряло ориентиры, а философия занимается пустым лепетом языка, который воспроизводится произвольно?

Формальная логика, логика машин, сводит всё к бесконечно комбинаторике в психологии, постановкой заведомо ложных вопросов, вроде некогда пресловутого «вечного двигателя», например, о создании «искусственного интеллекта», этики во взаимодействии с машинами и прочей ерунды, вроде поисков гена счастья. Давно пора перестать их рассматривать. Хотя за этим скрывается та же плохо прикрытая идея, как научится эксплуатировать человека и управлять массами. Как и в случае о мифических «элитах». Какие же это элиты! Это отбросы. Но «правед-

ный гнев» немногих тоже направляется в нужное русло и используется с той же бесцеремонностью и безразличием, как использование энергии потока в выработке электричества.

Теряя условность, свободное время становится безусловным. Ты наталкиваешься только на собственные пределы, и это беспощадная дуэль с самим собой, где один из вас должен погибнуть.

Ничто оказывает тотальное сопротивление, и всё зависит от твоей воли, которая подавляет, прежде всего, тебя. Оно стремится к пустоте и исчерпывает твои возможности. Это хорошо видно на примере искусства, которое боготворит беспредметность.

Предметность понимают, как «фигуратив». А она — отрицательна. Она не «вот», не «это», не «дазайн» и даже не «дизайн». То же и в философии, которая стремится превратиться в чистое мышление, а потом и вовсе перестать мыслить.

Свободное время не принуждено, оно не может быть по нужде, но бывает. Если всю историю представить как развитие, освобождение от свободного времени, то сначала оно пребывает в своих случайных формах, потом в необходимых, а следующие — освобождённые, *освобожденные*, и свободные, настолько, что свободное время теряет смысл — всё время свободно.

Но в снятии эти формы становятся одновременными, теряют последовательность. Следуя свободному времени, мы только и можем последовательно прийти к непоследовательности.

То есть, с одной стороны, история свободного времени исторична, а это значит, преходяща, и свободное время не имеет ничего общего со своими историческими формами, но с той же самой необходимостью оно может становиться в формах опосредования превращённых форм, в недоразвитых и извращённых образованиях, самообразованиях. Хотя оно всегда осознаёт и презирает то, что вынуждено продаваться, свою продажность, хотя втайне меряет себя стоимостью.

Это не его природа. Пребывая в форме рабства, как вещь среди вещей, в форме наёмного труда, в форме стоимости, «ценности», свободное время, — где только и может по истине развиваться человек, а не принимать химерные формы, которые, как комедию положений, изучает, а вернее, классифицирует эмпирическим путём психология и феноменология, — представляет

стремление и стремительность к иному, но всё же к себе. Оно развивается в себя. Импульсивно, как взрыв вовнутрь.

Тогда правомерны, в очень ограниченных пределах, например, пребывание в искусстве, глядение, глаzenie на природу времени во всех его проявлениях. Давно известно, что пространство и время — не кантовские априорные формы внешнего и внутреннего созерцания, но в случае с искусством это работает.

Как и психофизическая проблема. Полнее можно задаваться вопросом, каким образом (образом и каким) мышление присоединяется к протяжённости (как образуется пространство, как зреет зрение, временит время), и как образ происходит в длительности (в сущности, что такое время), всё это исторические приключения, авантюра самого свободного времени, которое всегда в ином, и образ действия — в конце. (То есть, любой неправильно поставленный или уже решённый вопрос, поставленный заново, может дать неожиданные решения и вполне приемлемые результаты. Особенно в искусстве и философии. То же свободное время можно представить, как чистую музыку развития, буквально, или рассматривать как математику наличного бытия.)

Образ действия свободного времени не сводится к опредмечиванию/распредмечиванию, тем более к овеществлению, не сводится к констатации наличия, фиксации опознанности, хотя, когда предел преодолён, ясно видно, что это — оно, свободное время, но и не одно, потому что мелькнуло и показало, что суть его не в этом. Свободное время не схватывается, оно спхватывается... иногда. Чувствуя, что оно иное, другое время. С ним глупо ставить вопрос: «что такое свободное время?»

Свободное время можно при желании представить как наличное бытие становления. Я не раз твердил, что единственное утверждение, что онтологически, а не только в духе *становление вне пространства и времени* составляет сущность становления в отличие от развития, которое всегда в пространстве и во времени, которые само же и создаёт. Так вот, сказать-то можно, и тем более представить свободное время как предметное бытие становления, и это даст интересные красивые идеи и восхитительные образы, но истине они не будут соответствовать. Свободное время, да и любое время, очень похоже на становление, и многие путают и путали, причём охотно, но это по истине не так — только похоже, хотя «если нельзя, но очень хочется,

то можно». Свободное время испытывает непреодолимое желание превратиться в становление, растворившись в нём, как в своём основании, ведь оно — последнее время и стремится утратить временность в единстве бытия и ничто, но тогда оно перестанет быть временем и свободным. Этот момент превращения происходит каждое мгновение в свободной деятельности и так, это естественное противоречие, как жизнь. (По крайней мере, уже сейчас становление и свободное время «действуют» как эстетические категории.)

Не то, чтобы нельзя познать и даже описать — очень даже можно. Непонятно, что с этим делать, как действовать. Как возникает и зреет зрение? Как образовывается образ? Такие вопросы возникают во множестве.

Например, что такое смех? Описать можно, и описывали. Но зачем и почему? Не смешно. Так что даже праздность и лже-свобода, произвол могут иметь отблеск, оттенок свободного времени и химерного действия с ним.

Но знание о свободном времени всего теряет свободное время. Оно не схватывается, не снимается, ускользает. Оно устареваёт, и его старение — предмет науки. (Ещё Макс Вебер писал о том, что книгам свойственно устаревать, но смысл науки в этом. В том, чтобы тебя превзошли. И как можно скорее. За исключением того, что книги устаревают не потом, через какое-то время, а до того, как начинаются — это чиста правда — Вебер очень остроумно выкрутился, обеспечив себе оправдание, потом эти книги теряют своё значение и обретают художественное, а после эстетическое значение — как с восторгом и упоением читается устаревшая книга Тимирязева «Жизнь растений» или листается Фабр с рисунками, хотя фотографии и лучше, и точнее. Так какая-нибудь утилитарная вещь становится со временем произведением искусства.)

Но так с тем, что считается наукой — чувства не устаревают — они неповторимы, но почувствовать радость когдашнего открытия почти невозможно. Иногда только удивляешься, что кто-то ошеломлён был этим впервые. И, наверное, сердце чуть не разрывалось, и восторгу не было предела.

Этого не понимают: «а что тут понимать?» И никто не видит, что длительное пребывание в затхлом воздухе формации, которая себя изжила, заставляет воспроизводить эту затхлость. Это как нескромное ощущение, что ты создан для другого. Пресло-

втуое противоречие сущности и существования, которое на самом деле ложная апология оправдать своё жалкое положение того, что «ты как все», найти основание своего плебейского компромисса с современностью.

Самое чудовищное, что свободное время, при всей своей бескомпромиссности, — самый страшный соглашатель, само себе компромисс. Оно снисходительно позволяет всё. Тебе дано всё: и действие по человеческому типу, по законам красоты, и бездеяньность (хотя недеяние даже на Востоке — страшно трудное деяние, какие порой силы надо вызвать к жизни, чтобы удержаться в бездействии). Никаких причин, чтобы быть или не быть. Никаких «отмазок», что тебе не дали, не было условий, возможностей, оснований. Только ты сам со своей деятельностью, и твои пределы. Положенные тебе самим собой. Вот где страшно по-настоящему — негде укрыться. Но если ты откажешься от всего этого, то тут — тоже жест твоей свободы. «Отказ, восхождение в одно и то же» (Хайдеггер) — это «возвращение» в тоже самое, успокоение, на круги своя, а в сущности это смерть (Хайдеггер не договаривает, у Греков: «вдруг» — «начало» — «пребывание» — «выход в инобытие» — «инобытие инобытия», и возвращение, которое однозначно — это прямая смерти. Конечно, так прочитывается). На самом деле в свободном времени ты несёшь полную ответственность не только за то, что ты сделал, но и за то, что не делал: за весь Универсум, за свободу, красоту, свободное время... за всё.

Меня как-то поразило, что, слушая десяток часов кряду композиторов, которые считают себя самыми-самыми в современной электронной музыке, я ощутил мертвечину и тоску, будто полизал медный электрод, хотя я «сочувствую» (и соучаствую) современным авантюрным изысканиям и в искусстве, и в философии, и вообще в науке. На самом деле, уходят в чистую физиологию, искренне полагая, что суть музыки в этом и есть. Думая, что музыка — это организация звуков в слышимом диапазоне, они совершенно искренне полагают, что сводится всё к ощущению. Это вызывает жалость, как человек, отправляющий нужду, но по болезни — хождение под себя. И даже сочувствие. Но суть музыки не в инструментарии и тем более не в комментарии.

Так и со свободным временем. Оно может быть всяким, и выполнять не свойственные функции, может принимать

причудливые формы, быть всем, притворяться и прикидываться. Скрываться, или, напротив, демонстративно быть собой ради себя. Знать не значит стремиться, хотя без знания дела свободное время не материализуется. То есть неподвижным, неподвижно, оно не развивается, и становится жалким и жадным. Небывавшим.

Так что восстановленный кусок из предыдущей книги (он не был опубликован и не попал в «Шестую. Пасторальную» по прихоти компьютера) — своего рода привой (тоже мне, юный мичуринец), очень кстати, поскольку внезапно обнаружил, что всю жизнь писал одну и ту же книгу. Это всё о том же, даже если бы совсем не писал. Свободное время куда исследуется в его несбывшесть, предстоянии, но оно непредвиденное, хотя и предполагаемое. Введение к небывавшему.

Тут вновь возникает тема, которая уже была, и не однажды. Она, как тема в четвёртой симфонии Брамса, возвращается в своей неповторимости, как тоска по несбывшемуся.

О несбывшесть Паустовский вспоминает, что его отец говорил: «Несбывшесть труднее переживается, чем небывавшее». Или он приписывает это отцу. Свидетелей нет. Мы вообще верим на слово прошлому. А оно его обычно не держит. Держит само прошлое, а внешность его — это односторонность восприятия его, якобы, содержательности.

Но и бывшее воспринимается не как незабвенное, а как самозабвенное, и тоже как небывавшее. Об этом забвении говорил Поль Рикёр в своей книге «Память, История. Забвение». Мы забываем и мучительно пытаемся вспомнить то, что уже «никогда» не было и не будет. Или, наоборот, хотим забыть и не можем. Но и прошлое забывает нас. Мы — его будущее. Было ли, не было ль. Мы сочиняем прошлое, как будущее.

Представляю, как бы удивились жившие когда-то, если бы узнали, что о них напишут, и как будут воспринимать и комментировать события их потомки. У нас легендарное отношение к прошлому, которое — просто кривое зеркало, являющее нас, так что отблеск падает и на настоящее, придавая ему приличный вид. Настоящее — всегда как прошлое. Оно как будто воображаемо и немножко литературно. И будущее — перевёрнутая проекция прошлого: с одной стороны, оно — ещё не бывавшее, и негативно, как то, чего не хватает настоящему, а с другой стороны, оно «одно из двух»: либо желаемое, чтобы было как когда-то, либо нежелаемое, чтобы, как в прошлом — никогда не повторилось. Но повторяется. А вообще, хочется «полноты бытия», когда свершаются все времена, и прошлое, и бу-

дущее исполнены настоящего. Когда нет ничего невозможного. И задыхаешься на разрыв лёгких. От счастья.

Вся жизнь человеческая — против времени. Не только против течения, но временем — восстание против силы тяжести, и вертикаль — стремление ввысь, хотя высь и условна. Безусловна только испулённая страсть, когда выныриваешь, задержав дыхание, туда, к свету. А если вспомнить, что тяжесть — природа света (по Шеллингу), то время, в сущности — тень света, оно как архитектура, которая копирует растения и выстраивается против притяжения. Но ведь тянется. Человек сотворяет и отворяет своё прямохождение, и обретает своего рода осанку времени. Свет останавливается, оплотняется в наличном бытии, которое — замедленность его, превращение, ворочание. И тут хочется уйти, и не воротиться. Наличное бытие — исчезает, рождая своим прохождением время, освобождая его и движение, поэтому время — тень света, его окраина, его «сейчас» и больше никогда. Тень падает, парит. Это самое «мгновение», которое может длиться (литься) вечно, и оставаться мгновением. Длительность вечности, её ритм и размер, шаг. В этом — неповторимость и невозможность, потому что мгновение никогда не бывает «потом». Оно — всегда и «как и прежде».

Невозможность заманчивее, чем самая запредельная возможность. Бывшее тоже мерцает провалами, как «вдруг». Несбывшее и нерождённое, как свойство самогипостазирующей души, пребывающей в становлении и «вдруг» почувствовавшей это — чувство становления, как чувство роста — бытие единой и не единой, многой и немногой, сущей и не сущей души, как формирование внутренних причин, ощущает себя, что ему нечего больше желать. Прошлое является «вдруг», как старость, как наступившее будущее. И это непоправимо.

Прошлое — это то, в чём хочется остаться ради будущего — оно так же фантастично (фанатично) и непостижимо, хотя будто бы предопределено и двоится: с одной стороны, оно сбывшееся, прошлое сбывшегося, но оно и прошлое несбывшегося.

Прошлое растраивается на прошлое будущего, прошлое настоящего и прошлое самого прошлого. И всюду оно утопично, мифологично и призрачно. Здесь такой простор и сказочная территория домыслов, что можно заиграться и остаться навеки, решая, а как могло бы быть, если бы.

Одна опасность, — любая фантазия обретает действительность, во-ображаясь. Особая тема — воображение фантазии.

Но не это главное. Фантазия невозможна, и мы можем помыслить только наощупь, почти эмпирически, нащупав негативные пределы. Фантазия не запредельна. Она избирательна и порождена нуждой настоящего. И вот когда свободное время становится выражением и вырождением этой нужды, предметом заботы, тогда появляются мифы избавления, неверного, зыбкого забывания и отречения. Ищут упор, от чего отказаться.

Ставшая, казалось бы, непререкаемой и очевидной сентенция Игоря Ильина, уже упоминавшаяся в прошлом (она, как рефрен, каждый раз звучит по-разному), стала видимостью именно благодаря очевидности, когда её заново открываешь. При каких условиях «Всякая определённая исключает, всякая направленность оставляет в стороне, всякий отбор отбрасывает»? — Что значит идти? «Идти — значит проходить мимо!» — Хотя мы идём, как правило, к цели, даже когда бесцельно, и цель эта — негативна, это то, что не хватает, вернее, хватает и тащит, изгоняет из себя и не оставляет в покое — «или мимо проходит, сквозь нас, или осторонь». — А почему? И как знать, что мимо, и что потеряли? Мимолётное тоже принадлежит движению и участвует в нём, иначе это было бы простым перемещением — это, путь, «долгая и счастливая жизнь», но иногда его хочется сократить, скоротать дорогу и время пути до «вдруг», и очутиться, как очнуться, в ином. (Как иногда хочется перенестись, скажем, побывать в галерее Уффици или на греческих островах архипелага, но сразу, мгновенно и так же внезапно вернуться, как проснуться. Вот так же побывать в небывавшем, в другом времени, в другом себе, хотя этого как раз с избытком, но мгновенно, упиваясь мгновением, без тягомотины.

«Минута минувшая минет» (Цветаева), да ещё со всеми эйнштейновскими искривлениями времени-пространства и сокращениями Лоренца — может быть, только один раз, и только один раз — повторяясь в неповторимости, и то, мимолётность оно «навёртывает» на себя, как пряжу на веретено жизни, которая вращается. Прошедшее — вокруг. Оно вращается, предстоит, проходит мимо и удалятся. Она — сама эта даль. Хотя может быть падалью. Близкой, и почти родиной, может быть только даль.

Не запредельное — недостижимо и несбыточно, а даль, которую создаём и которая виднеется, видится — невозможна. Невозможно прекрасна. Толкиен говорил: «Мне никогда не удавалось войти в даль, чтобы она не превращалась в окружающую местность» — только и делаю, что создаю такие дали, и это прерогатива искусства — они никогда не превращаются в окружающую местность. И тут обрушивается всё сразу: и Рильковское : «Даль прямо в лоб». И Хайдеггеровский «просёлок» по которому «странность» странствует, как жизнь, жизнью — «тень условий и обстоятельств», и простор, данный сразу и подаваемый как тянущийся, длительный путь за горизонт мыслимого и немислимого. Уход, возвращение и отказ, развёрстость, распахнутость, необратимость, делая даль близкой и оставляя даль нетронутой. «Близость хранит даль» (Хайдеггер, правда, это о вещи, которая веществуется, поэтому близь правит в приближении, как веществование. Это не так, вернее, не всё: она может править пространство, но есть иное дыхание. Второе. После исчерпанности.

Жизнь единична и неповторима, она стремительно закукливается, создавая, сплетая кокон пространств, и здесь уместно измерять кривизну пространства —

оно не линейно — и угловую скорость происходящего, сомневаясь в статике несбывшегося. Спин жизни. (Модные сейчас игрушки — спиннеры как раз дают овеществлённое представление глупости и случайности жизни.)

Это — метафора, но хоть мимолётно схватывает, что несбывшееся вращается вокруг нас, не покидая и стремительно развёртываясь в никуда. Иначе как бы мы знали о тех возможностях, которые оставили? Или тех, которые покинули нас? Упрощая: развитие происходит нелинейно, оно во все стороны и в каждой точке, в каждом фрагменте. Поэтому Вселенная так же расширяется, разбегается, как и сбегается. Но что из этого может произойти?

«Вот почему свершение в искусстве предполагает несовершенство оставленности в стороне — всего того, что лежит вне круга проблем и возможностей однажды принятого, сложившегося направления». В сущности, никакого свершения в искусстве нет. несовершенство не означает совершенства сделанного. Оставленное — отстранённое, не оставляется, оно — пейзаж и фон, и в какой-то степени незабвенное. Оставлено в потенциальной бесконечности и не знает унижения воплощения и позора воплощением.

Свершение происходит спонтанно, вдруг — замысел был в другом. Вопрос — в признании-непризнании. Оно всегда могло быть что угодно и чем угодно, но вот сделать его очевидным... Тут в свои права вступали законы развития самого видения, восприятия, границы рассудка, и оказывалось, что искусство существовало по необходимости, — у него очень средний вкус, — только становящиеся чувства могли преодолевать барьер, предел предзаданности, цели, возможности, сами того не зная. Всё делалось, как всегда, как обычно, современно, своевременно, как положено. И только потом оказывалось, что это ещё и прорыв в иное.

Вся современность — барьер воображения (в музыке — звуковой, а в зрении — световой), и чувствовать, что это не все, что-то не так — тосковать по тому, что не случилось, не сбылось и о том, чему имени нет, переливаться через край: «но и я был переполнен миром, и мой мир через меня пролился» (Рильке) — дано очень не многим. Их исступление — от полноты бытия, которое со стороны может показаться безрассудным.

Это действительно без-рассудно, рассудок с его унылым представлением о жизни тоже может впасть в экстаз, у него свои чувства, опять же, и воображение — всего лишь его предел. Но воображение, как *то-же-самое*. Как та же граница по ту сторону принадлежит и разуму, как беспредельность, безмерность и ещё в большей мере — чувствам в их бесконечности.

Вся современная музыка, и та, которая не создана, присутствует уже не только в Бахе, но и со времени существования музыки, появления слуха.

Вся живопись растворена в отношениях света и тьмы, которые определяются мерой видения, которое, конечно же, не сводится к тому, что глаз — оптическая

система, созданная солнцем: «Глаз солнцеподобен» (Гёте). Мы могли бы видеть фасеточно (часто так и видим, как насекомые), расфасованным, взвешенным зрением, или в ультрафиолете, в инфракрасном излучении, а часто видим благодаря развитию науки. Инструментарий — не просто вещь — это процесс, который сам превращается в сущностную силу, и тут сам органон становится производением искусства, помимо всего прочего. Эта целесообразность эстетизируется, и помимо функциональности становится не только предметом дизайна, но и просто обожания.

Прекрасное, как вещь, совершенная в своём роде, позволяет себя любить по-человечески. Но к красоте относится односторонне, стремится, из «формы лезет», тогда как красота равнодушна и в лучшем случае освещает вещь, падающей, выступающей на свет. Прекрасное светится не своим светом и всегда абстрактно красиво в единичном отношении (которое может в своём роде обладать своей полнотой и неисчерпаемостью).

Всё кино — персонифицированное движение, ну и прочее по отношению ко всем возможным проявлениям искусства. Я намеренно утрирую, поскольку, если учитывать все оттенки, то будет серость. Любой оттенок, ответ — равноапостолен (шучу). Он уже не вспомогателен. Здесь нет доминанты основного.

Искусство ничего не выбирало, у него нет выбора. Потом выбирало, из того, что есть, в несвободе выбора. Развивалось то, что казалось, оказывалось. Оно было показательным искусством, случайно принудительным. То есть оно возникло по необходимости, не как искусство, а становилось собой по капризу случайно, освобождаясь от своей служебной роли. Сама «оставленность» и «прохождение мимо» возникают тогда, когда можно было бы позволить себе роскошь от чего-то отказаться, сама несбыточность возникает только тогда, когда достижимость не требует тотального снятия.

Сейчас, когда в старой форме Искусство представилось, впрочем, как и наука (которая вознамерилась стать производительной силой, и стала, но не вполне) и философия, занимающаяся чёрт знает чем, и всё остальное — всё вышло из берегов и утонуло в сиянии, в свечении.

Сорванное с мест, всё не имеет тенденции и интенции к синтезу, — для этого нужна свобода, в форме свободного времени, — но всё же образует диковинные сочетания химер, смешиваясь в самые немыслимые соотношения.

Они превращаются, но не знают, во что. Главное, теряя определённости, искусство, наука и философия превращаются друг в друга, в нечто ещё не ведомое. Хотя процесс может каждую минуту замереть.

Главное, что они не выбирают и не отбрасывают, тяготя к одному направлению, но тащат все возможности с собой, на всякий случай. Искусство, наука и философия — уже на всякий случай — есть некоторый зазор, неучтённое пространство свободного времени для манёвра.

В этом смысле «несовершенство весьма специфично для данного вида искусства и способно пролить свет на его тенденции». (Не проливайте свет — это расточительно). Тенденции никого уже не интересуют, а если интересуют, то не для того, чтобы объяснить, а — чтобы совершить, воплотить небывавшее. Поэтому так лихорадочно роются в отработанном времени, на свалках истории, выискивая в утиле то, что можно приспособить, назвав красивым словом «винтаж». Ясно, что ни философия не устаревает, ни искусство, но одно дело, когда они живые, а совсем другое дело, когда используются как артефакты, или вообще, словно предметы роскоши: и условно, и дословно. Даже философия может функционировать, как вещь, в качестве ложного доказательства, например, как тошнотворное «знание», как «железобетонный аргумент», становясь идеологией — это её проклятие.

«Говоря о неосуществлённом, несовершенном, отброшенном, оставленном в стороне, мы говорим не о чём-то случайном, не важном с точки зрения истории искусства, а напротив, о самой истории искусства, раскрывающейся теперь перед нами с обратной стороны. (Хорошее название — «Обратная сторона искусства». — А. Б.) Неосуществление сплошь и рядом оказывается полным смысла и значения. И если в процессе своего многовекового развития человечество не раз возвращалось к античности или Возрождению, к примитивам или средневековью, не возвращалось ли оно к тому, что не нашло у них осуществления?» Всё, о чем говорит И. Ильин — изумительно.

Но современное искусство и философия — не те, которые господствуют на рынке — а те, которые соответствуют тому уровню развития, который мог бы быть, если бы подходили к этому сознательно. Это касается и уровня развития чувств, где они — чувства самого чувства. Здесь искусство и философия не перед выбором, что — выражение крайнего уровня несвободы. Выбор- несвобода. Они впервые могут что-то желать, хотеть не в смысле обладания, когда дан объект, а в виде сбывания невозможного. То есть, пусть робко или от отчаяния, но создавать те чувства, которые не привязаны к предметности.

«Всё, что не было создано в прошлом, что представляется нам как “прошедшее несовершенное”, imperfectum, оказывается материалом, подлежащим дальнейшему воплощению, становится настоящим и будущим». — А каким образом? И что там с настоящим прошлым, совершенным и совершённым? Которое утрачено безвозвратно и не знает, что оно — прошлое? И потом, в знакомом, обжитом прошлом, где мы как у себя дома, есть иррациональный остаток непостижимой тайной жизни, которая нам недоступна, хотя, казалось бы, вот она, в пределах досягаемости, она видится, кажется, мистифицируется, мифологизируется, воображается, является источником вдохновения, отчаяния, вдохновением отчаяния, выдаётся желаемым за действительное, и эту действительность обретает — как хочется найти в прошлом подтверждения своей действительности!

Время ничего не понимает и ничего не судит. Оно даже не способ прехождения (прохождения) бытия. Свидетельство, и не о рождении. История тоже сомнительна. То, что нечто происходит — ничего не доказывает, хотя и пытается вещать по-истине, от её имени, её именем. И не новость, что люди преследуют свои цели. И искусство в целом — бессловесно и безмозгло, полностью подчиняется стадному инстинкту быть во что бы то ни стало, идя по пути наименьшего сопротивления, и в этом теряет цель, становясь бесцельным, но целостным. Но суть-то его в ином.

Несмотря на различные формы и превращения, искусство суть самочувствие человечества. Умерев формально, выполнив все ритуалы по своему профессиональному отпеванию, — уж лучше я сделаю это профессионально, — оказав ритуальные услуги как распорядитель похорон, оно с наслаждением, упиваясь торжественностью момента, участвует в этой мистерии «Похороны искусства», страшась того момента, когда ему придётся вернуться в непосредственность чувствования, не прячась за превращёнными формами, которые можно менять по-сезонно, линяя и занимаясь только внешностью.

Да, современное искусство и философия только отражают гниение современности, схватывая саму суть гниения. Да, гниение и смерть происходят не по законам диалектики и являются зряшным отрицанием. Но истина в другом, даже если их время никогда не наступит.

Перестав быть формой общественного сознания, искусство стремится просто стать непосредственным чувством человека, единым чувством, как философия — вернуться в сознание и мышление. Пока же они пребывают в своих отчуждённых формах классической «идеологии», являясь в форме принуждения и подавления. Они навязываются добровольно и стремятся сохранить своё превосходство. С одной стороны, идут за потребителем, плебействуя и пресмыкаясь, с другой — диктуют вкусы и пристрастия. (Впрочем, об этом много написано, тот же Барт, «Система моды».) Тоже забава для осмысления, но скорее это кормушка для прикладной социологии и психологии, работающих над увеличением спроса.

«Сама оригинальность таланта является иногда способностью обратить внимание на то, мимо чего человечество прошло. Художнику подсказывает не только то в истории, что нашло себе осуществление, но и то, что осталось неосуществлённым. Чем больше человечеством создано, тем больше ему предстоит создать. В этой неисчерпаемости — залог великого будущего искусства» (И. Ильин. История искусства и эстетика. М.: Искусство, 1988. С. 97–98). Что подсказывает художнику — это ещё вопрос, он может быть совсем дремучим, как Моцарт. Мотивы у него охватывают весь диапазон желаний, которые выработаны, приурочены историей к этому моменту, который может быть неурочный, нарочный, нарочитый.

Вопрос в том, что в свободном времени он может желать не желанное или то, чему ещё нет оснований. Он может желать то, что является ему, когда ему нечего

желать. Хотя никакая фантазия не выходит за пределы действительности. Вопрос, как быть? Что желать «по моему хотению»?

Но великое будущее искусства и его неисчерпаемости зависит от того, насколько человечество сознательно перейдёт к иной форме общественного богатства, иначе превращённая форма стоимости задушит его. И превратит в то прошлое, о котором мы не знаем. Мы же помним только то, что обрели, а то, что утратили безвозвратно, оно — абсолютно сбывшееся.

Так что эта жизнь, основанная на стоимости, рискует сбиться совсем, начисто, если не перейдёт к свободному времени свободно. С несбывшимся мы утрачиваем и ту силу, которая была перво двигателем истории, некоторое время мы ещё будем двигаться по инерции, на ротации, а после всё замрёт или, наоборот, форсирование обращения приведёт к тому, что история пойдёт в разнос — выбор невелик. Единственная возможность — сменить источник движения.

К слову сказать, в неявной форме вырисовывается проблема освобождения несвободного времени, его преосуществления, но и пресуществления, переосуществления, и превращения в не-иное-другое, но не повторное, потворное, вторичное сотворённое, тварное, — и всех иных времён, не только в восприятии.

Например, мы, естественно, иначе воспринимаем и Возрождение, и Античность, и Средневековье, и Новое Время, и даже наших современников. Предполагаемые творения будущего — достаточно посмотреть фантастические романы или фильмы не вековой, а всего лишь десятилетней, нет, прошлогодней давности, — не только фантастические, — без смеха или улыбки всё это не воспринимается. Мы к самим себе относимся снисходительно, и наше восприятие изменится по мере восприятия.

Но только ширпотреб (Ширпотреб с большой буквы), гениальные произведения, не устаревают, хотя наше новое восприятие ничего общего с ними не имеет. Классика снисходительных улыбок не вызывает, однако охотно, язвительно приемлет к себе покровительственное, свысока, отношение. Классика — без последствий, она не имеет «потом», хотя и оставлена на потом.

Думаю, Маркс очень удивился бы, посмотрев, как его трактуют. А дело не в трактовке и не в реставрации идей. Каждый фрагмент — «бесконечная книга» у Борхеса — неисчерпаем.

Свободное время как историческая практика диалектики. Исторические формы свободного времени. Снятие свободного времени основанием. Живой труд и утрата трудовой формы. Форма форм и исторические пределы (в исторических пределах, историческими пределами) диалектики. Опредемечивание и распредмечивание — «псевдоморфоз» свободного времени, которое по старинке путают с овеществлением, точно так же, как свободное время с праздным и временем досуга. Развитие свобод-

ного времени. Свободное время — «больше», чем его может быть. Время всегда больше, чем «может быть». Бывание превосходит время. Так что свободное время — превосходное. Оно не вполне время и то же время всё время — как таковое. Необходимость свободного времени и его возрастание до бесконечности. Поэтому я и говорю о времени каковом и таковом. Вечность, в которую превращается, впадает свободное время. Становление — вне времени и пространства, как единство бытия и ничто, и так далее — всё это история свободного времени в его «буржуазности» — это «прошлое» время, которое, втягиваясь в деятельность, освобождается и превращается в свободное, условно говоря, вторичное свободное время, которое может вступать в противоречие с непосредственно произведёнными необходимостью, живым трудом. Можно даже говорить о «rente» свободного времени, и первой, и второй, но это уже перебор. Хотя эти «свободные времена» имеют место и вступают в известные (и неизвестные) противоречия, порой как антиномии, иногда как апории, приобретая замысловатые оттенки и рефлексии, и стремясь к исчезновению формы наличного бытия вообще — так было всегда, но теперь очевидно, «что» «это» — формы движения. То есть мы имеем дело с многоукладностью времён — здесь и превращённые формы, и возвратные формы, переходы и превращения, как частные случаи становления. На этом, кстати, «паразитирует» эстетика.

В сущности, всё, что написано по поводу гибели искусства, философии и т. д. — гибель только с точки зрения рассудка, а на самом деле превращение и переход, снятие в едином становлении, которое — развитие не от наличного бытия к наличному бытию, а от ничто к ничто, о чем упоминал ещё Гегель, сходные мотивы есть и у Прокла. Но здесь в современности властвует не диалектика, а эклектика, создавая свалку саморазлагающихся форм. Диалектика — это жизнь. Смерть — метафизична.

Если мне что и можно вменить в вину, так это не опубликование, условно говоря, «общей теории свободного времени». То есть знал и молчал. По каким-то соображениям: то это преждевременно, то не хотел компрометировать идею, то ещё почему-либо. «Но только ложь, но ложная тревога, но выдумка, но мнимая вина...» (Гёте).

Можно пространно рассуждать о том, а возможна ли всеобщая теория свободного времени вообще? Да только она и возможна. Но всё это не область теории, а практический вопрос. И это тот случай, когда «практика — не критерий истины, по крайней мере, не в воплощении. То, что она может натворить (натоварить) — ещё не делает её действительной. Хотя всё укладывается в ошеломляющую формулу Маркса: «Свободное время — пространство человеческого развития». Сам Маркс считал, что он успел написать «количественную историю времени», а есть ещё эстетика, то есть «качественная» история, которую он только предполагал изложить, но не успел. Хотя это — формально.

Поскольку вся история — борьба за свободное время, которое всего лишь время перехода, оно же предел, потому бессмысленно даже ставить вопрос о количестве и качестве (равно как о субъектно-объектных отношениях, вообще о парности категорий) — эти категории здесь не работают, как и их отношение — мера. Да и само время, форма и весь категориальный аппарат «донашивается». Все возможные формы, образы действия — уже исчерпали себя, и для «превращения» могут быть только само-разрушающимися,

исчезающими, приблизительно как металлический лом, тающий и превращающийся в жидкое состояние в конверторных печах. Сравнение неудачное.

Здесь — уже не трансформация, а транскреация. Творение из ничего. Поэтому свободное время может всё превращать в чувства. Оно — катализатор. Более-менее ясно, как происходит, что чувствуют не только музыку, живопись, философию и т. д., но и музыкой, философией, живописью и т. д. — всем существом. Чувства разнятся по предметности, и, избавившись от неё, превращаются в единое. Предметность теряет свою специфику и превращается в сущностные силы человека — но свободно, и чувство пошлости формируется точно так же, как чувство прекрасного.

Так что «чувства добрые» ничем не лучше, чем чувства злые, особенно, когда зло творится свободно, со знанием дела. Времени в его стихии всё равно, что создавать: чувство любви или ненависти, которое тоже очень человеческое, слишком человеческое, чувства и мир будут ущербны на любой оттенок, который будет

уничтожен или утерян. Потеря, «лишённость» тут же восстановит время «ненависти» в полном объёме. Будут сетовать и об утрате низменного, потому что, дескать, всё познаётся через противоположность. Чувства беспощадны и могут быть выражением несвободы человека, как и сама свобода. Они не знают, что они диалектичны, и ведут себя так, как будто они абсолютны. Они тотальны.

Именно работы Э. В. Ильенкова показали, как можно формировать любые чувства человека в их объективности. И это «вслепую» используется. К счастью, или несчастью, диалектика может быть применена только в определенных общественных отношениях, как метод. Сейчас властвует некий симбиоз: «диалектическая метафизика» или «метафизическая диалектика» — «хуч, пенёком сову, хуч, сову об пенёк», поэтому педагогика не «работает» в таких условиях. Пошли по пути вообще ампутации чувств, оставляя их на уровне ощущения, как мышление на уровне рефлексии.

Свободное время не длится, оно по фактуре вечное, даже если существует мгновение. Тут в основе тоже «лишённость», но лишённость не наступившего, несбыточного, преходящего будущего. Будущее исчезает в сбывании. Одно дело, свободное время избыточное, произвольное, другое дело — время, полагаемое сознательно, как предстоящее и совсем иное переживаемое в формах свободной деятельности, как «материя», как опредмечивающаяся, оконеченная, окончательная, единичная, особенная вечность — на самом деле это движение, которое не схватывается, им можно только быть — с точки зрения господствующей формы — оно не нужно. При этом надо учесть, что «вторичное» свободное время, получаемое в результате освобождения в процессе воспроизведения — время орудийное, освобождающееся живым трудом, рождающееся как новое отношение, первоначально иное, и не смешивается со свободным временем, которое полагается производительным, как самоцель.

Необходимое, прибавочное и *свободное свободное* время сами первоначально имеют необходимое прибавочное и свободное свободное время, то есть прошлое, настоящее и будущее. Время «от», время «для», и не-время. Что тоже порождает по инерции «профессиональный кретинизм», то есть приёмы и навыки, действия, со свободным временем не совместимые — действия по

логике, уже исчерпавшей себя, по привычке. Всё это известно со времён К. Маркса, но не принимается во внимание, поскольку не имеет практического вульгарного применения.

В двух словах, необходимое свободное, прибавочное свободное и свободное свободное времена — просто отражение процесса производства — инерция, точно так же, как не свойственно качество «праздного» времени, времени проведения, убиения времени — внешне приложимые качества, ложные действия с иным пространством, «забывание гвоздей самоваром» (Шкловский).

По сути, это зеркальное, размытое, «смазанное» от скорости отражение процесса производства, только роль необходимого времени играет свободное, а прибавочное получается путём самовозрастания. Интенсификации необходимого свободного времени. всё это — одно время. Это не два зеркала, поставленные друг перед другом. Свободное время всё превращает в себя, даже вульгарное время воспроизводства. Знать, как это происходит, недостаточно, необходимо действовать, тогда вопрос не кажется непреодолимым, не является апорией и антиномией.

Экстенсификация свободного времени, в сущности, имеет два основания, но это только потому, что свободнее время как проблема возникает только тогда, когда мы имеем дело с развитым противоречием, с разделением единого. Само по себе оно монистично и понимает это тогда, когда противоречие обрушивается в разрешение, то есть свободное время исчезает в превращении и уходит в основание — никакого дуализма. Единственная странность, что свободное время никого (ни за что) не «спрашивает», «остранняясь». Оно пытается задержаться в этом двойственном основании, в этом противоречии, продлить очарование, «зависнуть» пред тем, как разрешиться. И это одно из восхитительных мгновений — остаться вечно: «Остановись, мгновенье!» Повремени перед исхождением.

Свободное время — время производительное, то есть оно необходимо, как время своего воспроизведения, время производства прибавочного времени, и время, свободное от временности, целиком действующее, поглощённое деятельностью время, которое в этом имеет исток и гибель в производительном потреблении, переосуществлённое, пресуществованное время. Например: — Сколько вечности? — Два часа. «Мне неприятна Батюшкова спесь». Понятно, что эти «два часа» не являются ни мерой свободного времени, ни мерой вечности, и даже, в сущности, не являются чистым количеством. Скорее, тут можно говорить об агрегатных состояниях времени, которое может менять плотность и даже быть в качестве своеобразной «плазмы». И это одно время, неотличимое от вечности. Смысл в неповторимости переживания и всеобщности чувства.

Это время по аналогии. *Покуда-время.* Время перехода, когда свободное

время тулится, жмётся к знакомым абрисам и формам, собой уже не являясь, «и ещё...» — как раз это привитое времени, время-состояния, время времени, извне, внешнее. Пока оно вынужденное свободное время, произведённое в способе производства и ещё не в себе, оно кивает на другого, цепляется иным. Время внешней причины.

Вопрос о том, когда время становится непосредственно производительной силой, хотя бы в форме науки. Последняя — это область знания, не просто подвергающая сомнению (а иногда и осмеянию) свои основания, оспаривающая аксиомы, но и подвергающая свои основания отрицанию, вернее, живущая в отрицании отрицания непосредственным становлением, и этому сообразующая и себя. Поэтому тут нет школьных периодизаций, нет демаркаций, делений по дисциплинам. Здесь нет, собственно, границ между искусством, наукой, видами наук и даже образование не осторонь, как и педагогика с культурой. Всё во всём, как сущее настоящее, и неотлично от жизни. Только моё превращение.

Кроме того, свободное время — не только переходная форма, но первоначально и превращённая форма. Образно говоря, любая форма — превращённая. И, хотя и стихийно изначально (долго избавиться от этого буйства не может), но очень точно, когда является сознательно, как иноформа свободы в ущербной ипостаси целеполагания. То есть свободное время может быть таковым только сознательно, как осознанная необходимость и действие этой необходимости, вплоть до превращения в основание.

И здесь, совершенно спонтанно, свободное время предстаёт произведением искусства. Нет, это не комплимент, не восхищение и не благоговение или похвала — это досадное недоразумение, поскольку сравнение с произведением искусства только подчёркивает, что свободное время ещё находится в отчуждённой форме и требует особых способов освоения и чувств.

Здесь почти по-шеллинговски: покуда оно произведение — разрешение противоречия сознательного и бессознательного, взаимопревращение и — долго и печально, это придаёт долготу свободному времени и трудность его освоению и выработыванию чувств, всё ещё ограниченных по предмету, даже если этот предмет — самодеятельность.

Сетование на то, что такая теория вообще невозможна, поскольку свободное время как пространство — только переходная форма, — справедливы. Любая форма, коль скоро она форма — переходная.

Поэтому и остаётся лишь рассматривать специальные де-

тали, которые раскачиваешь, прекрасно понимая, что это лишь частности. В целом всё ясно: свободное время — это всего лишь форма развития материи, где сама временность, сознательно применяемая есть развитие универсума, где свобода — не самоцель. Интерес представляют «мелочи», «что» происходит, понятно, вопрос — «как», каким образом? И что я должен делать, чтобы быть свободным здесь сейчас?

Точно так же, как процесс опредмечивания-распредмечивания — один и тот же процесс (отрицания отрицания), представляемый не разведённым во времени, а представляющий одновременность, точно так же и изначальная «лишённость» при возникновении времени, в ней укоренённом, сменяется, вернее, превращается в свободное время. Оно представляет и выражает (воображает) лишённость времени временности, освобождение от бремени временности, переставание времени быть собой.

Свободное время — предметность свободы. И конец развития формальной истории. Что там, после, и как сознательно формируется это развитие, вплоть до исчезновения времени, формы, богатства? Это происходит всегда, даже в простом превращении времени в пространство, да, собственно, пространство никуда не девается в каждый данный момент.

То есть, можно отдельно писать, что свободное время по фактуре — вечность, а поскольку ограничено — время, но суть в том, что у него свой «кайрос», то есть оно становится обыденным, бытовым, и тут свои проблемы, свой «стерезис», но специфический: свободное время помимо общего основания и истока в лишённости — непреходяще, даже если длится мгновение.

Оно вообще не длится, даже в том случае, если мелькнёт. Длится только пребывание в свободном времени, но тогда оно — праздное и потребительское время «досуга». От его свободы не остаётся и следа.

И, наконец, особую роль играет дефицит свободного времени, его нехватка, ожидание, избыток и способ освоения. Поскольку оно производится и бессознательно и сознательно всей историей производства, то свободное время — разное — оно развивается вплоть до своего ухода в основание и исчезновения во временности как формы! Общественного! Богатства! Ну, и так далее.

Моя задача написать «мемуар», воспоминание о свободном времени, и изложить всё, что знаю. Это — последняя книга, и я

даже не буду делать попытки что-то объяснить или адаптировать, переводить на современный язык, приспособить к нуждам современности (обойдутся, в буквальном смысле, современность обойдётся без свободного времени) или прокомментировать — там видно будет, или не будет.

Двойное основание свободного времени. Это не дуализм, не противоречие начала. Понятно, что свободное время «монистично». Однако оно только тогда становится свободным, когда мы имеем дело с сознанием. Тут производное от свободного времени чувства схватывает гораздо раньше, чем сознание — суть дела.

С одной стороны, чувство проходит в своём развитии несколько ясно видимых стадий, развёртываясь от реакции-раздражителя через ощущение, аффекты до непосредственного переживания, отчуждения чувства, отрицания отчуждения, возвращения в предметность переживания, восхищение в теорию, и в отрицании предметности слияния в единое чувство, даже в абсолютное, которое не ограничивает себя единством, даже не знает, что оно чувство (есть ещё множество промежуточных моментов). С другой, — чувство застаёт человека врасплох, ниспадая из исторической всеобщности, отпадая, обретает относительность, заполняя всё существо, вочеловечиваясь, и является катастрофой, из абсолютного превращаясь в тотальное, (порой) воображаясь в человека, и преображая его по своему образу и подобию, вплоть до ощущения и реакции-раздражителя, поднимает последние на абсолютную красоту движения.

Эти два противоположных потока создают вихрь человеческой жизни. В сущности, это — одно, как пространство и время, и представляет безразличные или вечные противоречия, вроде материи и духа, пространства и времени, которые в основании, как одно существо. Свободное время может казаться. Выступая мифологически, как субъект движения.

Свободное время — несколько иначе. Оно — порождение живого труда. (И тут, чтобы это не было голословно, надо вставить, как минимум «Капитал» со всеми подготовительными рукописями).

Но есть первичное свободное время, то есть, производимое и создаваемое, а есть свободное время второго порядка — освобождённое.

Когда опредмеченное рабочее время поступает в потребление

ние, особенно производительное, оно сокращает необходимое рабочее время, тем самым освобождая избыток свободного времени, то есть распредмечивая его, *онаруживая* время, полученное путём экономии времени. Кроме того, увеличение прибавочного свободного времени за счёт эксплуатации времени, применения новых технологий, эксплуатации науки, невольно «вылущивает» свободное время, как момент интенсификации самого процесса из непосредственного движения. Своеобразная «рента», получаемая свободным временем как «натуральным продуктом». Знать это не обязательно — это просто метафоры, но если их сознательно учитывать, они превращаются в работающие «трансценденталии». Иначе говоря, можно получать «свободное время второго порядка» из отработанного времени, как из «вторсырья», используя само свободное время как катализатор для преобразований, интенсифицируя сам процесс освобождения времени. Что-то вроде обогащения урана (без прямых аналогий). Это полусвободное время имеет свою специфику. Но это можно не учитывать.

Рабочее время пытаются свести к нулю, что вызывает интенцию свободного времени до бесконечности. Но всё это вызывает сопротивление, своего рода «трение» времён. Казалось бы — прибавочного, но нет. Прибавочное время стремится к *безмерности*, что вызывает разрушительные последствия, потому что оно вступает в противоречие живого и мёртвого, овеществлённого труда.

Поэтому тут один выход — перейти к таким отношениям, где необходимое рабочее время будет непосредственно противоречить со свободным, когда прибавочное свободное время будет свободным. Это возможно тогда, когда человек перестаёт быть непосредственным агентом производства, и наука становится непосредственно производительной силой.

Свободное время выступает ещё и как *прекрасное*, наследуя вещьность, то есть противостоя красоте. Красивое время предполагает развитие человеческих чувств.

Свободное время распредмечивает отношения и опредмечивается в них, обещая вечность живого движения в истоке. Но самое смешное, что всё это до поры, до времени — отношение(я) формы, которая пока может только совлекаться, разлагаться, дробиться, множиться, и всё это бессознательно фиксируется, машинально регистрируется искусством.

Да, свободное время имеет дело не с вещами, а с процессами, со становлением чувств, аналога которым нет. (Разговоры о свободном времени — это не *дело*.) Но невольно втягивает в своё движение, воодушевляясь в произведения искусства, задевая, осеняя их тем, что им не свойственно.)

Свободное время решает субъектно-объектные отношения, как своё противоречие. Оно освобождает человеческие чувства от предметности, и чувства больше не «сервиз» по торжественным случаям (их не подают, не выставляют), они как будто очнулись от спячки, ещё занемевшие, и с удивлением озираются в поисках тех форм, которые были незыблемы и чопорны в своём буйстве.

Они впервые — ради себя, но свободное время всё ещё формально, как время, всё ещё форма общественного богатства. Счастье, что оно не может накапливаться, как сокровище. Жизни бы не было. Искусство чувствует себя лишним. Искусство чувствует себя.

Остановленное противоречие, продлённое в противоположностях, не доводимое до разрешения, оставленное в напряжении. Замедленное противоречие. Остановленное и воспроизводимое в своей данности и определённости. Противоречие в форме покоя. Вопрос эксплуатации свободного времени.

Да, и даже поэзия, музыка, живопись, философия, хоть и есть эта трансценденция, как процесс, но одним пределом имеют основание и превращение, — до проброшенности через предел, до транскреации ещё не дошли. Меня просто динамически швырнуло, превратило в квант времени, в квант вечности, в превращение превращения, помимо воли, цели — я не человек своего времени, я человек свободного времени, а тут всё иначе.

Здесь — свобода в основании, красота обыденна и вопросы этики не стоят — они исчерпаны, как писал А. Канарский, противоречие морали и нравственности разрешены (разрешены быть противоречием, удерживать в противоречиях, не доводя до снятия, в поддержке постоянного противоречия), и нравственность становится норвом.

Свободное время можно осваивать, присваивать, эксплуатировать, потреблять, насиловать, но суть в том, что тогда оно не является свободным. Принуждённое свободное время перестаёт быть собой и становится предельной формой порабощения человека, например, чувствами, которые, как сущностные силы, тиранят и убивают человека «со знанием дела», всей «познанной» необходимостью зла. Свободное время только тогда, то самое, когда оно исчезающее, и действие не ощущается.

Иными словами, может быть, для остроты момента и захочется ощутить свободное время «по сравнению», и даже будут бороться со всей страстью за сохранение несвободы по контрасту, для остроты ощущений (когда нельзя помыслить, что может быть иначе) — но свободное время — несравненно, несоразмерно, оно — опредмеченная вечность. И «не иначе». Переход от политэкономической власти времени к времени как таковому, когда свобода исчезает, становясь природой человека, его атрибутом, точно так же, как деятельность. Здесь нет причинно-следственных связей. Нет нужды, в том числе и в свободном времени. Нет формы господства и подчинения.

С причинно-следственной связью «фишка» в том, что в периоды перехода необходимость становится свободой. Ну, приблизительно, как невесомость зависит от скорости (падения). Так вот, в классической диалектике противоречие не дано, хотя развитие противоречиво, поэтому раздвоение единого и доведение противоречия до разрешения, которое переход в иное — это как само собой разумеющееся, и остаётся. Но суть в том, что развитие движущего противоречия может происходить и за долю секунды, и за миллионы лет, — оно в своей сущности мгновенно, как становление.

Поэтому возникновение свободного времени стремится в своём движении по «двум» основаниям, с одной стороны, к постоянству, а с другой — к своему концу, от начала и до конца. Как и свобода, и красота, и прочее. Все понимают исчезновение как просто уничтожение, а на самом деле оно — превращение. Как никуда не исчезает ни истина, ни красота, ни свобода в развитии, а снимаются в основании. И здесь всё иначе. По Другому.

Здесь нет принуждения. И вся твоя жизнь становится принуждением, поскольку ты — причина самое себя. И точно так же, как необходимость превращается в свободу, так и свобода уходит в основание и становится нежеланной, естественной природой человека.

Так что появляются возвратные формы, хочется принудительной свободы, да и свободное время нет-нет, но и острее воспринимается на фоне несвободы. Это — историческое состояние, это значит, что ты ещё движешься не от ничто к ничто, а от бытия к бытию, и в этом — исчезновение в то время, как... На самом деле, становление от ничто к ничто.

Рабочее время будет всегда, но по фактуре оно не отличается от свободного. Точно так же, как сейчас никто не видит разницы между необходимым рабочим и прибавочным временами. Это не два основания: покинутое и становящееся, возникающее и исчезающее, а одно, и даже не разведённое в пространстве и во времени.

Поэтому «скорость» и «превращение» в качестве эрзацев становятся «эстетическими категориями». Поскольку бесполезны и беспомощны — они «реги-

стрируют», что свободного времени становится «больше», чем времени есть вообще — время выходит из берегов — оно «выше» ординара. Свободное время превращает время в вечность.

За счёт него развиваются образование, наука и искусство — они теряют свою определённую специфику, частность. И если при «капитализме» в предыстории в формах господства и подчинения — представляет собой издержки производства, которые необходимо свести к минимуму, то при коммунизме как раз теряет меру и масштаб, становясь непосредственной производительной силой. Но это уже не важно. Потому что смысл не в этом.

Здесь решается последнее противоречие диалектики: противоречие красоты и прекрасного. Или, что то же самое, противоречие становления и развития.

Прекрасное — тень вещи, абсолютной в своём роде, противостоит красоте. Прекрасное против, контркрасота. Можно рассматривать это как контрапункт. Но не точка против точки, не остановленное противоречие, имеющее бесконечное число возможностей-вариаций, а два противоположных процесса, которые несовместимы, поскольку одно прекрасное теряется во множестве самовоспроизводящих себя становлений, временящих, как прекрасное прекрасным, а другое — вечно, как само становление, которое никогда не повторяется, и стоит, как единство бытия и ничто, как становление становления, не складывается. Красота — вся. Она никакая.

Прекрасное пытается стать эманацией красоты, но ей надо изменить природу. То есть от прекрасного заключить к красоте, как от единичного ко всеобщему — невозможно. И её достоянием и есть эта невозможность.

Прекрасное пытается осуществить экспансию, оккупацию последней. Последняя красота не оказывает сопротивление — она иной сущности, иной природы. Всё, что она может сделать с прекрасным — это поглотить его, превратив в свою сущность, переосуществив.

Именно здесь удерживается эта антиномия — противоречие, не доведённое до разрешения, антагонизм, который, аннигилируя, превращается в свет. И смысл тот, что красота, свобода, становление, истина, уходя в основание, снимаясь в нём, обретают единую природу. Здесь решаются в качестве («кажестве») реального снятия и побочные «партии»: противоречие возможности и действительности, представления и восприятия, сущности-существования и так далее. Это и есть «далее», без удаления. Даль здесь-сейчас, а не против. Не преодолённая, о-далённая даль — дальнеющая, как светающая, даль при виде. Не против дали. Даль — попутная и сопутствующая.

Единичное неисчерпаемо, как особенное и всеобщее, — «часть больше целого». Но вот это временящее противоречие свободного времени, то есть свободы и времени, которое силится остаться, и необходимо, как переход, иначе оно

тебя просто уничтожит. У Мейстера Экхарда Красота другой огненной природы, если бы рука была той же природы, мы бы могли к ней прикоснуться. Так вот, это спасение, что мы остаёмся большей частью в тени вещей, в прекрасном, которое против Красоты. Здесь не культ красоты, а иная природа.

Маркс «вчитал» эту идею, и она в первом приближении была простовата. У Анонима речь шла о том, что богата та нация, которая может позволить себе шестичасовый рабочий день. И т. д. и т. п. Но как-то предполагалось, если будет так, то все срочно займутся разнообразной «человеческой деятельностью». А это не так. Я почти всю жизнь пребывал в свободном времени, но оно требует почти нечеловеческих усилий по своему обузданию. Свободное время — сопротивляется.

И пока, временно, оно пребывает в двусловности: одно основание, которое порождает, а другое основание, куда, в которое свободное время происходит, превращается, и хотя это один и тот же процесс, само развитие основания в его противоречивости, то это пролонгированное, длительное, длящееся, протяжённое, заторможенное противоречие не спешит разрешиться, иначе свободное время исчезнет, и время потеряет политэкономическую определённую, ну и так далее.

Так вот, там всё не так просто, и это очень трудный процесс. Пока под свободным временем понимают «праздное время» (тоже необходимый момент) — Веблен, например. У меня духу не хватит разобраться в этом, я и так слишком далеко зашёл.

Главная, и последняя причина из причин — в том, что здесь, в исчезающей свободе, которую следует избыть в основание, нет причинно-следственных связей, нет, по сути, необходимости и свободы, и потому — возможности. Так что, думаю, Маркс об этом знал, но не посчитал нужным разрабатывать это всё дальше, а может быть, не успел, ведь, если хотел написать эстетику, то, скорее всего, не успел. И толку с того? Ну, напишу я, и это будет фантастическая безделица. Она ни для чего.

Исследовать то, что застаёшь на данный момент, смысла не имеет. («В том, что известно, смысла нет, одно неведомое нужно» — Гёте.) Всё равно это будет не так, как представлялось.

Поэтому не может интересовать свободное время, как оно есть на данный момент, как срез времени, его «пласт» (Козеллек), его «пластмасса» (Барт) и то, что происходит в данное время, метаморфоз и прочее. Даже познав все тонкости его пребывания и производства — вся эта теория неприменима. Практика свободного времени — не инструкция к времяпрепровождению. Оно не безделушка, а инструмент. Не имитация безделицы, со всей мифологией свободного времени, а, как и пластмасса — заурядность и ординарность — нищета изобилия. Всё, что сказал Барт о «пластмассе» с её буржуазностью, применимо к свободному времени при капитализме.

Как уже было сказано, здесь — логика свободы, которая не детерминирована. Но поскольку она неявна (её наявность навевана, как и наивность — нужна почти тупость и глупость, чтобы решиться на действие в соответствии с наитием свободного времени, подвергнуть себя дисциплине и воле, действовать по воле), — возможны эксцессы принуждения к свободному времени волей. Долг превращения. Страх красоты, как страх высоты. Цели и идеалы, сама возможность телеологии, исчезают снимаются. Противоречие, доведённое до разрешения — больше не противоречие.

И даже знаменитые законы диалектики, как и сама диалектика, — снимаются в дальнейшем и дальнейшим, показывая, что отрицание отрицания — не два отрицания, а одно-единое, оно и есть единство борьбы противоположностей, и переход всего во всё, и сущее настоящее. Что предел — это всего лишь необходимая форма абсолютного, он и есть превращение, то есть ровно столько, сколько необходимо, чтобы быть вполне, быть свободным. То есть сама диалектика становится способом превращения. Способом дела. «Дело-действие» (Фихте) требует ещё и политехнизма, а не только гипертрофированного развития технологии. (Хотя, как не называй, политехнизмом или единой наукой-технологией — всё едино.) Нельзя быть свободным в одиночку — это случайная свобода, которая свойственна искусству. (Самые страшные проявления отчуждения происходят именно в искусстве.)

Мировая скорбь о том, что всё пропало. То, что имеется в наличии, не достойно анализа. Тем более, что из этого ничего не выведешь. Это не анализ — «как всё должно быть». Дескать, сделайте так и так, и будет вам счастье. Речь идёт о способе дела, который может быть, а может и не быть, то есть та необходимость, которая не случается — логика желания и хотения. Что я могу желать? Желание — вопрос нужды. Как высшая степень мастерства художника делать то, что хочется, а не то, что получается.

Свободное время — зеркально по отношению к рабочему времени, поэтому оно — как обратное движение в фуге — ракоход. Если форма общественного богатства последовательно меняет «центр тяжести», происходит от объекта труда через гипертрофию меры отношения к природе, а орудие труда через систему машин, развитие технологии — к развитию субъекта труда, вплоть до снятия субъектно-объектных отношений, то свободное время — воплощение «контр-развития», это как раз те «идеи, которые будут править миром» (минус власть и долженствование, насилие), то есть от субъекта, который уже не субъект, не к объекту, а к природе, в которой прежняя, противостоящая природа до человека уже снята в человеческих отношениях. По-прежнему — по контуру, но уже не вещи, а процесса, и преобразование по законам красоты, уже не как то, что нужно человеку, а вне всякого законосообразия.

Снятие линейности и множественности. Свободное время — время самозабвения. Оно такое, каким его представляют: и становления человеческой личности во всей её универсальности, и одоления собственной личности в самоисчерпании и самобытии, как неопределённость, где «я» преодолено, как преобразование собственной свободы. В одиночку это невозможно, только всеобщим образом, всеобщей деятельностью, только общением, где свобода теряет свои *своды*, противостоящие её тяжести, создающие сопротивление — то, что к ней *сводится*. Свобода сама по себе, без сопротивления, противостояния. Теперь свобода — есть просто непосредственное общение, и свободное время не является потребностью, а является и пребывает природой, как вольное время. Вольноопределяющаяся вечность. (Почти шучу). Время может быть «целесообразным без цели», а может быть и самоцельным, предметом самого себя, конечной целью.

Ему свойственны все оттенки всеобщего, но оно может быть и невозможным, тотальным, гипертрофируя одну черту. И создавая культ того же свободного времени, уничтожая его этим и принося его же в жертву. Вся «эйдетика», все споры номинализма и реализма начинают тяготеть к свободному времени, которое превращается в идеологию. В тяжесть и обязательность невыносимой мысли. Необходимости воплощаться больше нет: хочешь пиши, хочешь не пиши, хочешь думай, хочешь не думай. Вольному воля.

И это занимает *мышление в то время, как исподволь происходит превращение* мышления в философии в просто образ мысли.

Как ни странно, свободное время, сущность которого в активнотдеиствии, некоторое время пребывает в ступоре «интеллигибельного созерцания», когда не хочется нарушать равновесие и спокойствие, гармонию видящего взгляда — ситуация рисуется, создаётся, прозревается, вызревает во всей необычности, как открывающийся простор, который не обязателен для экспансии и освоения, порождения. Ономение, не требующее разрешения противоречия. Контрапункт неосвоенного, но ясновидимого пространства — это одна из особенностей свободного времени — оно никуда не зовёт, просто *далится* своей прозрачной (и прозрачной) ясностью.

Главное противоречие при переходе в свободном времени это необходимость универсальную природу человека исполнить узкопрофессиональным унифицированным способом дела, причём сознательно. Это — тоже остановленное противоречие, где распором — человеческая жизнь, как вынужденная утрата. Тяжесть жизни вызревает в смерть. И никакие контрфорсы чувств не снимают тяжести необходимости быть.

Вопрос о коммунизме — всецело проблема свободного времени и перехода к иной форме общественного богатства.

Будут стараться сохранить, во что бы то ни стало, возможность свободы,

идею красоты, а не действительность красоты и свободы. Причём как существо человеческого. Это страшный процесс превращения. Он может произойти, а может и не произойти, сколлапсировав, свернувшись в чёрную дыру. Причём эту тихую катастрофу могут и не заметить в самодовольстве обыденного счастья.

При этом снятие противоречия формы и содержания не предполагает «аморфем» — только метафору реального воздействия. Не метаморфоз, не морфологию. Более того, универсальность человека означает не универсальность отдельного индивида и не совокупную универсальность массы, ассоциированных свободных индивидов.

В ожидании свободного времени нудно. Свободное время никому не дано и не должно. В сущности, это — свободное действие, а вот в преддверии свободного времени ты сам должен ему способ дела, хотя делать можешь, что угодно.

Внешнее свободное время и трудность освоения невыносимы. Его ожидаемая данность воспринимается как внешняя необходимость и необязательность. Свободное время желаемо, но его ждут, как дар. Потому все разговоры о нём, всякая попытка теории носят случайный характер. Дескать, дайте нам свободное время, а уж мы сами разберёмся, какая там опасность предстоит. Там посмотрим.

По сути, отношение к нему — как к запретному плоду, с опаской, но все возможные негативные последствия игнорируются. Само свободное время безразлично к «служебности» и функциональности.

Все этапы его роста никуда не деваются, не преодолевается, и первоначальная праздность, вывернутость, вывихнутость и оппозиция к рабочему необходимому, с которым общее то, что оно необходимо, как кровообращение, время обращения как жизнь, и момент потребительский — использовать, эксплуатировать свободное время и его освобождение от временности, и от самого себя, когда, лишённое свободного действия, время деградирует во всех немислимых ипостасях. Когда готовое свободное время смакуется, как приготовленное каре из одомашненного времени, его организованность и выверенность тоже буквально «имеют место», которое под тяжестью деформируется, и время выходит из берегов.

Но эта переполненность через край — пока в предчувствии. Сейчас вопрос о свободном времени бытует как вопрос о времени-возможностей, «возможности-бытии», и его перехода, превращения в действительность, когда свободное время становится прошлым и сбывшимся.

Когда свободное время становится «превращением превращения» — становится, а не разрешается данностью, пусть и пространства человеческого развития, тогда и собственно свободное время перестаёт быть проблемой самой деятельности, возвращается физической форме движения материи.

Оно не употребляется и не имеет никакого отношения к веществу. Свобод-

ное время — сотворяется в прехождении, но оно — не изделие. Его сопротивление обыденному способу дела указывает на его иную природу, на отрицательность, свойственную самой деятельности, но не на герметичность и затворничество.

Откровенность свободного времени немыслима, она продействована самим действием времени, которое — инструмент и органон формирования, вплоть до преодоления всякой формы, которая воспроизводится как определенное движение, не формально.

Нечто подобное происходит, когда свободное время создаёт свои подобия, например, произведения искусства (очень отдалённое сравнение) — определяющаяся в них, оно сохраняет бесконечность, делая их неисчерпаемыми в двух смыслах: произведение как бесконечный исток, и то, что вся бесконечность искусства не может исчерпать замысел, образ и действие творения. Каждое произведение, будь то книга, картина, скульптура, концерт или любой фрагмент — оказывается незавершённым и не может довоплотиться, сбыться вполне, но противостоит и противодействует, удерживая в своей незаконченности вечного свершения. (Как неоконченная симфония Шуберта — вся сила которой в непонятности, брошенности — после неё были и законченные).

Свободное время весьма ненадёжное пространство. Оно мерцает. Есть риск не только в нём затеряться навсегда, но и не сбыться (хотя сбыться — тоже опасно). Свободное время — не гарантия воплощения — оно не судьба. Его убыль, отлив, который уносит и делает заведомо зряшным усилие, может быть принят за прилив и избыточность бытия, как свершения всех времён.

Убыль свободного времени ощущается, как отъятие, исчерпание жизни, напрасность, и вызывает беспокойство и торопливость, поспешность жизни, сумятицу и суету.

Свободное время — время зависти, голода, жажды, ожидания и свершения, — есть такой краткий период его истории, — вот когда оно мстит человеку, дав ему все возможности, тогда жутко и безнадёжно, хотя нет критериев: то ли ты делаешь вообще, и на то ли ты его тратишь? Действительно ли это твоё действие, твоё желание, стоит ли действие свободного времени = времени жизни, чтобы его тратить?

Эта книга — последняя, и оттого радостно, что не считаешься ни с чем, что время — не «служебное», и я смеюсь и чувствую веселие и остроумие, не своё — времени, когда быть тупым и осознавать это — не стыдно, поскольку предмет превосходит тебя и твои силы, но ты-то это понимаешь. Проводы времени, как такового. Свободное время играет коллекционным шампанским. Куражусь и чувствую себя человеком. Вроде как избавился от сердечной боли на время.

И ещё очень хорошее чувство, что каждый час, каждая минута — последние, и ощущение, что совсем недалеко галактики, и сверхновые, а Земля маленькая.

Странное провидение, ну, например, видишь, что Хайдеггер очень боится «разоблачения», и вообще вырос он не из неправильно понятой Греции, а из Рильке, Мёрике, Тракля с пышностью и сентиментальностью, из Гёльдерлина, причём из его пафоса и косноязычия, которое его и доконало. (Несоответствие между образом и способом выражения, невыразимость, невыносимая неподатливость языка, его стремительное старение угрожают каждому пишущему.) Стоит прочесть «Вещь» Хайдеггера, и сразу станет ясно, откуда эта историческая обывательская бюргерская позиция.

Вещь, вещество, форма — это ложно изначально. Но, если ещё простительна схоластика, то уже с Карла Маркса вещь достаточно презираема, чтобы быть поставленной на своё место, как и категория «мир», которая, в сущности, исчерпана «вещными отношениями», дурной мистикой стоимости и ценности — это для убогих, даже если это «Мир во вне, мир больше не объятен», «Но и я был переполнен миром, и мой мир через меня пролился» (Рильке). Вещь он растёт из специфической поэзии, которая не сводится к стихам, к ритмам, рифмам. Вещь не существенна, она не трансценденталия, не *res*, не вежество и вещественность, а момент движения.

Это протомузыка. И только с ней стоит считаться и ради неё писать, обнаруживать, являть свою причастность к миру, который больше суммы возможного и невозможного, бытия и ничто, и если упоминается, то только как ложные солнца. Я вообще после Фейербаха слово «мир» стесняюсь упоминать.

Все хрупко и чудовищно. Хайдеггеровское «Welt weltet» — переводят как «мир бытийствует» — это бытие бытийствует, вещь веществует, а мир — мируется, мирится, как ярится — сказал бы — обмирает мир, оплотняясь в сознание, окутываясь, овеществляясь мышлением, сознанием, примиряясь и приспособляясь, что противно природе человека. Но даже эта неточность, разность, колебание очень выразительна. Здесь — понижение фантазии до воображения. Ниспадение, как снисхождение.

Покуда Свободное время — время воображения, воображаемое время, которому приписывают разные качества и человеческое достоинство, оно в ожидании: покуда и досюда, от сих до сих.

Оно может быть вполне, и явственно предстоять, но не сбываться и оставаться в благоговейной нетронутости. И быть как свободная причина, то есть никак не влияет на деятельность — к ней не понуждает, а тем более не пытается принуждать.

Почему я так вожаюсь с Хайдеггером? Просто потому, что это очень типичный и показательный случай — мог быть любой другой персонаж. Как никогда, понимаешь, что, в сущности, история духа действительно анонимна. Она — «как никогда».

У Хайдеггера и одержимость есть, и прячется он в спекулятивности философии, и дураком не назовёшь, но откуда такая фальшь, и как его, неглупого, так

угораздило — стать «нацистом»? Это как предупреждение — всё время контролировать себя и не доверять себе самому. Избранное, избирательное чтение.

Я понимаю, что Кузанский не мог писать мимо Бога, хотя Последний там — просто имя неведомому. Спиноза тоже говорит о Боге, но как Бог ведёт себя всякое абсолютное, и их не страшно понимать буквально — не заблудишься. А вот фальшь Хайдеггера — очевидна, и такая же — у ярых противников фашизма, вроде Бердяева. Но именно из-за этого зазора несовпадения и надо их читать просто так, а не ради знания о... Читать и помнить, иметь, удерживать в виду, что свободное время — не личное и не наличное, и всегда есть риск заиграться насмерть, и всё основывается на том шатком доверии к автору, когда чутьё может и обмануть. И авторы каждый раз могут быть другими, поскольку памяти «в виду» — одно и то же.

В свободном времени ничего не прошло, ничего не будет, хотя и ожидается. Всё — «здесь». Пока это проговаривается, то и звучит, и исполнено смысла. Можно получать наслаждение и от партитуры, и от замысла, но лучше всё же исполненное, исполняемое, хотя не лучше — это одно, а оно не имеет окончания, и смысл — в звучании здесь-сейчас, бесконечно. Невольно хочется воскликнуть: «Ещё не всё!»

Перефразируя знаменитую фразу Гегеля, «Всё возможное — действительно, всё действительное — возможно» Без обсорбации на положительное и отрицательное, желательное и нежелательное. Возможность превращается в действительность без этических норм, по желанию, порою без понятия. А жизнь и смерть — такая малость, что ими можно пренебречь ввиду их незначительности.

В преддверии свободного времени есть свои предрассудки, суеверия. Оно мнится, как время решения всех проблем, преодоления воплощённого отчуждения, возвращения человеческой сущности. Оно исполнено мифами ожидания. Как и всякая абсолютизация, свободное время воспринимается и представляется односторонне — своего рода конец света и «восстание из мёртвых, смертью смерть поправ», апокатастасис — мирская эсхатология, почти вера в свободное время, «а вот тогда... тогда...» Его абсолюция, отрешённость воспринимается как единственно возможная.

Особенно культивируется миф об аскезе творчества — «на хлебе и воде», самобичевание, власяницы, «художник должен быть голодным», «о, полюби мою речь за привкус несчастья и дыма», «совестный дёготь труда» и прочие легенды об экстазе творения. При этом свободное время часто заикливается на собственном самодурстве и самоуправстве, бывает капризным. Та же философия может, столкнувшись со своеволием, отделяться пустой риторикой и художественным трёпом, демагогией и самолюбованием, шалея от собственной значимости в праздношатании.

Но это свойственно и живописи, и музыке, которая настолько пристально от-

носится к каждому звуку в его неповторимости, что делает его невозможным. Импровизация сводится к поискам случайности, но своей исполненностью она становится всецело необходимой и обязательной, и потому закованной в игру по правилам.

Поэтому Свободное Время и воспринимается бесконечной импровизацией (в чём-то справедливо) вне всяких правил и канонов, но на заданную тему. И тут — известное безразличие, очень непривычное: всё равно, о чём говорить — красота, становление, форма, свободное время, даже самая малость, вроде произведения — всё безразлично к предмету, который теряется, и, конечно, неспроста (всякое конечное — не спроста, а попросту: и конечное, и не спроста) — всё не-иное. Смело можно подставлять вместо Бога любое существительное (в той мере, в которой оно выражает сущность, создаёт её), любую сущность, и она в своём стремлении потеряет определённую, превратившись в чистое движение, в беспамятство, когда остаётся только «послевкусие», игра интонаций, интенций, смутных желаний.

Всё может пойти не так, как ожидается (и, обычно, так и случается, становится обыденным), особенно в свободном времени, которое принципиально непредсказуемо. Оно может ветвиться сразу по нескольким направлениям, оставляя их в одновременности, и всё, а не одно решение претендуют на верность (себе), даже ложные. Свободное время рядится в преображённые формы.

Приукрашенные. Направления могут быть ложными, но приводят к «правильным» «искомым результатам». Это доводит до отчаяния, а может напоминать великолепную игру, в которой хочется остаться навсегда. В любом случае, суть не в этом — становление-то по-прежнему (не по прошлому и будущему, тут оно связано представлением) вне пространства и времени, пусть даже свободного. Здесь не знают, что делают, не ведают, что творят, и не хотят знать.

Странно не знать, что делать? Я ещё не видел человека, который не знал бы, что делать, когда есть свободное время. Не«правильные» формы деятельности, пусть даже и уродливые, диктуются искажёнными предметами — «правильность» будет утверждена потом.

Свободное время опасно тем, что здесь невозможно обмануть себя, обманываясь («я сам обманываться рад»), более того, что бы ты ни делал, твои усилия, даже на пределе возможного, оказываются недостаточными, как сердечная недостаточность, они всегда не истинные, всегда ниже возможностей, какими бы грандиозными усилия не были. Свободное время действует как катализатор и даже противодействие. Оно — необходимое условие, в котором, которым даже воплощена необходимость развития — дальше не может обходиться без сознания, но не гарант ни развития, ни просто талантливого творения, которое само же свободное время и унижает, как бы презрительно говоря: «И это всё?»

Оно равнодушно к воплощениям, к результату, к сделанности. Оно выступает как ничто, которое ещё следует превратить в пространство развития (в пространство-то можно, но вот развития ли?), следует ещё отважиться начать действовать без причины, и никаких критериев, что это именно то действие, та практика по истине, которая — истина и существо дела. Свободное время — не само собой разумеется. Оно только обещает быть таковым, то есть в понятии. А так, всегда на себя не похоже — «себе на уме».

Его само-стояние очевидно только потому, что свободное время опосредовано всей историей человечества и историей культуры, искусства, производства, человеческих отношений, историей чувств и историей самой истории. Неуловимость сути в том, что по достижении определенного этапа развития свободного времени ясно понимаешь: оказывается, дело не в том, как предполагали, что свободное время не продукт производства и его результат, как время, свободное от необходимости, а и есть сама эта становящаяся необходимость в её осознанности, как тотчас же «новое» понятие свободного времени, по мановению, мгновенно переосуществляет все прошедшие формы, и мы понимаем, что «так было всегда и никак иначе», «так и было», буквально — в свободного времени непреходимости, неизбывности, но в бесконечной исчезаемости. Исчезновенность, как проникновенность.

И тогда «свободное время» Античности видится глазами современника (одновременно моего и современника античных времён — то ли собеседника, то ли соучастника), в нём угадывается то, что будет гораздо позже, как истина другого времени. Он отвечает то, что ты хочешь услышать, вступает с тобой в диалог как очевидец и свидетель, лжесвидетельствует, невольно играет в поддавки, как в игре в шахматы с самим собой.

Распускание свободного времени, его раскрытие целиком и полностью зависит от деятельности, в которую я погружен и которой я есть, но это всегда запоздавающее цветение, возвышающееся в своей правоте и неповторимости. Это манящий простор свободного времени, жажда кажется тем, без чего жизни нет. Но оно ещё и то, получив которое, нечего больше желать, но подспудно, невольно жалеешь.

И всеполнота, завершённость ставит перед страхом собственной неталантливости, невозможности и неисполненности — пенять-то не на кого.

Действительно ли хочешь, чтобы твои желания сбывались? Как у Тарковского в «Сталкере».

И, что бы ни говорили, ты всегда будешь перед лицом невозможности, как единственная причина неудачи недовоплощения, когда не хватает духу, чтобы выразить невыразимое. Как, например, с проблемой свободного времени, когда — не решился.

Слабым утешением служит «не до побед — всё дело в одоленье» (Рильке).

Всегда будет маячить грозное напоминание, что «никогда», что не получилось, что не смог, а вершение, бесконечная деятельность, и «сделал всё, что мог, и даже больше» — даже в малой степени не оправдание. Только и остаётся — глушить себя. Забываться. Истовое беснование работой, движением в никуда, без заранее положенного масштаба. И тут бессмысленны вопрошания: «А почему, собственно, свободное время?» «Да ни почему, потому, что время пришло.»

ОТ ФОНАРЯ



Не в том смысле, что до лампочки, или, по ассоциации с Диогеном, с фонарём «Днём с огнём ищу человека». А как в анекдоте: искать, где светлее.

Никто не будет копаться в поисках смысла, некогда ждать. Хотя на самом деле подтекст любой фазы неисчерпаем. Когда-то Басё написал трёхстишье, где говорилось о том, что «Пальму посадил (посадил дед репку — А. Б.). И впервые огорчён, что взошёл тростник». Если принять во внимание, что псевдоним «Басё» и означает пальму, то какая появляется игра, где всё в неназванном и непроизнесённом... Так, к сожалению, и у меня. Слова в простоте не скажу, и даже все обложки к книгам — с умыслом. Сейчас цейтнот, поэтому говори, что нужно, и уходи, потому как «что хотел» — никто слушать не будет. А что нужно? И нужно ли? И хотел ли? Да и кому? Никто не слышит, только белый шум языка, и это прекрасно.

Но так было всегда. Тот же Басё:

«Кукушки песня  
Напрасно перевелись  
Поэты в наши дни».

Или знаменитое Платоново «Много врут поэты» из «Государства».

Мне нечего сказать. По сути дела, субъективность вся выдумана (как различие внутреннего и внешнего, глубины и поверхностности), вернее, объективирована, то есть, превращаема, и потому мы такие, какими хотим быть — это наша воля, которая — сопротивление предмета. Но когда чувства становятся объективированы(ми), то есть невозвратными(е), необратимыми(е), тогда выдуманное становится невыдуманным. Невидимое познаётся невидимыми, не переставая быть собой, обнаруживает себя, не теряя способности к откровению. И ты ничего с собою свободно поделаться не можешь. Всё становится невыдуманным, невымученным, непонятым. Понятия загадочны. И проблема субъективности-объективности снимается, становится природой, — но становится! Но никак не станет.

Последнее время я засомневался, когда столкнулся с неуправляемостью, правда, потом отлегло: это не во власти человека — заставить двигаться элементарные частицы усилием воли. Правда, и там есть лазейка. Например, у Лукача в пролегоменах есть грубое, но оригинальное отношение случайности и необходимости, и свободы как меры их. (Впрочем, такое при обнаружении видится и у схоластов, у Спинозы, у Шеллинга, Гегеля, Шопенгауэра... у всех, даже у тех, кто и слыхом не слыхивал о проблеме.) Когда он — о роли случайности в «Онтологии общественного бытия», в Пролегоменах. Когда случайность — необходима.

Давно с этим разбираюсь, в частности, в «Случайной свободе искусства», во «времени без свидетелей», в «Свободной атональности», и особенно в «Ходах» (был почти потрясён, когда прочёл у Хайдеггера в его подготовительной работе «Гегель» о ходах. Я ведь эту работу прочёл после того, как книга вышла, много позже, и окончательности не видать. Идея уступает образу странство, и в этом её неисчерпаемость).

То, что «синтез не творится, а лишь исполняется», что всё это — «путь отчаяния» (Гегель), и о кантовском, что «предметы должны сообразовываться с нашим разумом», и потому не только предмет должен не представлять, не противостоят объекту в этом представлении, а предмет — есть само это отношение становления субъекта и объекта, доведённые до разрешения.

Предмет вынужден вращаться вокруг субъекта, но и субъект — вокруг предмета (он — его округа, окрест, околица), а ещё лучше происходить друг в друга, превращаясь в одно. Становление чего бы то ни было и предмет — одно и то же. И не только становление, как предикат предмета, а и предмет, исчезающий в становлении, поглощаемый им. И это взаимопревращение представляет собой путь к Абсолюту и самому себе — всё это есть и у Хайдеггера, который упрощает Гегеля — «Самопредставление являющегося знания, как ход — истину его собственной сущности» (Хайдеггер), хотя смысл в абсолютности движения, и в том, что как метафизическое знание это движение абсолюта не существует, оно существует. Это абсолютное становление Ничто. Оно же — полнота бытия, оно же — «свершение всех времён», превращение временности. Упоение — в самом движении и самим движением.

Это не релятивизм и не скепсис Горгия. Не война против «тысячеголовой гидры эмпиризма» (Гёте), хотя именно Гёте говорил, что «подробность — бог» — это живое вечное движение.

При внимательном прочтении Гегеля, или самого зубодробительного философского текста любой сложности, когда он увлекателен и захватывает, заставляет забыть себя, и твоя жизнь превращается в интригу и авантюру, когда адреналин зашкаливает, здесь философствование — образ жизни, и сама жизнь — в схватывании, снятии и способе жизни. Не по бедности воображения,

выросшего как идеальное достраивание бытия до целостности по нужде, а как абсолютное здесь-сейчас в любых воплощениях: будет ли это в форме становления, «свободного времени» или как-то ещё.

Бытие в наброске, набросок со-бытия — в виде свободного времени. Не в данности или положенности, а как «феноменология духа», в Гегелевском смысле. Абсолюция, как от-решение, времён (Бёме), но не абсолютизация. Или, как говорит Хайдеггер: «Абсолюция есть лишь способ абсолювенции» (Absolvenz). Мы имеем дело не просто со свободным временем, а с освобождающимся и освобождающим временем в его переставании быть собой. Но и у Хайдеггера, и у Гегеля это — свобода в понятии, и потому гегелевская философия кончает с собой, завершившись и став (устав, превратившись в артикул устава, в параграф самой себя, обязательной к исполнению) окончательной.

В какой-то степени после этого философия действительно невозможна. И это наконец-то конец всему, но продолжение — в реальном становлении. Философия возвращается в естественное мышление, искусство — в реальное создание чувств, не ограниченных формой, поскольку форма — процесс и отношение. Сами чувства больше не декларируются, не дробятся, а, по сути, превращаются в одно единое чувство, не противостоящее в контрадикции разуму и рассудку. Речь идёт о реальной свободе, которая знает, что она — свобода в исчезновении, и смысл происходящего — в «отрицании».

То есть любую проблему можно решать любым лексиконом: по Гегелю, по Проклу, по Плотину, по Марксу или по Адорно, Хайдеггеру... (любым способом, даже Катаев с его доморощенным «мовизмом» или «Искусство фуги» Баха, монтаж Эйзенштейна (и критика монтажа) — всё становится вопросом вкуса и либо приживается, либо отторгается.

Происходит сближение, хотя бы по ассоциации, всего со всем, и поэзия становится компенсацией, как и музыка с живописью, профессионального системосозидания и системосуеверия, которые интересны своим отсутствием и исчезновением громоздкости, нагромождения форм. Нет доминанты, но нет и рецессивных моментов. Причинно-следственные связи не работают и не закономерны для свободы).

Это своего рода профессиональная деформация, когда не просто гипертрофируется, выращивается, и развивается некий орган, в данном случае, речь и мышление, а происходит почти мутация, искажающая облик. (Но на самом деле это развитие, а не нарушение себеравности и себетожественности.)

Каждая фраза оттачивается не для того, чтобы нечто выразить, исчезнув в этом выражении, но искусственно отращивается орудие, причём не в его особой области и применимости в универсальной самостоятельности (относительной), а деформируется, поскольку (чисто количественно) направлено не во вне, а «внутри», как отдача от действия, воспитывается, как приспособляемость

к среде, хотя бы ты и признавал, что для человека среды нет, а есть только среда для среды, как средоточие.

Это противодействие пассивно «выращивает» жабры, рога, заставляет линять, создаёт вставную челюсть, пережёвывая фразу, как жвачку, и дефект речи воспринимая как пикантную особенность, милое грассирование, а не недостаток, как приспособительную реальность в среде обитания, создавая профессиональных монстров, приноравливающих к специфике деятельности. В сущности, философия вырождается — сначала в феноменологию, потом в психологию, становясь атавизмом и рудиментом, как хвост у зародыша.

Примером такого вырождения является провальная книга Сартра «Бытие и ничто» с хорошим названием, и по-своему, честная, как и «Критика диалектического разума», но получается «Идиот в семье». И пасквиль на философию, которая сводится к шизофрении (у того же Фуко, Гваттари и Делёза. У Геннадия Лобастова «Диалектика разумной формы и феноменология безумия» тоньше, но где тонко, там и рвётся. Это совсем о другом, но порочен сам подход, рассматривающий наличие форм безумия, как его оправдание и возможное свойство самого разума, а не его болезни. Это не в плане критики, но тянет демонизировать безумие. Так и хочется стать сумасшедшим. Это подобно тому, как нетрадиционную сексуальную ориентацию рассматривают как верный признак таланта, что бредово). Как же: раздвоение единого, рефлексия, раздвоение личности.

Но даже если бы философия стремилась к трансцендентальной эстетике, превращаясь в непосредственное единое чувство, ей бы пришлось отказаться от «комедии положений», перестать быть ситуативной и превратится просто в мышление. Похоже, сейчас мы не только свидетели, но и участники этого.

Причём, так было всегда, спасала только непостижимая всеобщность, а теперь переставание быть собой становится частным делом каждого, что абсурдно, но именно это соблазняет и привлекает своей скандальностью. И это не та психология, о которой говорил Гегель, которая есть «становление понятия, то есть субъективности или свободы», — просто размазывание ситуации, хотя и Гегель последовательно ограничивает становление понятием, как некой окончательностью.

Ещё у Гегеля, феноменология — это не истинное не ноуменальное иллюзорное бытие, но становление, которое ноуменально и невыразимо, неисчерпаемо в явлении, хотя явление светоносно, я бы сказал, светозаро и светозариво, а истина темна.

Однако, и становление — не полумгла и не стремится к ставшему, «как огонь, пожравший свой материал». Не буду писать «разорвёт», буду писать «истощит», буду не писать «похоронит».

Логика простая и, как ни странно, обывательская: о бытии помимо нашего сознания, и без понятия — нечего сказать, объективная «вещь-в-себе», а так же

сущность — её дело, хотя и наше дело, что одно и то же. Я бы ссылался на всех и ни на кого, по умолчанию. Каждый раз хочется Гегеля переписать, перевоплотить и переосуществить.

Понимаешь Бунина, который хотел отредактировать и переписать Толстого: «Вы знаете, при всей его гениальности, Лев Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него много сырого, лишнего. Мне хочется в один прекрасный день взять, например, его «Анну Каренину» и заново её переписать. Не написать по-своему, а именно переписать, — если будет позволено так выразиться, — переписать набело, убрав все длинноты, кое-что опустить, кое-где сделав фразы более точными, изящными, но, разумеется, нигде не прибавляя от себя ни одной буквы, оставив всё толстовское в полной неприкосновенности». Помнится, Достоевский справедливо вызывал у него нешуточную ненависть. «Ненавижу вашего Достоевского! — вдруг со страстью воскликнул он. — Омерзительный писатель со всеми своими нагромождениями, ужасающей неряшливостью какого-то нарочитого, противоестественного, выдуманного языка, которым никогда никто не говорил и не говорит, с назойливыми, утомительными повторениями, длиннотами, косноязычием... Он всё время хватает вас за уши и тычет, тычет, тычет носом в эту невозможную, придуманную им мерзость, какую-то душевную блевотину. А кроме того, как это всё манерно, надуманно, неестественно. Легенда о великом инквизиторе! — воскликнул Бунин с выражением гадливости и захохотал» (В. Катаев. Трава забвения). На что ему говорили: «Ты Бунин, а он Толстой», но Лев Николаевич тоже серчал и призывал уничтожить безнравственных древних трагиков и Шекспира. Не думаю, что это была банальная зависть.

Множество тому примеров, достаточно вспомнить мемуары Георгия Иванова или уже расхожие банальности из письма Пушкина к Вяземскому, что гений подл не так, как обычный обыватель, всё это, как и матерщина самого Бунина, не имеет к явлению жажды переписывания никакого отношения. Хотите переписывать — не стесняйтесь, тем более, все этим в истории и занимаются. Робеете и считаете, что всё написано, и большего не надо — тоже не стесняйтесь. Смысл даже не в том, чтобы понимать адекватно, поскольку критериев нет, и гегелевская «проверка» рефлексии и спекулятивного развёртывания мысли не поможет. всё возможно. И заимствования сюжетов, не Гёте же выдумал Фауста, и Шекспир делал то же, и Бах обносил кого ни попадя, а уж философия, так вообще я бы отменил авторство, прямо указав на анонимность. Да и Гегель не на пустом месте, не с нуля осваивался. Так что смысла переписывать и «улучшать» никого нет. Критериев того, что это то самое, «самое оно» не существует. Достаточно того, что оно было, так или иначе, и пребывает в постоянном изменении, как будто оно развивается в самопорождении в вечном движении. Концов не сыщешь.

«Ломался копеечный пряник и выстоял, не сломался...  
цивилизации рушились,  
культуры умирали... империи забывались...  
остался копеечный пряник от всей истории России»

Самое интересное, что копеечный пряник не ломался. Им можно было гвозди забивать, или убить. Его размачивали и пили с чаем в прикуску. Это синоним стойкости. Когда говорили: «Что ты ломаешься, как копеечный пряник», то смысл был: «Что ты рогом упёрся» — синоним незыблемости, «стоит на своём, как скала». Я о чём, это пример того, как можно вводить в культурное заблуждение. Потому что копейка во времена копеечных пряников, тульских — это большие деньги, и пряник этот крошился и ломался, и вот обе версии существуют, а кто-нибудь не поймёт и скажет: «сам придумал».

Это я по поводу того, что введение (импровизация, авторство в истории, которое чревато) в чужие культуры возможно (с лёгкостью), и не только по сходству, но и просто сознательно, чтобы вызвать возмущение, турбулентность смыслов. Похожесть, ассоциация, угадывание по сходству, несмотря на то, что ничего сходного нет, произвольные трактовки становятся не просто приёмом, но и вполне действенным методом, как «внезаходимость» Бахтина, когда задаются вопросы, невозможные в пространстве одной культуры.

Например, почитаемый мною В. В. Малявин, восхищающий влюблённостью в предмет и способностью писать захватывающе красиво (он — выразительный пример, может быть, даже для подражания), в книге «Пространство в китайской цивилизации» на первых же страницах пишет о Великом пределе, понятием динамически, как бесконечное превращение превращения, он несколько не обольщается, что речь идёт не о сходстве с превращением в европейской философии и не об учении о пределе в дифференциальных уравнениях. Хотя и об этом тоже. Малявин пишет о том, что китайцы мыслили пространство динамически, как событие — реальность динамическую, изменчивую даже к себе, в себе и собой, и потому вечно отсутствующую в своей вездесущности, вечнопреемственности, извечно предвосхищаемое, но нигде не данное, вечно единое в многообразии конкретной единичности, «и потому реальность пространства в китайской культуре — это не идея, не форма, не сущность, не субстанция и даже не факт, а нечто удостоверяемое самим фактом не данности» (В. В. Малявин. Пространство в китайской цивилизации. М.: Феория, 2014). Вопрос не в легитимности таких вольностей и трактовок, а в том, чтобы отпустить на волю своё воображение и решиться на риск быть смешным, освободиться от запретов и привычных табу, но не ради корысти или эпатажа, не ради пустой выходки, а хотя бы потому, что в этом что-то есть. А не просто неграмотность автора. Поэтому, когда серьёзный учёный упоминает массу источников от И-цзин (книги перемен) Лю Имина, Джун Юня, Лу Шань, говоря о пространстве, которое

«измечиво и вездесуще, представляет срединную сосредоточенность и Великий предел как Превращение» и «жизненное превращение всей тьмы вещей», цитирует Чжан Сань Фэна (13–14 в.в.), легендарного основоположника тайцзисуань, упоминая «пустоту-небытие» (суй у), не имеющее образов в бесконечном рождении, подтверждая эти неопределённые китайские образы (но не определены они сознательно) при помощи монадологии Лейбница, признаниями Пауля Клее, В. Хогарта, Ж. Делёза, античных авторов, подкрепляя свои интуиции строчками из Мандельштама и Блока, и всё это не эклектично, а вырастает, и срастается воедино, как будто все они — современники, тут задумаешься, что, видимо, человеческий дух пришёл к единству в мировом пространстве, и всё во всём, как сущее настоящее. И такие определения, как «Экзистенциальное пространство» по отношению к китайской культуре, уже должны стать привычными и не резать ухо. То есть пространство человеческой культуры — едино и всеобщее, и всецело настоящее, как история, лишённая пространства и времени, снятых в настоящем. Они представляют собой единую человеческую культуру, в которой всё возможно и действительно.

Тут сразу прорастает (и приростает) поросль проблем, потому что культура становится спекулятивной, и все участники этого процесса, даже те, кто об этом не подозревал, и в этом бесконечном становлении очутился как очнулся не по своей воле, посмертно, нехотя составляют это существо Гераклитова огня, всеобщего превращения, становления. Испытываешь странное чувство соучастника, выпуская, освобождая свободное время чужих откровений и ощущая проблемы, которых во времена этих персонажей и событий не могло быть, а теперь они есть, и неправомерные вопросы необходимы и порождаются самим процессом становления.

Да и вся история философии и литературы — переписывание одного и того же, но понимаешь упрощение, спрямление движения, если следовать букве, даже когда его произведения воспринимаешь всецело.

Обречён и в том случае, если, отбросив частности (порой и честность) и детализацию, сосредоточишься только на становлении, как субстанции, и его атрибуте — свободном времени, как «просветлении», на становлении как утрате, затемнении и помрачении, исчерпанию. То есть при всей своей сбывшести, незыблемости, не только тексты, но и любая картина, скульптура, архитектурное произведение, ни на йоту не изменяясь, предположим, не подвергаясь эрозии, всё равно находятся в развитии или просто исчезновении (как повезёт) или пребывает в воображаемой неизменности, развёртываясь даже в небытии.

Кроме того, сходит на нет живое остроумие, да и просто чувство юмора. Не говоря уже о Тэффи, Козьме Пруткове, Доне Аминадо, Аркадии Аверченко, Ильфе и Петрове, Зощенко (современное понимание истории, которую, не долго думая (и правильно) разлучили с историографией, в сущности, напоминают

огромное, но только не столь остроумное воспроизведение «Голубой книги»).

Все исторические изыскания, все глупости того, что выдают за исторический материализм, паталогическую историософию, вещание безмозглой философии истории — всё это демонстрирует, что масса текстов, домыслов и историкообразных представлений, эмоций, чувств, обособились в особую область и достигли критической массы.

Процессы, происходящие здесь не только в периоде полураспада и полного распада, а как неуправляемая цепная реакция, делятся и аналитически дробятся, уже как взрыв, и не тот, Лотмановский, культурный, а разрушительный, самоубийственный, хотя это может быть всего лишь переходом, а вовсе не уничтожением. Формой становления. То, что становится, и становление — одно и то же. Так что не до истории. Единственное историческое в том, что принцип историзма, отличающий себя от историцизма, бесстрастно утверждает преходящность и относительность всего. Спасает только остроумие и чувство юмора.

История эта, несмотря на все ужасы, смешна и абсурдна, потому что, руководствуясь здравым смыслом, не дорастает даже до здравого смысла. Но даже на наших глазах увядают и становятся не смешными точные формулировки Жванецкого, об остальных, вроде Иртеньева или Губермана, молчу. И всё это уже не воспринимается. Юмор гаснет. Плакать хочется. И если нечто ещё смешно, то поражаешься собственной деградации и утрате чувства смешного. Хотя это особая тема. О которой не стоит заикаться — не смешно. Хотя смех — истинный критерий современности происходящего. Смех и остроумие.

При этом пекутся о потребителе, создавая «читабельные» книги. Хотя это всё условно. Настоящие произведения трудны, например, труды математиков, физиков, биологов, философов, но я знаю, что их читают запоем в общественном транспорте, и даже сам момент написания их — мелочь по сравнению с тем, что испытывают в момент открытия, пусть ложного и только для себя. Полифония культур здесь не помогает, порождая всеядность. Многознание, которое «уму не научает» и эмпирическая эрудиция — просто неусвояемый хлам мёртвого знания.

При этом, как это ни смешно, нельзя зауживаться. Философия интересна тем, что она не устаревает, и устаревает тут же, ещё до того, как нарушит молчание, которое тоже опаздывающее и архаичное.

По сути, философия говорит тогда, когда сказать нечего (или утомляет по собственному желанию, когда понимаешь, что какое-то исследование гениально, независимо от содержания, но такое решение непостижимо только из-за языка, например, того же Гегеля или Прокла, а упрощение убивает решение), хотя порой ловишь себя на мысли, вернее, недомыслии, что всё больше пользуешься готовыми формулировками.

Иногда поражаешься, откуда комментаторы такое вычитали? И чувствуешь себя компилятором, ощущая всю вторичность и несвежесть языка. Некогда думать,

и всё реже обращаешься к тому, что издано за порогом десятилетней давности.

Трюк с интернетом удался. Иллюзия скорости и обилие готовой информации, как в супермаркете, создаёт видимость быстрого потребления, плюс интернет, отбросивший мышление в формальную область и занимающегося комбинаторикой (но даже там, в формальной логике, специалистам приходится сталкиваться с «комбинаторным взрывом», обрушивающим мышление, которое под тяжестью и количеством информации разрушается и перестаёт что-либо понимать. Тория хаоса в действии).

Вспоминается глупый самоуверенный пример, что если миллионы обезьян посадить за клавиатуру и миллиарды лет они будут что-то набирать, то в конечном счёте могут выдать путём комбинаций «Войну и мир». Чем писатели не обезьяны? (Тем более, например, слышатся наглые голоса, что никакой великой русской литературы не было — это миф, да и многие ли читают настоящую литературу, слушают классическую музыку и увлекаются серьёзной философией — это нельзя потреблять, этим необходимо свободно жить. Изменяются приоритеты, пристрастия, восприятие, вкусы, что закономерно, и всё, к чему тяготел, изменяется, не изменяясь ни на йоту, становясь в свой незыблемости другим, иногда чужим и враждебным, или восстаёт против современности), однако шедевры, как и просто гениальные книги — большая редкость.

Не выдадут комбинаций обезьяны не потому, что невозможно осуществить эту гипотетическую задачу, а потому, что нет гарантий, что каждый раз они будут набирать другую комбинацию букв. И если даже смоделировать это на сверхскоростном компьютере, то всё равно такое не получится в силу того, что компьютер не знает не справляется с противоречием, следуя закону исключённого третьего. Компьютер не сможет писать музыку, жить поэзией, заниматься философией и выполнять иные задачи, кроме формальных. Он даже с формальной логикой не сможет справиться.

Хотя уничтожить память — вполне. Вопросы памяти и истории настолько полюбили французы, что они охотно отдали пальму первенства в области философии немцам, что само по себе глупо, объявили себя наследниками философии истории, и просто истории и памяти. От Бергсона, группы «Анналов», Блоха, до Рикёра с его «Историей, памятью, забвением» и всех упоминаемых в этой толстой книге — Нора, Гоффа, Дюби, Фюре, Озуфа... французы узурпировали эту область наведённой галлюцинации, как площадку для вольностей, вызывающих площадную брань, попросту игнорируя и не желая знать не менее впечатляющие оргии духа и психоделические озарения, помимо Франции, пытаясь быть законодателями мод, тогда как во всём мире, кроме США, давно уже обошли французов, болтающихся в луже психоанализа и самомнения. Только сейчас, отказываясь от нации, национального, они начинают понимать, что философия не имеет отечества.

Мы даже не граждане мира, что предполагает право и вопросы самоидентификации для холопов. «Вы чьих будете?» И соответственное плебейство и холуйство по отношению к кому бы то ни было, даже к способным на действительные откровения философии, — никто не авторитет. Мы, скорее, «пасынки Вселенной», но это детали.

Справедливости ради следует сказать, что, как и область литературы, вымысла, все вопросы памяти и забвения обретают вновь некую пронзительность именно в связи с интернетом, который, складывая память, похищает её. Он навязывает свою продукцию, шаблоны, изделие, тиражирование, стадность, масовость, популярность, отвлекает, рассеивает внимание, так что хватаешься за всё сразу, без разбору, и потому происходит рассредоточение в проблеме. А если ты всё же удержишься в полифонии моно-графии, мании «графо-монии», то тогда появляется абсолютизация, односторонность, абстрактность (не случайно в английском варианте принято аннотацию называть «абстракцией»), и гипертрофия заведомо ложного служения принципам, которые по-прежнему «в конце», но им следуют до последнего.

Это особенно хорошо видно на примере Гегеля. С этим ничего не поделаешь, и в лучшем случае — тут проблема выбора, когда из двух зол, многих зол ты выбираешь заведомо ложный вариант. К тому же мешают «правила приличия». Чтобы не подумали, что ты что-то не знаешь, текст засоряется разными отступлениями, удостоверяя, что ты в теме и излагаешь свою точку зрения, но вполне осведомлён об альтернативных. Кроме того, тот же Пьер Нора пишет: «Невозможно не рассмотреть “двор” или “департамент”, Жанну д’Арк, Эйфелеву башню: читатель был бы изумлён, если бы не обнаружил их» (Пьер Нора, М. Озуф, Жерар де Пюимеж, Мишель Винок. Франция-Память. СПб.: Изд-во С.-Петербургского Университета, 1999).

Можно (и нужно), конечно, наплевать на читателя (даже если это ты сам), и не потакать его ожиданиям, сосредоточившись только на предмете, но нет гарантии, что самые изысканные места будут не провалами в памяти, а непонятность текста — не просто неумением выразить мысль. Пресловутый кантовский вопрос о том, что проблема вкуса в его сообщаемости, а не в критике.

Уповать на то, что это, как говорил Хайдеггер, поймут через сто лет, не просто наивно, но и нахально. Все, кто занимается проблемой — не дурней тебя, как и в истории философии, которую ты уже «превозмошёл», а они то-то недопоняли, не знали, страдали стихийной диалектикой (как диареей) и не домысливали, скорее, это мы что-то не понимаем, и прошлое не кажется наивным, скорее — непостижимым, хотя это иллюзия. Ну чему может научить меня Гераклит? И какой такой мудрости я могу набраться, как вшей, у Чжуан-Цзы? И тем не менее, прошлое — неисчерпаемо.

Можно бы было плюхнуться в вопросы памяти, вздымая тучи брызг и гоня

волну памяти (слово это скомпрометировано известной организацией профашистского толка, но она, как грубая карикатура, напоминает совершенно точно не проблемы, вообще связанные с национализацией памяти и так называемых «мест памяти», избирательности — не такое уж безобидное занятие. Хотя всегда, даже в вопросах свободного времени, есть опасность захлебнуться частностями ложной мстительной памяти). Пьер Нора блестяще подчёркивает: «О памяти говорят столько, потому что её больше нет». Всё вырвано из контекста, из традиции, выведено из мутаций, всё мертво, завершилось навсегда — это то, чего нет, всё в прошлом. Это похороны, надгробные речи и мемориалы, где возлагают венки неизвестным.

Память — всегда разрыв, искусственная непрерывность, «чувство непрерывности находит своё убежище в местах памяти» (Пьер Нора). Мы вспоминаем о себе и не можем вспомнить. «Память без прошлого». «Память — актуальный феномен, переживание вечного настоящего.»

Именно поэтому я бы посвятил отдельную книгу вопросам забвения, потому что свободное время никогда не бывает прошлым, оно не имеет истории и памяти, а соответственно традиций. Свободное время «не вероятно», «невозможно» — оно всецело действительно. Сбылась грёза Гегеля: свободное время — абсолютное снятие.

То, что мы утратили, даже если себя — неведомо и невозполнимо, хотя оно было, и в этом его истина, но как именно — никто не знает. Это обратная сторона воображения, чулком вывернутого наизнанку. Лента Мёбиуса с одной поверхностью, но это анти-феноменология.

Феноменология — апеллирует к чистому явлению, и потому овнешнена и одностороння, она опространствлена и остаётся в рамках психо-физической декартовской проблемы, в кантовской форме априорного внешнего созерцания, что неверно (если что-то есть ещё «неверное» — фрагментация «обламывает» предмет настолько, чтобы в поставленных рамках, в ограниченном и достаточном пространстве, локально, огорожено, нечто было если не верным, истинным, то правдоподобным и приемлемым, и «срабатывало», пусть в качестве заменителя), потому что дело не в созерцании, где всё принимается на веру, а в представлении.

И этого достаточно для искусства и феноменологии, которая изобретает разные интенции, как некогда физика искала силу, — всё дело в самом деле, которое присоединяет мышление к протяжённости и создаёт их. Здесь — чистые сущности, в отличие от феноменологии, где — чистые явления (что тоже плохо, как и всякий разрыв сущности и явления, но он может быть, и происходит, как разрыв пространства и времени — это искусственная метафизика схоластики).

Если в феноменологии каждое явление — самостоятельная сущность, и явление явления имеет своё явление в развёртывании, то в «анти-феноменоло-

гии», когда сущность, отстраняясь, оставляет, покидает явление и имеет сущность сущности (как споры в раннем Средневековье, имеет ли Бог Бога, который его создал), а сущность сущности — свою сущность, и так в дурную бесконечность, в возможность возможности, и «тавтологии» Шеллинга кажутся завершением всякого развития: Красота Красоты, становление становления, превращение превращения, время времени, которое вовсе не превращается этим в вечность. Оно просто остаётся, как не-время, не вовремя, где «время вывихнуто из своего сустава» (Шекспир), и болит, и опухает — место перехода, где встречаются вечность и время, «энергообменник», своего рода новая эйдетика.

Всецело сущее может родиться по аналогии — это всецело внутреннее (поэтому оно так похоже на время, хотя оно — не-время, не-пора), но нет, это противоречие внутреннего и внешнего, и всё, что написал Гегель о противоречии, внутреннем и внешнем, о явлении и сущности, вполне объясняет, что происходит, и совершенно ничего не говорит о переходе, а как оно превращается, разрешаясь?

Философия, задолго до появления недалёкой Феноменологии (кроме феноменологии Гегеля, которая совершенно о другом) произошедшая от превранной и превратно понятой схоластики и её изолгавшая, так вот, философия с самого своего проблеска в сознании знала это, и вопросы превращения рассматривала как само собой разумеющееся.

Поэтому все проблемы, которые возникают по поводу компьютерного застоя, коммуникаций — мелочь по сравнению с настоящими вопросами философии. Но и философия устала, и, боюсь, не возродится. Она излишня, избыточна. Феноменология вполне, как мелкий оптовик, справляется с обслуживанием населения (доставкой пиццы), а если всё же мы будем иметь дело с тотальным свободным временем, то философия превратится в просто мышление. В худшем случае, займётся вопросами воспитания, а не дрессуры ума, дидактики, станет мышлением в его непосредственном бытии, в практике, не потеряв при этом случайность как элемент свободы.

Мы говорим: «бывает», воспринимая, как «случается», «сбывается», а не как бывание, то есть становление. В случае со свободным временем, оно не страдает гипертимезией — способностью помнить всё (у Борхеса есть великолепный рассказ об этом), хотя даже вся система интернета на всём предстоящем протяжении времени не помнит ничего, — просто складировует, накапливает отложения информации, как осадочные породы — даже не культурный слой, а меловые отложения из бывшей жизни. Воспоминания — в забывании, и смысл памяти — в исчезновении, в знании незнаемого, и, дальше — в незнании незнаемого. Свободное время не помнит ничего, даже себя, его история — в его происхождении. Его феноменальность, явленность — кажущаяся. Свободное время не предстает, оно — актуальная бесконечность, но временная бесконечность, смысл которой в отрицании.

Свободное время — всегда современное, и время перехода создаёт «ложные солнца», проблемы, которые застыт, слепят глаза.

Свободное время — это всегда завершающее время, то, которое невольно крайнее. Это движущаяся поверхность прошлого, которое сталкивается со стремительным будущим, пытаясь его захватить, как приливная волна, идущая вверх против течения реки.

При этом кажется, что имеет значение только настоящее, как абстракция, одностороннее, одномерное, моностороннее — длительность без длительности, протяжённость без протяжения.

Всё снимается по-Настоящему, настоящим снимается, поглощается, разрешается противоречие прошлого и будущего по видимости, но видится на поверхности только нужда настоящего, ближайшая причина, хотя оно игнорирует свои основания, меру, утопая в неопределённости.

На самом деле настоящее беспричинно, свободное время снимает в себе всю историю, но превращает её всецело в настоящее. Тем самым рождается иллюзия, что вся предшествующая бесконечность происходила, чтобы сбыться и завершиться сейчас — сказывается время настоящего, проецируясь как потенциальная бесконечность будущего, высвечиваясь на экране Ничто.

Прошлого нет, и в попытках остановить вечное движение память начинает существовать в отрыве, хотя ничего, кроме себя, не знает и не чувствует.

Эту иллюзию поддерживает и интернет. Машина, как и всякая машина, потакает представлениям, приспособляясь к слабости человека. Она создана вовсе не для того, чтобы облегчить труд человека, в том числе и умственный, интеллектуальный, а для того, чтобы увеличить производительность труда, то есть сократить время, и тем увеличить скорость обращения, действуя репродуктивно.

Но это вызывает побочный эффект. Наверное, каждый, кто имеет дело с интернетом, замечал, что свободный поиск возможен, по большей части, как бродилки, «методом тыка» (это было и раньше), и всё же жёстко предопределён. (Много раз замечал, что, действуя «произвольно», бродя по самым изысканным областям высокой теории, всё равно выносит на пустыри самых огол-

тельных бредовых «знаний», куда в принципе не могло занести.) Выбор книг для решения проблемы в теории, по большей части, случаен, несмотря на вроде бы продуманную стратегию поиска.

На самом деле, и здесь «необходимость пробивает дорогу через хаос случайностей» (шучу). Машина навязывает алеаторику, и каждый с ужасом убеждается, что сворачивает на привычный стандартный путь решения, накатанную колею «сойдёт и так». Но это побочные эффекты, их устранять — возни не оберёшься. Главное, что бороться с этим бессмысленно.

Свободное время, как переходная форма, оказывается революционной, и как свободное стремится к полному снятию формы, а это, в сущности, не просто переставание быть в превращении, а превращение формы в движении, — с другой стороны, время воспроизводит и восстанавливает, регенерирует прошлое, но не как в себе, а как для себя, воссоздавая смертельность, но именно это создаёт вечное одно и то же.

Такова особенность свободного времени, и даже если всё время будет свободным, оно восстанет против себя. Невыносимей всего, на первых порах — деятельность в свободное время без цели и идеала. Свободное время будет захватываться самим собой, сопротивляться самому себе.

Но ведь оно, как время, тоже представляет некую лишённость, оно — время прехождения наличного бытия, в том числе и самого времени, и свободы, её наличия. Что это за наличное бытие? Это конкретное исчезновение бытия формы движения. В свободном времени исчезают и причины, и следствия, и цели, меры, заранее определённые масштабы, но и личности, индивиды и ты сам, поглощённый захватывающим движением, «где исчезает предмет и, исчезая, поёт» (Рильке).

И это не проблемы будущего, это проблемы уже существующие, реальные, только рядящиеся в маскарадные одежды форм, которые уже себя изжили, морально устарели. Мы имеем дело с запаздыванием и с «торможением».

Скажем, проблема «человек-машина», проблема коммуникаций, что такое человек, что такое искусство, био-социальной сущности человека, когда уже ясно, что сущность человека сугубо общественная, и о «био» может идти речь только как о химико-физико-механико-общественном феномене, проблеме коммеморации («общей памяти») и прочей любительской, кустарной дребедени.

Это всё равно как давать ответ на вопрос: «Любите ли вы адронный коллайдер, любите ли вы его так, как люблю я?»

А между прочим, эти свободно, вернее, произвольно возникающие проблемы — симптоматичны, без ответа на эти вопросы и решения подобных шарад вполне можно обойтись.

Но это значит, что самоорганизовалась, случилась некоторая область, где можно быть ни к чему, просто так, ни для чего, и здесь не надо изобретать и создавать «мотивации» и «смысл того, что делаешь».

Это может восприниматься как «пустое» знание, как бессмысленная плотность и скорость информации, а также пустое действие и времяпрепровождение, скажем, зачем мне знать изыски молекулярной кухни, которую я даже не попробую, зачем мне знать какие-то там тайны астрофизики или заниматься современными вопросами математики или физики, если я не специалист?

Но можно в этом видеть освобождённое знание, стремление к универсализации в такой суррогатной форме. Какое мне дело до чёрных дыр и того, как происходит развитие, но это может ощущаться как момент превращения, которое не индивидуальное, но всеобщее, и ты уже не только участник, но и сторонник («посторонник» или потусторонний) этого движения.

Конечно, при повсеместном туристическом состоянии философии в науке толпы, рождаются по большей части курьёзные теории, но это — болезнь роста. Потому что высоколобые профессионалы мыслят точно так же.

Свободная деятельность поневоле будет отдавать дилетантизмом, но главное — сам процесс. Дело не в дилетантах и профессионалах, а в том, что границы размылись, демаркации сместились, а пределы обнаружили, что они — суть превращения и переходы.

И в любом случае всё дело в универсальной деятельности и одержимости, героическом энтузиазме и в науке, и в искусстве, и в педагогике, хотя всегда есть риск не только наломать дров, но и погибнуть, погубив остальных, в раже фанатичной убеждённости. Цели и идеалы здесь вводятся в качестве произвольных координат, заведомо зная, что общие места пустые.

Парадокс, но в период свободного времени цели, идеалы отстают от бытия, они устанавливаются впоследствии, как сценарии, которые пишутся после фильма, пушечного в прокат.

Здесь реверс. Была такая игра, в простонародье «перевёртыши». Вот и здесь реверс не противостоит аверсу. Здесь — формальный переход одной противоположности в другую.

Зато есть готовность погибнуть за идею или запросто отказаться от неё, что тоже смертельно, хотя в любом случае отказаться от себя придётся. Действие по прихоти. Оно заведомо незаконно. Достигается действие без причины, и, кажется, тонет в произволе, руководствуется лишь одним «нравится», «любо» (шучу).

Какой-то отчёт надо себе давать, я же говорил, что при отсутствии воли надо будет искусственно вводить и волю, и цели, и прочие превращённые, отчуждённые, возвращённые, возвратные формы, чтобы не завязнуть и не утонуть в «просто так».

Остаётся чистое любование, и для того, чтобы быть и преодолеть чистое созерцание, растворившись в нирване, надо будет преодолевать сопротивление «Ничто».

Тут возникает множество вопросов. Поскольку всё находится в превращении, не может быть определенного ракурса — его выбирают и устанавливают.

Видение беспрестанно (беспрестранно) меняется в неопределённости. Всё движется — и прошлое, и превращаемое, и создаваемое будущее, и настоящее.

При этом созерцание, как бы эстетически оно не было звучно, создаёт при помощи феноменологии новые проблемы. Так что ничего невероятного нет: вполне можно сравнивать созерцание в Немецкой классике, европейском видении, и созерцание в Индийской философии и китайской, хотя, казалось бы, такая постановка совершенно не правомерна, но даже во времени и в пространстве всё меняется, и не только потому, что всё дозволено, но и ни почему, без причины, одним действием.

Вторжение немислимых сил изменяют мир, причём заведомо ложными решениями, но они заполняют лакуны, как временные заменители. Вопрос об актуальности снимается.

Я встречал исследования, который почти смешны, например: «Влияние шумерского малого фольклора на творчество А. С. Пушкина на материале стихотворения “Булат и золото”». Эти дальние ассоциации имеют право на существование ничуть не менее, чем попытки В. Н. Топорова сравнивать понимание категории «движения» в Античной Греции и в Индийской философии: сравниваются не только Парменид, Зенон и Нагарджуна, проводится

анализ концепций, написанных на разных языках, в разное время — чуть ли не семь веков разделяют их, но тем не менее. Только вскользь брошена маленькая оговорочка, дескать, движение и мнение связаны (кто ж спорит), и элеаты, и независимые во мнении мадхьямики только и делали, что якобы доказывали логическую несостоятельность приложения понятия движения к сфере «подлинного», абсолютного, ноуменального и «практического» удобства понятия движения применительно к «мнению» (δόξα), к «истине покрова» (samurtisatya — как-то так), к сфере неподлинного, мнимого, феноменального — закавычил бы, но не рискну, настолько это фантазии автора.

Самое интересное, что ни доказать, ни опровергнуть это невозможно и не надо. И современная «наука» давно вступила в область допущений и «может быть» (Топоров В. Н. Об одном из парадоксов движения. Несколько замечаний и сверх-эмпирических смыслов глагола «стоять», преимущественно в специализированных текстах // Концепт движения в языке и культуре. М.: 1996. С. 7–89). Я бы не рискнул сравнить раннее творчество одного автора в разные периоды жизни, например, Шеллинга, но если очень хочется, то можно, исходя из самоуверенного представления, что я это действительно понимаю. «Если я это я, — меня не укусит собака моя». (Шучу). Хотя тайным желанием каждой гипотезы есть сбывание или, хотя бы, превращение в теорему.

Тавтология (Шеллинг), себе тождественность и упразднение, исчезновение в основании. Потому что всякое тождество,  $a=a$ , есть положительное утверждение неравенства, отрицания и трипостасности, признание абсолютного хотя бы как движения, то есть, ты есть ты, но тем самым даже формально себе не соответствуешь, как становление становления. Тут иногда не понимаешь современника и всю современность, а то и себя. Этому можно только удивляться, но смеяться не стоит.

Курьёзов много, но то же самое делает каждый. Просто создаётся новая реальность, которая сверхплотна и саморазогревается, балуясь ассоциациями, ассоциациями ассоциаций и т. д., живущими самостоятельной жизнью, изменяющими память и восприятие. Это может быть и финалом, потому что фантазии и ложные чувства, потакая слабому человеку, могут вести его к гибели (но каждый думает, что его это не коснётся, уверяя себя, что истина — всегда по касательной, всегда кривая, та же линия жизни

всегда помимо (всегда — мимо), и потому к истине приближаемся ассимптотично), создавать эффект энтропии, заставляя затухать сам процесс мышления и чувства. И Гегель это предполагал, быть может, сам не зная степень опасности, когда считал, что этапы развития завершаются психологией:

«Субъективный дух есть:

А. Дух в себе, или непосредственный; в этом смысле он есть душа, или природный дух; — предмет антропологии.

В. Дух для себя, или опосредствованный, понятый ещё как тождественная рефлексия в себе и по отношению к другому; дух в отношении, или обособлении; сознание — предмет феноменологии духа.

С. Себя в себе определяющий дух как субъект для себя, — предмет психологии» (Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Философия духа. М.: Мысль, 1977. Т. 3. С. 38).

Можно сколько угодно уверять, что и психология не та, и никакого отношения не имеет к современному представлению о ней, особенно самомнения её адептов, но единственное, что несомненно: любое предположение — возможно, как сама возможность.

Современность бедна на фантазию, убога на гипотезы, но охотно имитирует ассоциации, образное мышление, продуктивное воображение. Если бы современное мышление «сочиняло на ходу», а не «по ходу», но по своей «второй», вещной природе, оно репродуктивно, тиражировано и осуществлено в вещи (пример тому — штамповка компьютеров) и персонализировано, овеществлено, поставлено на поток, как некая модель, выброшенная на продажу.

Короче, само мышление и воображение вступают в противоречие с реальностью, новой действительностью и, как и свободное время, становятся издержками производства — их надо свести к минимуму, но тогда невозможно развитие, которое без возможности не существует (но существует без возможности становление, поскольку для него нет прежде и потом — оно всецело действительно), как производства человека, так и общества: не существует их создания в свободном времени, формирования свободного времени, когда оно становится саморазвитием, самодеятельностью.

Я намеренно огрубляю, потому что производство свободного времени кроваво, если оно неестественно, если оно —

не вовремя (а оно всегда не вовремя, поскольку оно — не вполне время, и потому противоестественно, не совместимо с нынешней жизнью). Оно, буквально, создано из ничего, Суть его и сущность в превращении, оно смертельно и смертоносно. И «умереть от скуки», когда всё дозволено — ещё не самое худшее из зол.

С этим надо считаться, как с пределом, потолком твоего развития на данный момент. Ты вынужден соответствовать тем масштабам, которые тебе положены как естественные, а это гибель: и если ты остаёшься, воспроизводя себя в форме покоя, даже если это не необходимость, а свобода, и в том случае, когда ты взламываешь самого себя, очертя голову прорываешься в иное, которое тебе неведомо. Хотя любой уход в основание — всё равно уничтожение.

Тут возникает ложная проблема выбора, потому что выбора нет, но выбирать приходится. И не менее ложна проблема смирения и судьбы, правильно выбранной смерти.

Любое действие — неоправданно, не обусловлено, любая жизнь мала для сущности, и ты страдаешь от клаустрофобии, и, как это ни самоубийственно, но требование универсальности принудительно приводит ко всеобщности, а не всеобщности, к коллективности, и ясно видишь, что ты должен действовать в одиночку, но как человечество. Даже на уровне индивидуального опыта понимаешь, что знать всё нельзя. Но это не повод отказываться от действия, от деятельности. Хотя сама природа сознания универсальна.

Не на это надо обращать внимание. Книги, читанные-перечитанные и знаемые текстуально, вдруг изменяют содержание, они приходят в движении и открывают в «откровении», о котором писал Гегель, такие бездны, что из них не выбраться, сколько ни читай, да дело и не в чтении, а в том, что теряешь себя, потеряв предвзятость, так называемое знание, и не узнавая свои чувства. Этого не надо бояться. Можно вообще ничего не цитировать и ни на что не ссылаться, но ты, при всём незнании — в этом грандиозном потоке становления, который может оказаться и вырождением духа.

Я хотел бы, чтобы компьютер обладал искусственным интеллектом, но он не может и всегда будет не мочь. А сможет — не проблема. Это вопрос не теории, к чему готовиться, не весь этот параноидальный бред о порабощении людей машинами. Они и так поработили, оставив только слабоумие.

Это подобно обсуждению вопроса, является ли копия произведением искусства, как это делает американский лопух (лопух не лопух, а свой гешефт имеет), который просит корреспондента: «Называйте меня просто Вальтер Беньямин», взяв имя действительно гениального представителя Франкфуртской школы в качестве псевдонима. Ну, тогда зовите меня просто Шеллингом, Гегелем, Проклом, и, скромно так, Карлом Марксом, — я не обижусь.

Есть, правда, создаваемые пространства, и далеко не глупый вопрос так называемой пост-феноменологии: как изобразить феномен невидимого, не нарушившего невидимости, но это скорее поэтический вопрос, как передать образ, не называя, изобразить дождь, не помянув дождь и мокрые крыши. И заниматься этими вопросами возможно только без причины, потому, что захотелось.

Так называемая наука не только пронизана мифологией, но и сплошь метафорична и поэтична, и это задача поэзии, вернее, незадача, а просто поэзия, которая — всегда неудача, даже в лучших образцах.

Представляю, какой восторг и мучение испытывал каждый, кто писал стихи, независимо от удачи, сталкиваясь с невыразимостью, и, в то же время, свободой, и тем, что называют «вдохновением». Интернет — только орудие, и все побочные эффекты — только от его несовершенства.

Интернет, конечно, не «виноват», и тут только воля может безнадежно и без причины заставить делать нечто нерациональное, например, думать.

Просто появилась среда, что само по себе опасно, которая начинает жить по своим собственным законам, хотя она по-прежнему вторична. Начинают видеть источник движения не в деятельности, а в бытии духа.

Что-то подобное произошло с работами Адорно по социологии музыки. Всё верно, и инвективы франкфуртца относительно общественного формирования современной музыки, как неизящно выражаются, «имеют место быть», но музыка, по счастью, ускользает из крепких объятий социологии.

Поэзии безразличны причины и мотивы её возникновения. Она существует, как нечто самоявленное, самопорождённое. Бессмысленно объяснять страсть «конвергенцией приёмов», как глупо видеть в искусстве только форму отчуждения, хотя это так и есть. Музыка отдельно, социология отдельно, хотя они об одном. Самой музыке безразлично внимание философии, психологии, социологии.

Поэтому и проблема свободного времени не довольствуется объяснениями, любыми, время объяснений почему, зачем, какой смысл — прошло. Свободное время требует действия. Полифонии во всей полноте, а не просто написания партитур. К тому же, оно склонно к импровизации, и узнаётся много позже. Свободное время не может быть привычным. Всё дело в исчезновении, а не положительной и отрицательной стороне противоречия, которые во взаимопереходе.

Универсальность не может быть частным случаем, хотя желательна, и, как подспорье в профессиональной деятельности, создаёт больше возможностей, хотя на самом деле одну-единственную возможность превращает в действительность. (Тут позволительно предполагать и ложные вопросы, для контрастности и графичности, например: «как возможна универсальность частным случаем?» Хотя в классической постановке виртуозные решения уже были : «Как всеобщее может являться особенным в единичном».)

Свободное время балансирует на грани перехода — это бег вечности (хотя бежать ей некуда — всё движение в себе). Он не определён, не определён, но предопределён, при этом взаимопереход вечности и времени создаёт вал, некую волну с закипающим гребнем, где вечность хочет сбиться в самоотрицании, и время уже — не время, оно — не дано.

Указать на это, увидев, обретая зрение: «Смотрите, смотрите!!!», как зевака — не сложно, а вот превратиться, забыть в самой деятельности, порождающей эту поразительную встречу, вихрь, пятую стихию, труднее: нужна дерзость и одержимость, должно быть не жалко себя.

Это неопределённость, которая — предопределённость. И многие это чувствовали, не отдавая себе отчёта, да почти каждый, кто занимался любимым делом, не скажу творчеством, в науке, искусстве и просто в игре «всех духовных и физических сил», в чувстве. Больше не обязательно знать, откуда это всё. Мы имеем дело с настроением и настраиванием. И совершенно далёкие вещи изменяют пространство.

Свободное время — место, в котором обнаруживается что-то невероятное. Место-память. Призрачный город, но это привязывание, как, например запах кипарисовых и оливковых стволов в камине на острове Кофра для молодого Лоуренса Даррела («Келья Просперо»), и жизнь ещё впереди, как пронзительные стихи Квафиса «Город» в переводе на чужой язык, — можно привести пять или шесть, но хватит и одного, — только поэзия схватывает эту покинутость:

#### Город

Сказал ты: «Еду в край чужой, найду другое море  
и город новый отыщу, прекраснее, чем мой,  
где в замыслах конец сквозит, как приговор немой,  
а сердце остывает, как в могиле.  
Доколе разум мой дремать останется в бессилье?  
Куда ни брошу взгляд — руины без числа:  
то жизнь моя лежит, разрушена дотла,  
ее сгубил, потратил я с судьбой в напрасном споре".

Нет, не ищи других земель, неведомого моря:  
твой Город за тобой пойдёт. И будешь ты смотреть  
на те же самые дома, и медленно стареть  
на тех же самых улицах, что прежде,  
и тот же Город находить. В другой — оставь надежду —  
нет ни дорог тебе, ни корабля.  
Не уголок один потерял — вся земля,  
коль жизнь свою потратил ты, с судьбой напрасно споря.

*Перевод Е. Смагиной*

Ты твердишь: «Я уеду в другую страну, за другие моря.  
После этой дыры что угодно покажется раем.  
Как ни бьюсь, здесь я вечно судьбой обираем.  
Похоронено сердце моё в этом месте пустом.  
Сколько можно глушить свой рассудок, откладывая жизнь на потом!  
Здесь куда ни посмотришь — видишь мёртвые вещи,  
чувств развалины, тлеющих дней головешки.  
Сколько сил тут потрачено, пущено по ветру зря».

Не видать тебе новых земель — это бредни и ложь.  
За тобой этот город повсюду последует в шлёпанцах старых.  
И состаришься ты в этих тусклых кварталах,  
в этих стенах пожухших виски побелеют твои.  
Город вечно пребудет с тобой, как судьбу ни крои.  
Нет отсюда железной дороги, не плывут пароходы отсюда.  
Протрубив свою жизнь в этом мертвом углу,  
не надейся на чудо:  
уходя из него, на земле никуда не уйдёшь.

*Перевод Г. Шмакова под ред. И. Бродского*

И так во всех вариациях, потому что во всех временах, в каждом мгновении — свои оттенки, своя печаль. И был бы другой поэт и другое стихотворение, и вообще не про город и старость, а, предположим, иной порядок речи и музыка другая, смысл — в изменении и неизменности.

Ничего бы не поменялось, если бы я привёл стихотворение на языке оригинала. Или, в данную секунду, под настроение, мне захотелось обратиться к Р.-М. Рильке. Всё — об одном. Куда бы ни пошёл. И — только печаль от избытка. И — нельзя всё сразу.

Рильке знал, что делал, но именно потому, что знал и французский, и немецкий, и русский. (Нечто подобное пытался сделать Набоков в «Аде» — сделать, сшить из нескольких культур — одну. Но это незачем делать искусственно, создавая некое эсперанто, это происходит всегда, везде, постоянно. Есть единый язык, не теряющий ничего. Но мы — потеряли многое. И продолжаем терять, хотя об этом не знаем и представления не имеем. И ничего с этим поделать нельзя. Дышим — сжигаем клетки, окисляемся. Сгораем. Перестаём быть. И тем освобождаем время. Свободное время — кровь жизни. И мы её проливаем.

Тут амбивалентность в том, что «время жалко» и «времени жалко»: время для чего? Зачем? Вопросительное время — уже внешнее. Оно же — внешняя форма и основание в лишённости, которая представляет собой укоренённость в ничтожности. Время — как средоточие и вместилище бытия, суть которого в прехождении, в котором смысл времени.

Тут — принципиальное различие философии и метафизики. Вернее, диалектики, которая — всегда противоречие и в противоречии, как диалектическом, когда противоположность — своё другое, «в то время, как» (очень точно — во времени и как время, и в то же время — никак, ни что, — абсолютное основание, основывающееся в ничто).

Тут диалектика переходит в метафизику, которая всегда — разрешённое противоречие. Она, метафизика, говорит от имени абсолютного, как ставшее, окончательное разрешение противоречия, но которое чревато противоречием. Потому что, как абсолютное определенное ничто, чтобы быть абсолютным, уже определено и есть некоторое нечто.

Короче, метафизика и диалектика нуждаются друг в друге, хотя бы накоротке, и этот взаимопереход — переход абсолютного бытия и абсолютного ничто.

Диалектика — становление, метафизика — ставшее, снятие, но которому не удаётся стать абсолютным — всегда есть иррациональный остаток, который намного превосходит обретенное. И тут метафизика с облегчением становится диалектичной — смерть её откладывается на время. Потому что время это, в своей преходящести — не окончательное, не оконченное на целое отсутствие. На целое время. Вечность длится. Диалектика и метафизика перетекают друг в друга — это апория. Но может выступать и антиномией. Смысл в том (побочная партия), что знание

нуждается в неизвестном, а сознание, для того, чтобы быть — в бессознательном, бессознательным.

Тут вопрос в другом. Но, на самом деле, это не проблема, а типичная схоластика (схолия, школия, вышкол мышления). Дело — в духе, по крайней мере, так кажется. Дух — не в духе.

Обыкновенно в истории начинают с натурфилософии, а заканчивают религией, мифологией, откровением, философией, этикой, эстетикой — в абсолютизированном виде. А меня занимают вопросы натурфилософии, даже не онтологии: как из мёртвого рождается живое? Я даже предположил бы, что именно этот вопрос был главным, который двигал так называемые естественные науки. Ну, потом, понятное дело (природа порождающая и природа порождённая), как из мёртвой материи рождается живое, дорастает до идеального, до мышления. До чувств. Где разрешается противоречие духа и материи, и, при всей хрупкости жизни и духа, смысл в том, что мышление, и дух, и чувства являются необходимыми, я бы сказал, судьбой развития материи вообще — её необходимой свободой.

И при этом так называемая природа невероятно расточительна. Она вбрасывает бесконечное число возможностей, а выбирает только одну, которая становится необходимой, и может быть, свободной. Но может и не быть, даже случайной. Перебиваться унылым существованием.

Должна быть необратимость. Она и есть. Хотя, одно дело — насыпать столько же элементов, столько же атомов, сколько в организме, или столько же нот, но сыграть их все наоборот и с теми же паузами, теми же интонациями, прокрутить обратно... Момент необратимости дарит не столько неповторимость, сколько «только так и никак иначе». «Потом» ничего не бывает (Ничего, ничто и так не «бывает» — оно сбывшееся, рушащая, обрушивающаяся, «рушійна сила» — движущая. «Потом» — это бывшее).

У Флоренского есть житейская мысль об обыденности философии, о её «бытовом жизнеописании»: владение всеми точками зрения — гигантская библиотека (задолго до Борхеса), но не имеющая каталога. Я, собственно, о чём: философия в её житейскости, в жизнедеятельности — даже не интонация, а внимание и объяснение, прояснение. Она житийствует. Объясняя очевидное, но не выражая его. Принцип неопределённости — в каждой букве, как рассеяние, рас-сияние.

В то же время наука в своей претензии владеть и властвовать над жизнью, в своих, казалось бы, определениях желает «властвовать», и тем господствовать над жизнью, а не жить. Обыкновенная философия — как обыкновенное чудо.

И, в принципе, всё равно, какая она и как называется: диалектика и метафизика, и прочие частности, ей даже всё равно, философия ли она. Она сродни жизни, которая вторгается в догматизм «науки и нарушает требования неизменности» — ну, в общем, всё это есть у Флоренского в маленьком разделе «Диалектика», в «У водоразделов мысли».

И всё же гложет меня, к чему было это писать? Чтобы, оборотившись, вернуться? Грянувшись оземь, обернуться? Возвратиться, воротиться, времяворотиться во времяворотах? Там оно кажется обратимым? На круги своя? Превратиться? Трудно сказать. В буквальном смысле трудно. Потому что безразлично, какая она, философия, и она ли это.

Странное пристрастие и склонность философии — заканчиваться тем, от чего она отказывалась, улепётывая во все лопатки, потя до исступления, оканчиваться банальным мнением. Это пугает, своей расхожестью, нисхождением до предрассудка и суеверия (как плюнуть три раза через левое плечо), почти оскорбляет.

Так что философия — уход в поисках необратимого. Его потому и ищут, что оно, даже найденное, необратимо, и смысл в поисках, а поиски в превращении, которое — мы сами. И в непостижимой скорости, когда хочется остановиться, как будто остановленное движение это ты сам. «Остановись, мгновенье...»

И речь идёт не только о восхождении к чувствам, как сверхчувственному, но и о превращении, преобразовании, создании даже ощущений и прочего. Бесчувственные чувства, ничего не ощущающие — это было бы слишком, достаточно того, что «слишком» — сами чувства. Их необходимость порождена свободой и, в сущности, «перво-проточувством», ещё недоразвитым — любовью. Которая похожа на ту, которая произойдёт и будет (или так и сканает, как коллоидный раствор), похожа на идеальное чувство. Есть чувства и грандиознее, но все они, и те, которым ещё даже имени нет, о которых не догадываешься — по крайней мере, высшей мере, свою тотальность и абсолютность наследуют у свободы.

Долго объяснять... Смирение себя, вернее, адекватность себе, даже самочувствие, себетождественность — рождаются разрывом. Не должны мы понимать историю. Не понятен ни один автор — только приблизительно. Если собеседник твой современник, и то можно уточнять до бесконечности.

Что и говорить, когда с собой согласия нет, и тождественность с самим собой распахивает бездонные пропасти, бездны, и не только потому, что ты — то средоточие противоречия, где «дьявол с богом сражаются», но и все противоречия универсума силовыми линиями замыкаются на тебе. В какой-то мере ты — их средоточие, мера, разделительный принцип — конечно, ты их синтезируешь и решаешь в единстве самосознания, по-

рождённого деятельностью, которая создала и создаёт тебя. Но всё сводится и восходит к единству бытия и ничто.

Я тяжело болен свободным временем, которое смертельно опасно, когда оно преждевременно, как и абсолютная красота — убийственна и несовместима с жизнью, пока твоя природа ещё не становится ею (становиться красотой — это то, о чём Гегель: то, что становится и его становление — одно и то же. Становится понятным саморазличие перехода и превращения. Переход — всегда в себя, превращение — всегда в иное, но друг без друга они не бывают, то есть, не становятся, как своё-другое, потому они — всегда возможность друг друга, как взаимопереход и взаимопревращение). Твоя природа противится, влекомая прекрасным: это душа вещи, и покуда вещьность — мера человеческой природы, протез, механизм, — красота всегда будет противна человеческой природе. Прекрасное — против красоты, а самой красоте человек безразличен, она до него не опускается.

И писание — это болезнь и калецтво, профессиональный кретинизм, легендарный горб Микеланджело от занятий живописью. Шизофрения. Это замедление, останавливание, а потом распад и дезинтеграция. Если можно было бы вечно жить в экстазе, экстатируя за пределы себя, я бы так и делал. (Гегель: «субъективный дух полагает пределы, чтобы преодолевать их и выходить. Установление пределов — есть выход за эти пределы». Шеллинг: «человек отодвигает пределы в бесконечность». И т. д.)

Но что делать, когда пределов в свободном времени нет, оно само, кроме себя самого — переход, и любая деятельность в свободном времени самоубийственна, поскольку, чем бы ни занимался, что бы ни делал, свободное время совпадает со временем жизни, и потому, как ни крути, именно в свободном времени ты понимаешь, что оно — мера твоей жизни и что оно истекает, оканчиваясь, заканчиваясь. Ты со временем ближе (к смерти, которую ты и сознаешь (создаёшь) только благодаря свободному времени: до этого тебя времени нет. До этого не жалеешь о жизни, а тут впервые появляется чувство не то, что страха, — скорее тоски от неизбежности, ощущения конечности в бесконечности. Досады. Напрасности. До появления свободного времени всё представлялось закономерным, беспечным. А тут — невидаль и забота. Появляется суета. Умирать — хлопотно и некрасиво.

В сущности, когда ты занят делом, ты по-своему счастлив, и избыток времени, стремящегося к возрастанию в бесконечность (формальное экстенсивное свободное время), чтобы стать «всем временем» — активно закономерен.

Необходимое время стремится к нулю, а свободное, — хоть оно и издержки производства, — объективно к бесконечности, иначе не будет возрастания и прибавочного. На самом деле, свободное время стремится не к дурной бесконечности количественного возрастания, а в этом стремлении, в стремительности — к превращению в вечность, и это ему почти удаётся. Происходит интенсификация свободного времени свободным временем (скорость, плотность, превращение). По форме оно — время, а по фактуре, по «веществу» оно — вечность.

Это как «плазма, удерживаемая магнитным полем деятельности — почти неисчерпаемый источник энергии, в самом серьёзном значении, «энергейи», понятой как универсалия и трансценденталия. Скорость превращения — только «дайнемис».

Но возможности мои ограничены, и вот всё уходит в деятельность, которая поглощает моё существо, в моём случае — в текст.

К тому же, я чувствую текст и текстом, что время монописьма (хотя бы полифония письма, когда каждое слово — аккорд, кластер, микрохроматика, всезвучие) прошло, и все, от Маклюэна до самого распоследнего феноменолога, правы, что гениальное открытие отчуждённой, заторможенной, отставленной на Время речи — в письме.

Наконец, сделали ещё шаг к непосредственному движению, и язык начал стремительно меняться на глазах, и я замеряю скорость урагана. Он уже не просто меняется, отставая приблизительно на 25 лет, он клубится, и ничего зафиксировать и зафиксироваться не хочет, всё схватывается не потом, а сейчас, всё меняется уже в понятии, в превращении, в трансценденталии, всё превращается в трансценденталию и одновременно в универсалию, и в одном вдохе тот же состав воздуха, что и в целой атмосфере Земли.

Он ведёт себя непредсказуемо, но закономерно, как атмосфера. Языком должна заниматься не филология, а метеорология, в будущем — наука об управлении погодой. На очереди — изучение климата языка. Сейчас мы наблюдаем не создание единого языка в его изменчивости, полной жизни, а упрощение и формализацию, инвентаризацию номерами, как в фашистских концлагерях. Можно, конечно, сетовать на массовую утрату языков, даже тех, которые живы.

Возможностей хоть отбавляй: хочешь читать досанскритские тексты — пожалуйста, изучай Пали, ну и так далее, но вопрос в другом. Даже в рамках одного языка шашель прагматики точит ещё живое дерево, и язык умирает вдруг, внезапно, хотя вполне жизнеспособен.

Первым это почувствовала поэзия, и начала задыхаться, потом вся ли-

тература, а музыка даже не понимает, что происходит, — в то время, как философия давно это знала.

Достаточно посмотреть на филологию, чтобы подивиться фантастическим и грандиозным усилиям по спасению того, что уже потеряли. Но наивно полагать, будто эти музейные усилия могут что-то спасти от комической катастрофы. Филологи, как лемуры, скорее хоронят мертвецов в гробах с инвентарными номерами учёта. Это область фэнтези, основанного на тяге к эмпирии. Филология не справляется с этим. Интонация и вкус языка — как стихия. Пока этим занимается поэзия и музыка, а это как управление бурями и грозами, стихиями при помощи пословиц и молитв, заклинаний и законов гармонии, памятуя, что уже пифагорейцы этим пользовались, что планетарная механика неба подчиняется музыкальным пропорциям (без этого тоже не обходится. Это другие средства и другой опыт, больше мифология. Пока разговоры. Письмо, писание натолкнулось на противоречие существования и развития языка, как противоречие духа и материи, и это невероятно, хоть и происходит на наших глазах. Язык столкнулся с диалектикой, хотя принципиально метафизичен).

Я не сопротивляюсь и задыхаясь, страдая одышкой, нехваткой воздуха и непомерных усилий, хотя прекрасно знаю, что время одиночек прошло, и вообще ничего моего в этом мире нет: ни способностей, ни истории, ни языка, ни мимики, ни условий моего существования — миллиарды людей вынуждены производить продукты питания, питьё, одежду, компьютеры, электричество, свободное время, чтобы я мог позволить себе роскошь чувствовать, говорить и писать, и всё это тоже мне не принадлежит, как и мысли, созданные не мной, способ мышления, разум и язык.

Я даже умереть не могу самостоятельно. А что же от меня? Да только усилие, и не сила разума, — она тоже не моя, — а просто усилие жить, даже если я ничего не создаю, а просто безвольно участвую, и это всё включено во всеобщее развитие в качестве бесконечно малой величины, которая не учитывается. Бесконечность до, появление из неживого живого, миллиарды лет эволюции, явление духа, идеальное, появление чувств, и потом — меня. Я, а потом — опять бесконечность без конца.

Моя жизнь — малый просвет, разрыв вечности, делённой надвое, в сущности, утраивание бесконечности (три бесконечности — не больше, чем одна, но всё же мои возможности превышают их на целую смерть), потому что я, — перерыв постепенности, — так же бесконечен, как до и после меня.

Я вижу, понимаю, осознаю, удивляюсь, сомневаюсь, и стоит мне умереть, как эта бездна обнищает на целый взгляд, хоть и слабенький и близорукий, но я в своих ограниченных температурных, слуховых, зрительных способностях причастен ко всеобщему развитию, я мыслю, как вселенная, вернее, я и есть мышление, видение и слышание этой бесконечной музыки, хотя она больше напоминает шумы, смешиваемые в ракушке — ничего общего с океаном, но этот космический белый реликтовый шум — вся музыка звёзд, которые были, есть и будут. Но всё это является мне односторонне и, в сущности, я просто оседлал смерть, персонифицированную отрицательность.

Чтобы постичь это, я должен умереть, что происходит и в самом существовании жизни. Я веду себя не как одноклеточное, но как одна клетка единого высокоразвитого существа, одна живая клетка объективного духа. Но — клетка! И в этой грудной клетке сердцу тесно. И это вынужденно. И этого мало. Но нет меньше-больше. Максимум и минимум Кузанского совпадает. И в этом — поэзия. Пытаюсь успеть за этими превращениями. И не успеваю. Отсюда боль, как единственное свидетельство жизни. (Боюсь произнести, но жить — больно, думать — больно, чувствовать — больно, только мы этого не знаем.) Я чувствую всей музыкой, всей философией, всей поэзией, — единым чувством. А всякое чувство страдательно, оно буквально в «страдательном залоге», оно заложено за долги, оно — заложник, и пока не свободно, даже если оно — всеобщее чувство. То единственное чувство, где все чувства есть оттенки одного и того же — чувство развития и превращения всеобщего. Оно слишком долго и длится, и тянется, а по сути, оно не наматывается клубком, не тянется тягомотиной, а мгновенно, по крайней мере, имеет скорость света. Как у одного плохого поэта о скорости света (вот, вспомнил, это Лев Оборин):

Солнце ползёт по низинам, по замёрзшим трясинам,  
 По горным вершинам, по стариковским морщинам.  
 Идёт и заглядывает в ледяное озеро,  
 Высвечивает лягушек в анабиозе.  
 Ответ без вопроса. Ни для кого примета.  
*Нет ничего медленней скорости света.*

У него гениальное прозрение — для красного словца. Но всё же это правильно, что самое медленное — это скорость света, и он прав, потому что она — константа, от неё можно считать и измерять всё остальное, опускаясь. Подымаясь до чувств, потому что единственное, что остаётся — человеческие чув-

ства, постоянно возникающие и не исчезающие после смерти. Их нет, но они везде. В этом — сущность воображения. Процесс письма — процесс убогий, суррогат действия и чувства. А я хочу, чтобы была радость, как в первый день творения, а не заменитель. И это происходит всегда, каждый день, первый и последний, я всё это делаю не от избытка (хотя есть тоска от избытка и тоска от жажды), а от старости — это замшелое, задохнувшееся, протухшее, удушающее чувство. Это как чувство вины за несодеянное, невозможность что-то сделать, причём объективно — страшное чувство отработанного прошедшего времени, которое для тебя — будущее.

А главное — по-своему свободное. Неизбежность, невозможность. В старости самое страшное — это то, что ты отброшен в собственные границы, в потасканную шкуру индивидуальности. «Одиночка в четыре стены».

Слабым утешением служит, то, что большинство живёт со стадным, банальным сознанием всю жизнь, то, что ты слышишь музыку, хотя мог бы не воспринимать самые фантастические произведения, ты чувствуешь стихами, а мог бы не слышать их, наконец в философии ты на родине, а мог бы... А теперь не можешь, и мышление тебя предаёт, и память отказывает, и мне уже поздно, слишком поздно — это чувство зависти, чувство представления. Оно не может стать непосредственным, и потому разлагается, расслаивается.

И толку говорить о поэзии философии, её музыке, о том, что все чувства сливаются в одно единственное — все думают, что это старческий маразм и слабеющее сознание. И как передать эту радость бытия, похожего на трагедию? Если это и впрямь «песнь козла». Так не должно быть, и в текст превращаться не надо. Молодость к молодости. Это чувство забвения и есть корчащаяся память, пытающаяся мучительно вспомнить, как это тебя опустошает, будто вскрыли вены, и свободное время покидает тебя, даже если ты чувствуешь другое. Я пью время жизни, как «помутившийся воздух».

И даже если ты делаешь это с радостью, самозабвенно — это дела не меняет. А мне бы хотелось счастливо не задумываться над тем, что происходит и как пишется. Всё то же самое, поэтому ничего изменить нельзя, кроме меня, и даже не меня, а старости, которая тоже моя. Всё, я опоздал.

Иногда я думаю, что это расплата за то, что я написал о Другом. Как изощрённые пытки в Аиде, которые не пытки, а невинные забавы: хочешь напиться — наказание вечной жаждой и вечной жизнью. Хочешь другого, и другой — всегда — другой. Покарание (и покорение другим), собственно желанием. Но меня — понятно, за что. Эгоизм письма (я присваиваю свободное время и транжирую его ни на что, шедевров не пишу, это правда, отчасти, но эгоистическая, потому что ты можешь, но противишься). По сути, я получаю свободное время для того, чтобы не писал ничего.

Писание текста — это то, чем приходится расплачиваться, и раз уж выбрала

эту стезю, ты будешь с этим считаться. Есть цензура, когда пишешь то, что хочется. Поэзия — способ жизни, но, когда пишешь потому, что вынужден зарабатывать, идти на компромисс, чтобы иметь свободное время, то компромисс этот — не сговор с собой, а бездарность, полученная, как проклятие времени.

Это трудно передать, да и не надо, но это лень и пагуба свободы... Короче, это примирение приятного с полезным. Там — своя расплата, легче не будет: ни тогда, когда ты отстраняешься, ни тогда, когда ты рискуешь всё переживать и чувствовать. Самое смешное: да, я — тяжёлый, невыносимый для себя, и полноты бытия нет, а исполненность — это гибель.

Но полнота жизни, тяжесть и нежность, свет, время — одной природы. Только смиряться не надо, дескать, природа... («Фюзис», но не тот древнегреческий, а глупый «фюзис» в трактовке Хайдеггера, как чувство долга перед фатерлянд, — только перед собой, ты никому ничего не должен, что поделаешь — это то, что является «движущим противоречием» и изгоняет за предел, предел создавая пределом. Как писал Гегель (слабый аргумент, но всё же): Дух вынужден полагать предел, чтобы, создав его, выйти за пределы пределов, живя *по сути* на пределе не только действительного, ни возможного. И он, и Шеллинг понимали это. Но ведь не хочется, потому что тебе это не по силам. Что это, любовь через силу? И высокие цели, «поиски смысла», «сотворение себя», «служение науке», делу, идее — все эти заботы гонят тебя в порыве за пределы, если эти пределы не существуют, и нет источника противоречия, который бы их создал и сделал их преодоление невозможным.

Конечно, дело не в науке или житейскости (и размышлениях кота Мурра). Мышление, дух, вообще чувства становятся, но они не знают об этом, когда начинают догадываться, что дело — не в них и их явности, явности, объявленности, оформлении явлением, *оявленностью* как осиянностью (в контражуре, против света, в тени явлений и вещей), наявностью в оплотнении видимостью, обнаружении, откровении. Они кажутся сами себе, осознают свою бесконечную определённую, и на этом останавливаются, застывают, следом, следствием движения, превращённого в жест, эктип, отпечаток, и потому в своём зазеркалье принимают себя за эйдосы, где всё наоборот, напротив, против. Переворачивание вместо превращения.

Они в упоении рассматривают это как свободу в то время, как это всего лишь лишённое оснований всего свободное время, которое в своём развитии спонтанно (привычно, как само собой разумеющееся и разумеющееся) своё освобождение выдаёт за субстанцию свободы. Время (и пространство) — даже не атрибут(ы), а фигура, модус деятельности, но доразвивающийся до субстанции. Оно «ещё-не-субстанция» или даже «никогда-не-субстанция», но уже и не атрибут, превращая последний (атрибут), свой уход-покинутость в данность отсутствия, в «никогда».

Наверное, никто и представления не имеет (не до того пока), что, кроме диалектики превращения единичного, особенного, всеобщего и различных развитий самой деятельности, как самодеятельности до универсальности, каждый момент модуса и фигуры доразвивается до субстанции как бытие-возможность. (Может ли субстанция быть бытием-возможностью? Вполне. Именно вполне, во всей полноте, уходя в исчезающем времени в основание, утопая в чистом становлении, я бы сказал, в его «ветении» если бы «вель» была не двусмысленна.) Субстанция абсолютна, как бесконечное движения. И потому вопрос о её одиночности и множественности — просто от невозможности видеть изменение, превращение, развитие, становление, «можность», а невозможность видеть невозможность — как невидимость. (Задача, которой балуется так называемая «пост-феноменология».)

Как бы то ни было (как оно ни было? Как оно только ни было — это не смена состояний или агрегатных состояний времени, не этапы процесса, а сама жизнь, к которой не применимы механические, количественные мерки), свободное время абстрагируется от свободной деятельности. И представляет себя вдруг, в начале по видимости, как субстанцию свободной деятельности духа (отсюда Шеллинговские деятельности интеллигенции и вообще такой пиетет духа к самому себе — это не значит, что его надо презирать).

Такой восторг от абсолютного беспокойства и от того, что дух вне времени и пространства, бесконечен, вечен и весь в становлении, супротив косной материи, которая — ничто. Хотя ещё у Гегеля есть схоластические представления о материи — она у него и пористая, и вещь, состоит из многих материй, что странно для диалектика, поскольку уже в античности понимали, что «нет материи и движения, а есть движущаяся материя и материальное движение». И даже в раннем христианстве бог творит мир из материи, то есть Ничто. Дух охотно закрепляет эту видимость и кажимость, культивирует их, благо есть чем и есть время этим заниматься. В этом смысл искусства. Дух и искусство действуют как консервативная, воспроизводящая сила, определённая и определяющая.

Представляется, что ближайшей причиной есть свободное время. Его недостаточно, и дух эту нищету, которая выражается в разрыве деятельности и мышления, компенсирует тем, что свободное время кажется панацеей. «Дайте мне свободное время, и я превращу материю в торжество свободной деятельности и бесконечный мир разума.» «Дайте мне точку опоры...» А силу я найду. И находит, ищет, сочиняет некую силу, которая вот-вот будет создана (и создаётся), как вечный двигатель, движитель и даже кажется источником саморазвития. (Вопрос не в наличии свободного времени, а в его производстве, вернее, в произведении, когда и его воспроизводство становится актом творения.)

На самом деле, это долго на энтузиазме держаться не может. Свобода не знает, что с этим делать. И торжества становятся банальными, традицион-

ными. Свободное время превращается в праздное. Оно примеряет низшую природу, объясняя, зачем оно. В сущности, происходит реакция, и предметное и опредмеченное время свободы опять отступает в овеществлённость.

Хотя это «возвратная форма» — даже не форма воспроизводства хотя бы необходимого времени, даже если бы это было воспроизводством необходимого свободного времени.

(Сложность в том, что со свободным временем действуют по инерции: говорят о «рынке» свободного времени, об экономическом ресурсе, о сбережении, экономии свободного времени, которое является источником развития коммуникаций, технологий, о социологии досуга, индустрии развлечений, сокращении рабочей недели — всё это существует, но это мусор, сопровождающий переосуществление свободного времени, грубо говоря, «квантовый скачок», а в принципе — превращение самой формы движения материи, но это не понятно. Это всё — проблемы общества, стремящегося отсрочить гибель, и потому всеми силами пытающегося свободное время утилизировать. Ко свободному времени это не имеет ни малейшего отношения. Свободное время во времена разных форм общественного богатства разное: во времена Античности, Маркса, сейчас, каждое мгновение оно — иное. Оно окрашивается в цвета окружающего и принимает форму действия в нём, форму деятельности им. Подражает тому способу дела, которое застаёт, усиливая до бесконечности. Свободное время — фанатизм и энтузиазм настоящего. «Беспредел», оно стремится к крайности. Если это будет так называемое творчество, то оно — на краю, если гибель — то всерьёз. Оно беспощадно и к самому себе, вплоть до уничтожения. А потому может быть и праздным, и временем досуга, и механическим, и «свершением всех времён», и собой, до самозабвения. Его пытаются оклеветать — сам читал, что Маркс выдумал свободное время, чтобы оправдать собственное безделье и паразитический образ жизни, что это «время «бездельников и лени, наркоманов и пьяниц, которые не хотят работать», и прочую муть. Я думал, никто этими вопросами не занимается. Оказывается, это проблема номер один: как занять себя, чем распотешить? Как взбеленились, засуетились, испугались. Писать об этом мусоре не буду, смысла нет время, свободное, тратить.)

Потому что не из овеществления и отчуждения рождается опредмеченное свободное время. Став овеществлённым свободным, да ещё прибавочным и необходимым свободным временем, оно действует против своей природы, как трупный яд неосуществлённой формы, не позволившей свободе уйти в основание, и, как абсолютное ничто, — в нём исчезнуть. Невозможность умереть рождает овеществлённое свободное время, что немислимо, однако, может быть. Свободным временем торгуют, оно само начинает торговать собой, в сущности, уже перестав быть свободным.

Эта эксплуатация свободного времени не просто постыдна и ублюдочна, она

уничтожает даже возможность человеческого. (Нашёл, чем испугать.) Но самое страшное, что этого не видно. Оно даже не кажется, а уж не видится — точно.

Я уже говорил, — бессмысленно амёбу или холерный вибрион увещевать стать человеком. Наглядный пример — современное искусство: ему не с чем сравнить своё позорное положение. Формально всё в порядке, но строится на разложении формы. Суть в том, что всё оплачивается свободным временем, которое и есть — время жизни, превращённое во время смерти.

В качестве ремарки: то, что сейчас я излагаю о свободном времени — не теория, а предположение по поводу случившегося и прошлого, произошедшего. Не то, чтобы вызывание духа, но археологические, вернее, палеонтологические раскопки и зарисовки уже давно произошедшего, а не попытка провидения будущего. Странная традиция современной археологии и палеонтологии — при наличии фото- и видеотехники всё-таки зарисовывать останки, артефакты, запечатлять при помощи карандаша для вящей точности. В качестве ассоциации всплывает в попытке зарисовать отпечатки свободного времени, его инверсионный след.

Это не хроника, не теория, а абрис, зарисовка его ископаемых «испоконных», успокоенных, исконных исчезающих форм, когда пытаешься по костям воссоздать скелет и понять логику движения. Это то, что «уже произошло и безмятежных нас переменяло» (Рильке).

Свободное время не восстановимо, не репродуктивно, сверхтекуче, к нему применима «архитектура фонтанов», но на время действия. Оно не знает, откуда и куда, его конфигурация — негативна, то есть его форма — внешняя, оно исчерпывает вечность и бесконечность, черпает, но вычерпать, исчерпать не может, и по отношению, само по себе оно — аморфно и неопределённо. Поэтому вполне можно, как Пьер Нора, писать о памяти-месте. Или как Гегель — о «внешней и внутренней необходимости», а то и пользоваться любую теорию — применимы все и ни одна. (В этом отношении симптоматична банальная, но искренне восторженная книга: Стивен Сломан, Филип Фернбах. Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве: М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2017. В ней два профессора когнитивистики задаются вопросами: «Так почему мы не осознаем глубину своего невежества? Почему мы думаем, что глубоко понимаем окружающее и обладаем систематическими знаниями, которые придают смысл всему, в то время как на самом деле это совсем не так? Почему мы так и живем с этой иллюзией понимания?» Наконец то додумались, к своему удивлению, что мышление — это вопрос коллективности, всеобщности, и в каждом человеке, как всеобщее в единичном, буйствует всеобщее развитие в виде общественной формы движения материи, и разум тоже представляет единство бытия и ничто. Человек чудовищно велик и страдает не менее чудовищной глупостью, и дело вообще не в разуме.

Свободное мышление затухает в свободном пребывании в свободном времени, если только свободная деятельность свободного времени не становится самосознанием эпохи. Более того, свободное время кажется безнадежным злом и ядом разложения, оно протухает, от него бегут. И чистым мышлением не спасёшься. Поэтому свободное время проходит всю историю своего возникновения, и не наоборот, проигрывая всё наоборот, от духа и чувств обратно, как в искусстве (это, конечно, влияет), но в превращениях самого свободного времени, которое втягивается в реальное и вульгарное производство. И не в качестве развития технологии или там «науки, как непосредственной производительной силы», не в качестве интеллектуализации чернорабочего труда, а как непосредственное вызревание, превращение самого превращения, а значит, и свободного времени. Грубо говоря — когда интересно.

Абсолютное беспокойство — в природе самой деятельности, в её отрицательности, да и оно может становиться, а может уничтожить себя. Равновесия нет. «Противоположности не равно активны и равнозначественны». Одна доминирует над другой, кроме того, стороны противоречия сами противоречивы. (Понятно, что не «над», не «в», не «рядом».)

Очень трудно понять и принять, что свободное время и его возможная активность не для профессионального кретинизма духа, в его кустарной художественной сметке, а в деятельности, которая есть деятельность материи в её движении, и потому пространство и время, дух и материя, и так далее, «вся дихотомия сущего, все противоречия красоты и прекрасного, бытия и ничто или же становления и ставшего, живого и мёртвого, вернее, жизни и смерти» — это всё форма одного и того же. Где даже видимость и кажимость, Истина и Ложь необходимы и в тот же момент случайны, и хрупкое противоречие только потому не распадается, что находится в самопроизводящем себя движении, и его направление не позволяет ему распасться.

(При этом ещё предстоит выяснить, состоит ли противоречие из многих противоречий или оно одно в молодости, зрелости и старости? И оно не знает, когда оно будет бессильно разрешиться, или знает, когда сил не хватит, и закончит самоубийством, отказавшись от «дальнейшего»?)

«Направление», пучок, «веник» из векторов — это иллюзия. Вопрос отношения единого и многого имеет смысл в развёртывании конкретных, взятых в единстве многообразия, противоречий, а в самой решаемости — в истории философии вполне разобрались с этим, и проблема носит сугубо эстетический характер.

Пока этот процесс проходит этап (не люблю это слово) развития, когда свободное время ещё бессознательно видит себя в категориях политэкономии, по мере взросления (а будет ещё и старение), свободное время будет догматизироваться и даже разрушаться, может быть, и искусственно, что в качестве про-

тотипа, модели мы встречаем в современном искусстве. Свободное время будет воевать против красоты, оно будет переживать процесс отчуждения. И надеяться на разум, мыслящий дух (есть ещё и немыслящий, несмышлёный недоумок) или бессознательное — не приходится. И без всяких «но».

Однако, среди страшного одиночества, которое тоже побочный эффект свободного времени, может быть, только может быть, всё же проклюнется момент *становления становления*. Когда то самое время, которое — перерыв постепенности — доразовьётся до свободного времени, во всей полноте в сущности, которое выработает в себе момент непосредственности, имманентности, как некогда в истории момент опосредования, орудийности, процессионности, и дотянется, в сущности, превратив себя в инструмент, которым преобразует природу в себя, не присвоив себе, а природу превращения освоив в себя, привив ей сознание и свободу. Ну, собственно, сделав природу природой — и порождающей, и порождённой.

В таком случае этап свободного времени, как отчуждённой и превращённой возвратной формы развития необходим. И даже после снятия, потому что форма отчуждения — не просто «формальная форма», плохая, нехорошая, а — способ обобществления. И Марксу можно инкриминировать, что юношеская идея «отвоевания человеческой сущности», преодоления, отчуждения и присвоения(!) универсальной сущности связана с вопросом о собственности, пусть общественной.

Это не недомыслие или ошибка, а поправка на время, как на ветер. «Всему своё время»: время, в том числе и свободное, проблема не присвоения, а освоения Иного, образно говоря — не время, которое окрашивается предметностью, а многообразная деятельность во времени как пространстве.

Время стремится к однородности, и всё это — побочные партии, которые можно дописать потом, хотя именно они могут оказаться полным выражением сути дела. Досада в том, что теоретически эти вопросы решены, и даже в частном порядке, практически, — тоже: кустарной задачей творчества, индивидуальной деятельности, но не общественной практикой, хотя свободное время подворовывается из «общественных фондов потребления».

Досадно, что необходимо эти промежуточные формы опять вызывать к жизни и реанимировать, хотя хотелось бы идти дальше. А тут растолковывай азы, которые двести лет назад уже были исследованы и избиты, изъезжены до банальности.

Спасает, что свободное время — форма превращения, и потому превращаемы все её формы, меняя и прошлые. И каждый раз это видится и мыслится иначе, по-другому и по-новому. Так двести лет назад в большинстве отмахивались от свободного времени, сосредотачиваясь на природе необходимого и прибавочного. Свободное время — оставалось, было придатком производства.

Сейчас оно (не для всех) является самоцелью истории (хотя в этом ублюдочном мире капитализма, как его не называй: империализмом, пост-индустриальным обществом, обществом потребления (уже устарело), свободное время — по-прежнему «издержки производства» прибавочной, частной собственности, и его непременно надо сократить, упразднить, заставить приносить прибыль — в буквальном смысле, сделать праздным, присвоить, эксплуатировать и так далее.

То есть, в сущности, поскольку свободное время — время жизни, лишить человека жизни или хотя бы сущности, что делается с успехом.

Свои пороки капитализм проецирует как норму, делая человека «одномерным», но пытаясь и свободное время сделать таковым, сводя к чистому количеству, даже в мелочах, делая человека мелочным, жлобоватым, а жлобство, и, что то же самое, расточительное, бессмысленное потребление, разбазаривание времени жизни, утверждает нормой и образцом. Ритуальное самоубийство.

Торжество цифры, числа, их мистика, новая нумерология — это ещё и формализация жизни человека. Свободное время размазывается по бытию. От него хотят поскорее избавиться. Зря или не зря Маркс отказался от гегелевского и вообще «немецко-классического отчуждения» — трудно сказать, в любом случае, это позволяет представить всё в динамике, несколько смазано.

Понятное дело, что свободное время, наталкиваясь на какое-то препятствие, пусть в виде себя самого, начинает возмущаться, может быть агрессивным, теряясь в завихрениях и турбулентностях, и сразу возникает соблазн систематизаций, каталогизаций и типологизаций видов свободного времени, его признаков, и на этом тоже долго будут паразитировать, создавая псевдознание специалистов по свободному времени.

Особенно контрастна и ярко выражена поголовная тупость всех, кто занимается свободным временем, и меня в том числе. Не посыпаю голову пеплом, не каюсь, но испытываю чувство стыда от невольного упрощения и своего рода «клеветы» на свободное время, унижения проблемы, хотя и гордость от того, что меня забросило в свободное время, и я вижу истоки становления абсолютной красоты, но выразить не могу, — тут уж ничего не поделаешь, пока само дело не избавится от этих папиллом. Свободное время ещё будет избавляться от самого себя. Преследовать, блюсти чистоту своего явления, абсолютизируя и пренебрегая сущностью, отстраняясь и отказываясь от себя. И временность ещё долго будет напоминать о себе фантомными болями.

Тут даже слов нет. Это как попытаться свечой осветить путь среди мириадов полыхающих звёзд. Хотя свет этот другой, он стоит света во всей его природе, пускай и произведен от неё. И потом, от копеечной свечи Москва сгорела. Перечитал — редкая гнусность, когда говоришь о том, что высказать не можешь, и наперёд знаешь, что это всё не о том, и заведомо непонятно.

Короче, суть в том, что с свободное время не дано, оно, как зародыш, развивается, и если даже и органически, то рождается определённый вид свободного времени, а уж доразвивать его до его природы, до универсальности, которая в нём только в возможности, хотя и есть каждый данный момент как способ деятельности, он же способ свершения, а не существования — это и задачей считаться не может, но с этим приходится считаться. Со свободным временем долго будут обращаться по аналогии с миром стоимости, оценивая и уценяя его.

Вопрос о кредитовании свободного времени, дать в долг под проценты — это заменитель и эрзац, попытка заставить свободное время работать по законам, ему не свойственным. Исполнить псевдофункции. Но свободное время ментально превращается в труху, переставая быть собой. Дать свободное время под «заказ», расплатиться свободным временем — можно, и даже привычно, как и покупать свободное время. Но это условность.

Убеждение, что свободное время можно купить, употребить, поневолить, заставить функционировать, принудить в его пространстве что-то делать на заказ — иллюзия, на самом деле оно просто превращается в сроки и дисциплину поставок, поражено логистикой «надо», принудительным должествованием, и, по сути, оно превращается во всё то же рабочее и прибавочное время, но уже в области обмена.

(Более того, Freizeit, в силу индустрии развлечений и прочего, вроде индустриализации питания, образования, модернизации науки самообучения и прочего позволяет получать своего рода ренту, и первую, и вторую, как с земли, с заповедных территорий, с виртуального пространства — но это особый разговор, тем более, что знание об этом поневоле заставляет «играть» за противника и предавать свободное время, изобретая способы его разбазаривания, истощения и употребления не в соответствии с понятием, расточая. По аналогии — будущие поколения, если они будут, проклянут нас за бездумное уничтожение полимеров, которые сжигают в двигателях внутреннего сгорания. Свободное время просто уничтожают безо всякого смысла. Это истребление свободного времени, перевод пространства (чуть не написал, без всякой пользы) в его естественности.

Это натуральный обмен постиндустриального общества, который уже не производителен и архаичен. Как переход к handmade-времени и кустарным мастерским. Выделывать батарейки вручную там, где требуется неограниченная энергия электричества.

Присваивание свободного времени равносильно присвоению сущности человека — это порабощение, причём тотальное, и времени, и сущности.

Но свободное время сразу прекращает быть, укрываясь просто во времени измеряемом, измеряющем, изнуряющем и отмерянным, а человек сменит сущность, обходясь только одномерным существованием, экзистенцией как тако-

вой. Как сказал бы Дамаский, довольствуясь видом или чином, но не эйдосом.

Кстати, любой персонаж истории философии позволяет не к слову, а в любом фрагменте интонировать современные идеи, как угодно, довольствуясь лишь вкусом, и в меру образования даже не углубляясь. Всё равно никто не будет вдаваться в тонкости. Вся изощрённость Дамаския или Прокла, вся сумасшедшая тщательность Гегеля или Шеллинга, педантичность Канта или уверенность Фихте в своей правоте, красоты Фейербаха — всё можно и опустить, обойтись без них, но тут как раз следует не считаться с гипотетическим читателем. Есть предмет, и он говорит на своём языке, и говорит ровно столько, сколько нужно, даже если это — излишество и скучно, архаично и устарело, даже если этот язык не понятен ему самому.

Феменология духа и вообще немецкая классика — это как камертон: куда бы не занесло — верная интонация настоящести, и вообще, весь этот восторг, раскат которого докатился от древности до наших дней (почти, местами), вся эта истовость — просто умопомрачительны. Я даже подумал, что да, диалектика, кроме удивления (которое она делит с метафизикой), всё же «вторым» основанием имеет сомнение. (Основание одно, но в противоречии.) Диалектика сомневается. Метафизика — несомненна. Не только потому, что, как уже писал, она вещает от имени абсолютного, но и потому, что именно здесь она полномочия абсолютного (движения) передаёт диалектике. Абсолютное становится всего лишь предикатом «Бессмертна одна смерть» и прочее. Однако Абсолютное (сиречь метафизика) не сомневается — она-оно умеет любить. А любовь никогда не сомнительна — она не бывает относительной (хотя диалектична), но — несомненна. «Он ушёл от меня, он не любит меня, он ушёл в оренбургские степи». Шучу. Но диалектика в том, что для любви необходимы двое, как для «порока», а абсолютное — непорочное зачатие — для добродетели достаточно одного.

Поэтому кстати, бог не знает двух моментов (не знаю, как сказать), но не двух вещей или двух предикатов и ипостасей своих, он не знает любви и не знает смерти, потому и говорится: «сильна любовь, как побеждающая сердце смерть». Поэтому ни любовь, ни смерть не сознают себя, исчезают буквально «сами собою», сами по себе. Они не качествуют, а тавтологичны. То есть, смерть есть смерть, любовь есть любовь, хотя отличие любви в том, что она — в другом, а смерть — в себе. Любовь не равна себе. По-другому, другим она разная, а в себе она абсолютна и не бывает больше или меньше. Шучу.

Но если без шуток, метафизика догматична в любви. В вере, и в надежде, а за этим и в совпадении Истины, Добра и Красоты. Но диалектика отвечает за Ад превращения, ввергает в него — ничто не верно. И метафизика всё равно разрушается отрицанием отрицания — диалектикой, хотя только что она была разрешением противоречия, здесь же раздваивается.

Так что диалектика берет на себя *роль* абсолютного беспокойства, а метафизика — абсолютной данности и покоя, и они всё время превращаются друг в друга, мерцают, *представляя* жизнь и смерть, пространство и время, бесконечное и мгновение (откуда *роли...*). Но одна — со стороны движения, другая — со стороны покоя. Это только в пропедевтике — в своём истовом буйстве — безразлично, кто, где и кто есть кто — как в школьном вопросе о первичности в разговоре об идеализме и материализме — это одно и то же, и сами они — инструмент познания, но не только — есть ещё и чувственная сторона восприятия, то есть чувство философии во всех многообразиях, и здесь пыльный каталог «какое это чувство» — неуместен, потому что речь не может по отдельности идти о художественности, музыкальности архитектурности, философичности... и т. д. и тому подобное: речь идёт о бесподобном, и о чувствах, которых ещё (или уже) нет, но которые могут быть. То есть о формировании органа. Философия (пока в зародышевом состоянии) — орган чувств, ну и всё такое прочее.

Метафизика и диалектика, как определения, отшелушиваются, обособляются «коконами», заукливаются пространствами, в которых вызревает «бабочка света», пока в виде понятия, имеющего два крыла — чешуйтокрылое же... Деления нет, есть бытие и ничто, и кто есть кто, в сущности, не только не значимо, но и безразлично, кто и где. Достаточно пустого явления.

Философия перестаёт быть «тягловой» или «служилой», крепостной, и становится без чувства долга — просто так, вернув себе свободу, но не знает, что с ней делать. Она утратила сословную, кастовую, цеховую организацию и не ведает, чего хочет, а тем более, что творит. Можно верить, что где-то существует «тайное знание», но это смешно. Скорее всего, философия выполнила, исчерпала себя, и теперь дело каждого, стала ли она сущностной силой, атрибутом, а может и субстанцией, чувством тотальным, как музыка, поэзия, живопись, или отмерла, исполнив историческое предназначение.

Собственно, уже сейчас есть некоторая паника по отношению к свободному времени, как в своё время среди физиков «материя исчезла». Некоторые видят в этом «анархо-коммунизм» интернета. «Изобретение обыденного». Действительно, знание как таковое нельзя присвоить. Например, «закон сохранения энергии». Но это, как и образование и культура с наукой, больше не «издержки производства» — трудно наложить лапу на закон сохранения энергии — но можно всё превратить в собственность. Для этого надо нечто ограничить, и только ограничив, присвоить. Тут интересно, что любое откровение становится обыденным. Любая единичность превращается = ускоряется до всеобщности, которая мелькает, мерцает в превращении. Один человек не в силах освоить всё созданное и создающееся за одну секунду, даже малое мгновение. Но есть совокупный опыт, и он даже не задумывается, когда им пользуется, как готовой одеждой, например.

Знание унифицировано. Здесь — опасность нивелирования. «Трансфигурация общих мест» актуальна и сейчас (А. Данто). Ты разгоняешь мгновение до всеобщего, до превращения. Свободное время можно принудить быть частной собственностью или местом общего пользования, как парк развлечений, но оно будет не свободным временем.

Основное противоречие, антагонизм в том, что его пытаются представить как форму всеобщего общественного богатства, потому что именно эту ограниченную бесконечность можно использовать. И интернет показателен тем, что наглядно показывает, как можно с наслаждением, с интересом получать удовольствие и наркотическую зависимость от того, что тебя тотально эксплуатируют. «От каждого по способностям», — возрастание сверхприбыли в производстве ради производства. Эксплуатация самой человеческой сущности, всесторонности, универсальности, отчуждения, в полной бессмысленности происходящего. Эксплуатация функционирует, как природа. И это нравится. Хотя, в сущности, это гибель. А что? Жить ради того, чтобы жить? (Жизнь бессмысленна.) Люди бегут от свободного времени. Их принудительно учат распоряжаться им, тратить правильно, использовать, и многие предпочитают самую непрестижную работу, только бы быть занятым.

И другая тенденция: некоторые работают неполный рабочий день, чтобы иметь больше свободного времени (в Испании, говорят, среди молодёжи самая престижная работа — мусорщиком: работаешь с шести утра до девяти, а потом свободен весь день). Всё это один и тот же процесс, который строится на присвоении свободного времени, и тем свободное время в виде собственности перестаёт быть таковым, оно не может быть кладом, сокровищем, как собственность, оно превращается в средство убивания человеческой жизни; как форма истощения, оно — обладание, оно уничтожает всё многообразие человеческих чувств, становясь всеобщим эквивалентом. Свободное время не может быть присвоено или дано взаймы, оформлено как дар, собственность и форма общественного богатства — это иллюзия, виртуальное свободное время, идеологизированное и мёртвое.

Все сущностные силы человека, его саморазвитие являются средством эксплуатации. Мало исполнять задачи наёмного работника — труд должен выполняться с фантазией, с тем, что на языке менеджеров называется «мотивацией». И объяснить, что «плохого» — невозможно. Человек будет доплачивать, чтобы заниматься любимым делом в предоставленное свободное время, он жизнь отдаст, и отдаёт, чтобы ему, например, позволили заниматься наукой. Он жизнь отдаст (и отдаёт), чтобы его энтузиазм и фанатизм были использованы, востребованы. Ему хочется быть полезным.

Ни о какой свободе речи быть не может. И твой талант — источник сверхприбыли. Заработок здесь ни при чём. Каждый — сам себе предприятие; вкла-

дывание в себя — капитализация твоих личных качеств. И при всём саморазвитии — это гибель. Универсальность смерти. Ты сам себе оформляешь смерть. Оказываешь ритуальные услуги. Тут срабатывает психология раба. Что плохого: тебя кормят, обувают, одевают, дают свободное время, и ты ничего не должен, эксплуатируют только твою страсть к предмету, твою жизнь, причём косвенно — ты даже не замечаешь, не чувствуешь, что само превращение, твой интеллектуальный рост является средством эксплуатации. Эвтаназия. Не больно. Ты счастлив, уходя. Вода в реке не замечает, что её эксплуатируют, заставляя её усилие крутить турбины и вырабатывать ток.

Так и здесь, посредством эксплуатации жизни, способностей, чувств вырабатывается превращение самого становления, усилие становления превращается в свободное время, с одним маленьким нюансом, свободное время — ставшее, ограниченное, как собственность, и распределяется не как всеобщее свободное время, а как принцип интеллектуального господства, власти и превосходства.

Да хоть так, когда ещё всё это будет? Дайте мне свободное время, и я душу отдам... Свободное время — это энергия. Превращение энергии. И смысла в этой писанине нет. Потому, что изменить ничего нельзя, и каждое мгновение ситуация другая, и всё сказанное уже давно устарело, и не так, как кажется, да и сама кажимость уже изменилась, и оформлена феноменологией в её готовности всё приспособить и оправдать, объяснив, выписано даже объяснение, что значит «объяснить». Страсть регламентирована. Всё расписано. Ты забываешься в наркотическом опьянении действия. Неопределённость — ещё не свобода. Философия склоняется к домашнему психологизму и заурядной мистике, на уровне суеверия. Феноменология, как эрзац философии, основывается на созерцании. Ей важно, как это выглядит. Она недалеко от дизайнера, который и есть феноменология вещи, причём вещь унижается то, что вещь не является, например, чувства человека. (Этого точно не знает Флюссер, стоит только вчитаться в замечательную, но наивную книгу с «зухвальим» названием «Малая философия дизайнера». В сущности, он имеет слабое представление о вещи (да и о сущности), как, впрочем, и Хайдеггер, достаточно вчитаться в его замечательную работу «Исток художественного творения» — «Der Ursprung des Kunstwerkes».) Вещь действительно логикой дела, в ней свёрнутой, аккумулированным, опредмеченным рабочим временем, фетишизированным прибавочным временем и эстетически созерцательным свободным временем, то есть, во времени, а значит, в исчезновении потребления, когда она превращается в воспоминание, истёртый образ, и тем освобождается из (от) зависимости быть полезной и выражать некое действие, ускоряясь.

Иными словам, время экономит время, ускоряя движение вещи к её концу, но пытаясь продлить её работоспособность. Феноменология нарциссически

нуждается в созерцании, в самолюбовании, в освещённости, в отражательной поверхности. Она — полированная поверхность. Действие ей противопоставлено. Она всячески любит её положением и освещённостью в пространстве, как вещественным доказательством необходимости её явления. Ей важно, как она созерцается, выглядит. Отсюда непреодолимое желание представить неявленное в своём явлении, находя в этой апории смысл своего существования, и это верно по отношению к заповедной области искусства, которое всегда имеет территорию для отступления — такой своего рода заповедник, национальный парк, где искусство буйствует по разрешённой дикости и якобы живёт по природе, хотя давно стало жёсткой формой производства с гарантией на эксплуатацию и разрешёнными параметрами буйства. (Это как скачки механических лошадок во времена ранних развлечений на Кони-Айленде. Самое интересно, что соревновательность в строительстве небоскрёбов имеет ту же природу, если верить Рему Колхасу — см. «Нью-Йорк вне себя», очень показательную, современно звучащую, книгу. Можно присовокупить и другие, несть им числа — все они по-своему схватывают происходящее в доступных им формах: Мишель де Серто. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.; Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и капитал. М.: Изд. дом Госун-та — Высшей школы экономики, 2010.; (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за её пределами. М.: Академический проект, 2014; а также М. Анри, Р. Бернет, Э. Левинас, А. Мальдине, Ж.-Л. Марион, М. Мерло-Понти, М. Ришир и пр.)

Конечно, писать просветлённые книги уже не получится. Но надо стремиться к этому. Хотя бы потому, что это — проявление человеческой воли. Жизнь и так мрачна и беспросветна. И безнадёжность удваивать её бессмысленность. Смысла нет. Будет фальшиво и даже пошло.

Но если посмотреть на всю философию и литературу, на всё, к чему стремится так называемое искусство, то вырисовывается гнилая картина. Писать, если писать, надо такие темы, как «свободное время». Самое интересное, что тема эта конечная. Проблема перестанет быть проблемой, как только свободное время перестанет быть формой общественного богатства, тут Маркс просто упростил вопрос. Он не стал рассматривать все варианты, просто убрав те, которые не могут быть предметом разума, а потому абсурдны или бесчеловечны. Дескать, да хоть так, дальше видно будет.

Станет ли это формой хозяйствования, организации, трудно сказать, но то, что это будет источником бесконечный челове-

ских чувств, всегда в происхождении, — несомненно. Чувств, аналога которым нет. Чудо возникновения предметности человеческих чувств, с одной стороны, бесконечных, а с другой — определённых, и к этому надо стремиться, потому что в этом — сущность стремления. В том числе и чувство самого свободного времени, которое совпадает с тем Гераклитовым огнём, который банален в своём происхождении, но вечно обновляется и видится смыслом всего живущего, отгоняя весь ужас, весь страх жизни, всю трусость, и даёт мужество это всё выдержать до конца.

Столь любимый Хайдеггером и потрясающий всех, кто отваживается глянуть на это, нет, не беспристрастно, как раз вложив в понимание всё чувство, и всё чувство в понимание, которое может и не может быть: Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. М.: Наука, 1989. С. 217. Этот же фрагмент цитируется в книге Хайдеггера «Гераклит»: «κόσμον τόνδε, τον αὐτόν ἀπάντων, οὐτε τις θεῶν οὐτε ἀνθρώπων ἐποίησεν, ἀλλ' ἦν αἰεὶ καί ἐστίν καὶ ἔσται πῦρ αἰεὶζῶον, ἀπτόμενον μέτρα καὶ ἀποσβεννύμενον μέτρα». «Эта названная теперь краса, которая есть одно и то же во всём украшенном, не сотворена никем из богов или людей, но всегда была, (всегда) есть и (всегда) будет: непрестанно восходящий огонь, воспламеняющий просторы (просветы) и гасящий (замыкающий) просторы (в бес-просветное)» (Хайдеггер М. Гераклит. СПб.: Владимир Даль, 2011. С. 208–209).

Тут можно жизнь проговорить об актуальной и потенциальной бесконечности, помня, что на самом деле речь идёт о «дайнемисе» и «энергейе». (На которых Хайдеггер, а потом Бибахин, столько времени убили. Бибахин даже Энергейе книгу посвятил.) И будет ли это привязано к Аристотелевским Материи и Форме? Всё тонет в не знамо чём. Обычно в последний момент, когда вот-вот должна исчерпаться проблема, она распахивается в такую невиданную бесконечность, что ты вмиг понимаешь всю ничтожность происходящего. Говорят, что китайцы пользуются не определением длительности (хотя «моцзысты» до этого додумались), а порой времени или «сезонами», — прорвой. Так, по крайней мере, считает Ф. Жюльен в своей известной книге «О времени. Элементы философии “жить”» (М., 2005). Он пытается показать, что жить надо «кстати» — выдрал у Монтеня. Я бы сказал — по слову неоплатоников — «вдруг». Хотя доказать, надо ли жить, невозможно. А уж принять в качестве доктрины... Тот предел, когда любая философия выглядит беспомощно, ведь смысла

жизни действительно нет. (Поэтому все книги о смысле жизни так смешны в своей серьёзности. Например, труды М. М. Рубинштейна, С. Трубецкого, В. А. Роменец — беру не самых именитых. Да всех, для кого смысл жизни — проблема, которая мелькает в текстах и заставляет задумываться. Это как вопрос о вечном двигателе. «После разъяснения вопроса о бытии эта составная часть метафизики распадется и потребует других определений, начиная с греческого — не схоластически-римского истолкования δύναμις—ἐνέργεια [dynamis — energeia]. Если “переводить” их словами potentia и actus, то тут любая диалектика уже вступает в область беспочвенности и полного безобразия. Но всё же ещё слишком рано что-либо говорить об этом» (Письма 1925–1975 годов. С. 170). Не надо быть Хайдеггером, чтобы это понимать: актуальность — в действии, которое превосходит собственные границы, полагая их; предел, не совпадая с границей — бегущая волна, а не «стоячая», как нейтральная земля, ничейное пространство, где переход и превращение не совпадают. Переход границы, перемещение, превращение в пределе. Как бой прибой, где стихии превращаются, а не просто противоборствуют друг с другом. В любом случае, проблема онтологии времени сводится к «порванной» на «просветы» бесконечности и незанятому времени — прообразу «свободного».

Не хочется разочаровывать, но все проблески явлений, в которых видят сетевой «анархо-коммунизм» и прообраз будущего, когда от каждого по способностям, а кому-то — сверхприбыль, когда эксплуатируется чистый интерес и сама всесторонность, своего рода универсальность и «мультикультурность» — легитимный плюрализм с его эклектикой, самосовершенствование, понимаемое как капитал — это кошмар человечества, как музыка Баха, под которую загоняли в газовые камеры, только тут человек добровольно приносит себя в жертву и при этом ещё радуется. Это идиотизм собственности. Для того, чтобы эксплуатировать свободное время, его надо превратить в собственность, то есть ограничить и присвоить. Свободное время невозможно сделать собственностью, как, например, присвоить законы природы, но можно аналитически убить, хотя оно при этом теряет свою способность быть свободным временем, дар бесконечного возрастания. (Причём, и в Аристотелевском смысле, увеличения при приближении, то есть видимостью, нарастающей. Поглощающей иллюзией. В том числе и скорости, которая, достигнув скорости

света в превращении, а не только в перемещении, превращается в свет. Свободное время используется и представляет нечто не по своему образу («обращу», обращённость, «превращенец», как «кладенец», шучу), а по Другому — всё, что попадает в эту конвекторную печь, в это пространство превращения, превращается во что-то иное, в идеале — в свободное время, которое самоцель и подобие. Оно представляется и подставляется не по своему образу и подобию. И в то же (свободное) время всё превращает в себя. Свободное время, как сказал бы Голосовкер, — «имагинальный абсолют». Рост свободного времени — как рост жизни, энергия возрастания. И по аналогии с мёртвым и живым трудом, и даже в непосредственной связи, как пространство и время, мы имеем дело с мёртвым и живым временем. Расхождение происходит уже в отношении овеществлённого и опредмеченного труда, вплоть до исчерпания его трудовой природы. Точно так же, как свободное время направлено против долженствования превращения политэкономической категории в непосредственную сущность человека, в его природу.

И если, например, «Абсолютный имагинизм» (Голосовкер писал «имажинизм» — как сила воображения) применить к современной мифологии, в том числе к мифологии творчества и мифологии науки, о себе, то может быть очень красиво. Но ни в коем случае в виде готового знания, пущенного на поток. Хотя «Знание, пущенное на поток», конвейерное знание, берёт массой, и в науке точно (не только в «Эволюции понятия Науки» Пиамы Гайденок и др.) — это тот прирост «прибавочной мысли» и мощи, бессознательное коллективное, которое, становясь сознательным (тут надо различать «становясь сознательным» и «становясь осознанным») — природой порождённой, косной, тяжёлой, а не действующей, порождающей, превращающей и в этом исчезающей: «Где исчезает предмет и, исчезая, поёт» (Рильке), потому что осознанное по-прежнему остаётся беспомощным, «ну, что поделаешь...», так случилось, и не нам это ментать»), превращается в неистовство познавательной, свободной способности, когда каждый малый и случайный произвол преследует свои частные цели, а совокупная точка приложения сил превращается не в стихию, а, ни много ни мало, в форму движения материи. Которой «не много и не мало». Здесь ни «минимума, ни максимума» — в абсолюте нет меры и привычных категорий метафизики, но метафизика этого не знает, в отличие от диалектики, и усиленно живится «имманентными целями», «окончателностью и бесповоротностью», «отношениями» в духе Аристотеля, и каждый раз пытается решить «раз и навсегда» проблему превращения единичного и общего, понимая общее как «множественное», многозначное, и там теряется, заблуждается, блудит, запутыва-

ется, — намеренно, — в связанности, в себе. То есть «сплошность» распадается на связи, и они же — нетости, разделения. Движение распадается на элементарные частицы, и тогда непонятно, как мы дезинтегрируемся — «асплочённость», рассеивание.

И тогда приходится вечно решать вопросы материи и формы в своей игре, которая пребывает «Вечно, но правила меняются ежемгновенно». Тогда всё — только явления, игра воображения, иллюзия, кажимость и видимость. Правда сказать, вполне достаточная для искусства, а теперь и так называемой науки, как «непосредственной производительной силы», вернее, пытающаяся играть такую роль.

Хотя дело не в производительности, а в плодотворности — это как посмотреть. Плодовитость здесь так же пагубна — наука заглушает самое себя, и речь идёт о «творении из ничего». Наука не справляется со своей спекулятивностью. Как будто если бы она справлялась, всё было бы иначе. Стоит только осознать и исправить соответственно каким-то принципам. При этом, в этой попытке стать, полезной, прагматичной, востребованной, она порождает требование чистой функциональности и формализации, догматизируя и одновременно мистифицируя не столько факт своего наличия, сколько утверждая свой статус, намекая на свою «чуждость» и магическую реальность, данность и «богоизбранность». Воображение — как способ бытия духа, будто дух сводится к функционированию в пределах воображения, то есть, в пределах рассудка. Вторичная феноменология. Явление явления. Вопросы пост-феноменологии (есть такое направление на нынешней барахолке). Например, как сделать невидимое видимым, чтобы оно оставалось невидимым явлением. Тут можно утонуть в кажущихся важными, а на самом деле бросовых издержках. Рождаются тысячи проблем, которые не имеют решения: например, знание нуждается в «политике», «администрировании», принудительной организации, в приоритетах, чиновничьем аппарате, в уставе, инструкции, расписанной в подробностях по параграфам и т. д. Попытка определить критерии актуальности, ответить на вопрос «Зачем?» — одна из попыток пытающихся решить антиномии по принципу «или-или». «Нужна организация? Нужна. Так дайте, я возглавлю и поруковожу.» Вопрос власти, а не управления. Критерии нужды и попытка критериев произвола. Вопрос изначально поставлен неверно. Но фокус в том, что иначе он поставлен не будет, а если будет, то ничего не изменит.

Здесь возникает момент возвратных форм, когда возвратными и возвращёнными формами становятся цели и идеалы — своего рода телеология вспять, когда прошлые цели, реализованные, возвращаются, как ностальгия по целям, воле, идеалу, представлению, прообразу в качестве первичных и основных потребностей. Ностальгия по прецеденту. Взывание к традиции,

ложно сочинённой. И цели, конечные цели, совсем по Канту, являются целями имманентными, то есть уходят в основание.

Но эксплуатируется, по существу, сама «невозможность» превращения и ухода в основание, само это «невозможно», от которого отталкиваются, и цель есть нуждой, необходимой для свершения, сила нужды — вместо необходимости, да ещё овнешнённой лишённостью на целую цель, которая порождает время. Дважды отрицание, сосредоточенное в одном, представляется (преставилось) как дважды ничто. Ничто желаемого и ничто цели этого желаемого. Это временность вечности. Я бы сказал по-аристотелевски: свободное время — решение противоречия формы и материи, любого противоречия в моменте напряжения, когда нечто уже не то, что было, то есть противоречие уже не противоречие, но и не то, что будет, не разрешилось, пребывая в мгновенной статике. Экстатике, эстатике. Это как неминуемость падения. Когда противоречие не чувствует себя, не осознает, а пребывает в разрешении, обрушиваясь в себя, раздваиваясь как разрешаясь.

Свободное время не может функционировать, не может быть капиталом, не быть, являясь простой формой воспроизводства. Оно только в моменте возрастания и превращения. Развития. Оно избыточно, хотя не может накапливаться. Свободное время — это то, что бывает, но не может быть.

В любом случае, всё дело в «перерыве постепенности», в так называемом скачке (см. книги В. А. Босенко «До співвідношення скачку та вибуху» и Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв»). И «скачок», и «случай», и «любой». И, в сущности, нет, но «отсутствие», лишённость, прообраз всего, рискну сказать, «эйдос» — бессодержательны. Определённое ничто своим небытием утверждает связь времён и разрыв. В любом случае, мы этого никогда не узнаем. И от этого «никогда» мутит больше всего.

Здесь — бесконечное превращение и тошнота неопределённости. Метафизическое головокружение. Когда сталкиваешься со «страстью мышления», где всё сливается в шум языка, где каждая определённая произвольна, хочется окончательности, потому что нельзя сказать «потому что» и «почему» Не то, чтобы я сторонник иррационального и желаю утопить в неартикулированности невыразимости мысли всю полноту бытия. Хочется «просвета», который так занимал Хайдеггера: во всеобщей беспросветности писать просветлённые книги, если писать, только ни-

какого смысла в этом нет. Хотя ясно осознаешь, что именно свободное время, во всей своей «безобразности» это вполне реальная проблема, чтобы им заниматься. Но понимаешь, что прав Бернард Шоу, который со всей простотой и наивностью говорит о том, что «доказанная проблема» ничего не значит по сравнению с проблемой «внедрённой» и реализованной, которая будет «работать» — она просто не к месту. Не вовремя. Так что хочется замолчать навеки, не впадая в суету тошнотворных слов.

Анархо-коммунизм в сети, о котором всё больше говорят, это, конечно суррогат, но что-то в этом есть. Меня занимает другой аспект этой проблемы. Оказалось, можно эксплуатировать человеческий интерес к саморазвитию. Выгодно же бесплатно дать возможность, а уж человек в героическом энтузиазме из кожи будет лезть, чтобы её всесторонне развить и отдать безвозвратно свои возможности, таланты, сущностные силы.

В менеджменте и дурной психологии это называют «мотивацией», хотя, в сущности, это самовозбуждение, стимуляция. Казалось бы, что плохого: цель достигнута, вы же хотели «деятельность как самодеятельность», «труд без нормы и вознаграждения», «всесторонне развитую личность», «от каждого по способностям, каждому по потребностям» — вот мы и развиваем... потребности.

Но оказалось, что свободное время невозможно эксплуатировать как собственность и как стоимость, оно мгновенно перестаёт быть собой, хотя по видимости — точь-в-точь. Чтобы быть присвоенным, оно должно быть ограниченным. И, понятное дело, оно должно быть развитой нищетой, жаждой, своеобразным голодом, на грани дистрофии — ни о какой полноте бытия не может быть и речи. Поэтому в этих условиях всё ведёт к истощению способности, а не развитию, к исчерпанию жизни, разбазариванию возможностей. Так что это путь аналитический, ни о какой всеобщности не стоит даже помышлять. Расщепление действия и действием. Дробление и рассеивание, атомарность и стагнация, энтропия, тепловая смерть. Почему у меня есть все возможности, но нет универсальности, почему становится не интересно?

Вдруг почудилось, что, в сущности, зрение, — отражение в бегущем потоке, — запаздывает на скорость света. Оно всегда, похоже, опаздывает, и в сущности, тоже — эхо в ответ, но безответно. Медлит, останавливает, зависает. Оно всегда — похоже и подобно. И потому чудится, видится, зрится, зреется, грезится, но в ответ. Зернистость зрения, которое в сгустках смыслов со своими сгущениями и разрежённостью, неоднородно. Оно разной плотности, и расслаивается. Так и должно быть. Человеческое — чудится. Чудится. Клубится. Всякое действие, особенно сознательное — сродни чуду. Момент непостижимого. И поэзия, и музыка, и философия, которая (не которые — это одно единое пространство. Который — это край, кромка в старорусском) удивительна не смеш-

ным «знанием», а вот этим постигаемым непостижимым, не унылой повторяемостью и репродуктивностью, хотя это само по себе тоже удивительно, а неповторимостью и невозможностью вернуться, а уж тем более уйти восвояси. Со свободным временем история только начинается. Если неосторожно употреблённое не по назначению свободное время не уничтожит, подобно «абсолютному оружию» Шекли.

И вообще, ближайшая угроза свободного времени в том, что, вопреки его природе, оно воспринимается как средство индивидуации, а не универсальной всеобщности. И эта гипертрофированная индивидуальность сотворяет из тебя себе же смертельного врага, который по принципу Умберто Эко («Сотвори себе врага») может играть роль катализатора и стимулятора, организуя и заставляя собраться, но в конечном счёте есть персонификация смерти, показывающей, что всё бесполезно, сопротивление абсурдно, и личности предстоит только саморазрушаться, как тупо понятый фрейдизмом убийственный процесс, который — выражение психологии обывателя, усматривающего единую природу творчества и Танатоса. Так обывателю свойственно демонизировать человеческие слабости: пьянство, наркотики, «неспортивное поведение» (шучу), безнравственность, эгоизм, даже ненормальность. Набившие оскомину, осточертевшие сентенции из дневника Пушкина, что «гений подл иначе» (из письма Вяземскому) повторяют, лишь бы не видеть, что так называемая «гениальность» — это естественное, природное состояние человека. Это как потенциальность в основании. Для человека, чем-то самозабвенно занимающегося, вообще не вопрос, талантлив ли он, гений ли он, имеет ли он право на действие.

По сути, творчество аморально, хотя калокагатия маячит около. Это норма. А значит, ты несёшь абсолютную ответственность не за то, что ты сделал, а за то, что ты не сделал и кем ты не стал. Твоя собственная свобода становится невыносимой и неискупаемой, и в этом главная проблема, потому что ввиду этой безумной ответственности невозможно даже пошевелиться. Главная проблема в том, чтобы, имея все возможности, решиться быть, и быть безрассудно.

(Вот в этой книге я всё не могу осмелиться просто и ясно выразить суть дела и перейти безо всяких барочных извивов к сути свободного времени. Страшно и чудовищно. Всё укрываешься в оговорках.) Творчеству можно инкриминировать что угодно, но его главная проблема — что никакой проблемы творчества нет, а совпадение его с бытием к смерти и разрушением — просто формально-логическое гипертрофированное отрицание, свойственное любому превращению, любой деятельности: не доведённое до «отрицания отрицания» противоречие — всегда самоубийственно.

Это огрубление, гипертрофия, абсолютизация, но суть свободного времени — в превращении. Я бы мог попытаться объяснить всё это догматической трактовкой знаменитого «закона о сохранении и превращении энергии» в из-

ложении его и трактовке известной и статичной книги Макса Планка «Принцип сохранения энергии», клясться квантовой теорией, скачками, специальной и относительной теорией относительности, сыпать именами авторитетов, удаться в подробнейшее, полное драматизма, описание истории вопроса, но мне нравится, что Планк объясняет всё, что превращение энергии, форм движение материи друг в друга, эти всеобщие процессы перехода, он называет гениальной метафорой — «отчаянием движения материи».

(Точнее, Планк назвал «отчаянием» попытку выхода из тупика при помощи статичной теории, которая пыталась найти нечто постоянное, и, как у Бора, старалась обойти закон превращения энергии. Увлекательные споры о втором законе термодинамики, «о тепловой смерти вселенной» и прочая, но смутно представляется, что суть превращения как раз в этом отчаянии самих форм, таких, как свободное время, печаль и радость полноты бытия в осознании этого превращения энергии, в его средоточии. Так вот, свободное время — такое же отчаяние на пределе. Там даже есть смутные выводы о ничто и в никуда, о творении из ничего. Это, конечно, не дело физики, я бы сказал, что само свободное время становится как способ превращения самой социальной формы движения материи, когда понимание «энергий» античности ближе к сути дела, чем усилия современных физиков. Энергия как энтелехия точнее схватывает суть дела. И свободное время, как способ превращения, выступает во всей грандиозности и захватывает предчувствием, предвосхищением неведомых, не имеющих аналога чувств, непостижимых и безымянных, что отбрасывает свет и тень поэзии, музыки на всё, чем занимается физика, математика, химия, биология, не говоря уже об архитектуре или такой прозаически скучной области, как экономика. Не «жар холодных чисел», а просто всё, что составляет предмет человеческой деятельности, перестаёт быть статичным, упорно обнаруживает свою всеобщность и идеальность, которой в субстрате нет, но сопутствует превращению. Как «нормальная температура», как «перерыв постепенности», как неверная относительность. Чувство становится сущностной силой и входит в полное определение предмета.

Но я не об этом — об ощущении чуда во всей его банальности, но всегда — впервые. Не к месту, не в тему. Как тревога и беспокойство, разлитые в пространство. Ошеломлённость от увиденного и пытка невыразимостью. Тонко это выразил Анатолий Штейгер:

Бывает чудо, но бывает раз.  
И тот из нас, кому оно даётся,  
Потом ночами не смыкает глаз,  
Не говорит и больше не смеётся.  
Он ест и пьёт — но как безвкусен хлеб...

Вино совсем не утоляет жажды.  
Он глух и слеп. Но не настолько слеп,  
Чтоб ожидать, что чудо будет дважды.

«Вдруг так прозреть, что хуже слепоты...»  
*(В. Клеваев)*

Наивное предчувствие, что эпоха свободного времени — трагична. Наивное потому, что трагичность понимается почти как оправдание и очищение, катарсис. Но это не значит, что катастрофы свободного времени литературны. Они настоящие, как и воронки поглощающих друг друга галактик. И чудо может не случиться, а всегда жить в ожидании, преддверии чуда утомительно. Но, надеюсь, не скучно.

# ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

Зарисовки крайнего времени



Собственно, проблема свободного времени — последнее противоречие диалектики. Это то же самое противоречие красоты и прекрасного, только узнаваемое со стороны предметности. Вопрос не в том, чтобы его ущутить, найти и указать на противоречие, узреть, зарегистрировать, как вновь открытую звезду, в каталоге и классифицировать — следует не то, что помнить и знать, а чувствовать, что это не два, а одно, единое, и вопрос в том, чтобы довести его до разрешения, ускорить к гибели, а не просто исчерпать, избыть и устранить противоречие по законам формальной логики. Это, буквально — невозможно, поскольку всецело действительно. Вопрос о снятии, а не устранении.

Разговоры о способе мышления, в тайной надежде на некое тайное знание, имеют место в истории как чаяние, а больше отчаяние. Речь ведь не о каком-то особом способе мышления, универсальной отмычке, а о способе дела, со времён Спинозы понимание — выражение в логике понятий и, по возможности, без понятий, самого дела (к его возможному удивлению), как субстанции, где мышление и протяжение — в качестве атрибутов.

Поэтому овеществление (которое однозначно в своей поступательности, потому что развеществление это потребление и уничтожение), отчуждение и опредмечивание-распредмечивание, причём в качестве предмета — логика дела, лишь «этапы», «стадии», периоды одного развития, одного процесса, как бы мы не различали это и не дифференцировали.

С овеществлением, которое я понимаю «по Марксу» — этого вполне достаточно. Казус в том, что его ошибочно считают синонимом «реификации». Но дело не в словах — это реальный процесс, в том числе и мистификации и фетишизации вещи, когда она начинает «вещать человеческим голосом», а человек превращается как вещь среди вещей в моменте отчуждения. Но в свободном времени процесса овеществления (*Verdinglichung*) нет (хотя, может быть, как сознательное отчуждение, отлёт от действительности, есть опредмечивание (*Objektivierung*), грубо говоря, объективирование. Овеществление, когда вещь попадает в отношения обмена с появлением отчуждённой формы стоимости, от собственности, когда нечто выступает как товар, как продукт мёртвого труда. Реификация (от *res* — *лат.* вещь),

но не в своём единичном виде, а как трансценденталия, то есть то, что не входит в десять канонизированных категорий Аристотеля. В дальнейшем она превращается в чистое превращение, где представляет разрешение трансцендентального и трансцендентного. То есть в своём неразвитом виде это не овеществление, а всегда овеществление идеи, как  $\alpha\text{-}\dot{\iota}\delta\iota\omicron\varsigma$ , то есть то, что не может быть единичным — не-идея. И тут повод для всяких вольностей, исчерпать которые невозможно. К тому же, если «реификацию» производить от «Рес» — это одно, но ведь в разрешённой протосвободе свободного времени можно совершенно фантастически вести её родословную от «Реи», Тефии («теификация» — шучу) от «Панта рей... всё течёт», где нет демаркации между идеей и происхождением, возникновением, исчезновением, воплощением, генезисом, развитием, становлением, жизнью и смертью. Тогда даже видится всё по-другому. И это не только приемлемо, но даже не представляется иррациональным. Просто «немного времени в чистом виде» (Зедльмайр), во всей полноте переживания. Время вне времени. С чем долго возились, по инерции рассматривая «крайние случаи». Тут кстати вспомнить опасения Д. Лукача в книге «Разрушение Разума. Путь иррационального от Шеллинга до Гитлера», Зедльмайра «Искусство и истина», отсюда же «настроения» А. Штифтера (См. книгу Отто Больнова «Сущность настроений») и «временная свобода» произведения искусства, успокоенность в «полноте настоящего», укоренённость, его свобода от временности. Это «цельное» время без разложения, без «нетости», хотя именно в отрицании время осуществляет свою целостность. Эти примиренческие попытки в поисках подлинного настоящего времени, на самом деле — попытки согласовать историческое и надисторическое время, истинное и ложное настоящее. Они, по сути — просто полумеры и попытки разрешить антагонистические противоречия самой феноменологии времени. Точно так же, как отчаянные попытки решить проблему силами самого искусства при помощи вульгарной социологии (Адорно). Произведения требуют времени. Оно само является необходимым для их опредмечивания, роста. Произведение разное в разные времена, и дело не в изменении восприятия, не в выдержанности времени, не в происхождении, а в самом реальном превращении, когда переживается «свобода от времени», как от тяжести, хотя однажды придёт тоска, ностальгия по тяжести, поскольку она одной природы с сущностью времени и света. Я это упоминаю только потому, что всё это не предстоит в ближайшем будущем, а уже законченный и пережитый этап. Всё, о чём говорю, запаздывает (как свет далёких звёзд), и это проблемы вчерашнего дня. Даже не проблемы. В их осмыслении нет нужды. И нет нужды поминать ради экзотики Шарля Пеги с его «Клио». Или кого-то ещё. Всё написанное — это только сомнения в настоящем. Алиби его. Мгновение — часть вечности, и потому так же вечно и бесконечно, как сама вечность. Хотя оно и «испускает дух» (это не каламбур). Но сосредоточие на мгновении, средоточие в мгновении, которое — человеческая жизнь, напоминает, что одиночество — частица вечности. И это ещё одно

из проклятий свободного времени. Но и гордость, что умирать предстоит свободно, как и любить может только свободный человек.

Потому даже формальный способ мышления в своей динамике диалектичен, хотя и направлен на устранение противоречия законом исключённого третьего, которое выступает в качестве категорического императива.

При этом орудийность как мера отношения человека и природы приобретает черты саморазвития и доразвивается до системы машин, вплоть до технологии, которая имеет дело как единая наука с процессами и формами движения в их превращении, снимаясь в социальной форме движения в качестве апофеоза разделения труда, где разрешается противоречие живого и мёртвого труда (симптоматично, что даже физики в борьбе, как они выражались, за «закон превращения» энергии, различали «живую и мёртвую энергию» — странно, что не добрую и злую).

Даже мышление пытается обособиться, и в появлении такого явления, как интернет, ясно видны черты, которые свойственны любому применению машин, где дифференциализация и специализация порождает на другом полюсе интеграцию и коммуникацию («в машинах дышит интеграл»), как суррогатную коллективность, безликую массовость.

В сущности, мы имеем дело не только с доразвитием противоречия до разрешения, но и со старостью противоречия, которое вынуждено своим истощением, исчерпанием порождать ещё и противоположность свою, противоположность противоречия. Это, повторюсь, — старость противоречия.

Вместе с тем, отпадает необходимость доказывать со всем тщанием выдвинутые гипотезы — они не нуждаются не только в теории, становящейся совокупной, но и поверяются общественной практике почти мгновенно и непосредственно, минуя эксперимент и теоретические построения, что кажется болтовнёй, но на самом деле в своей анонимности и массе не успевают осмысливаться индивидуально, вполне походя проверяясь в общественном опыте, в имманентном пользовании: работает — не работает.

Так что наука становится мифологичной, беспечной и дерзкой, ошиваясь в области фантазии, как реакция, во многом, на ампутацию воображения, не нуждаясь в доказательствах и превращении гипотезы в теорему. Гипотеза сразу декларирует себя постулатом, леммой. Наука становится догматичной (в хорошем смысле), и в индивидуальном плане принимается на веру. А проверяют и воплощают предположения в жизнь, или отбрасывают сказанное своего рода обозы, тылы, которые устанавливают вехи, разметки, правила, в массе своей структурируясь.

Даже если насыпом сыпануть идеи, они организуются по силовым линиям деятельности, как металлические опилки по силовым линиями магнита, достраивая то, в чём общество нуждается незамедлительно: сказано — сделано, приемлемо-

неприемлемо. Порою это происходит слишком поспешно, кое-как, на глазок, часто абсурдно, не думая о последствиях. Вот уж где «потребность важнее десяти университетов»!

Возникновение сети отбросило мышление намного назад, упростив его, и продолжило агонию формального мышления. Оно, конечно, имеет, как и здравый смысл, свой ареал обитания. Не обязательно знать квантовую механику и основы термодинамики, чтобы сварить себе кофе. Применение машин и здесь имеет свои пределы. Как и всякий прибор, сеть, в основании которой машина, моделирует механическое мышление, тем самым просто копируя и заменяя мышление по принципу «или-или». Этим положены чёткие формальные границы её применения. Двоичный код. Но тем самым положен и предел применения диалектики, которой просто нечего делать. Хотя вопросы красоты, человеческих чувств, свободного времени не должны разлагаться — они насквозь диалектичны. Но сеть, интернет, способ мышления, даже формальный, подменяют простой осведомлённостью, готовым знанием, коллективным бессознательным, эклектикой, которая организует свою действительность, делая лишним сам процесс мышления. Правда, мышления в особом состоянии, организуя «облака» — не удивлюсь, если их начнут различать, классифицировать, как грозовые, перистые, кучевые, серебристые... И странно будет звучать «Облако в штанах». (Шучу). Я к тому, что всё это может создать свою метеорологию, свой метафорический строй, и, вполне возможно, «климат-контроль», и быть не просто метафорой, как «эфир», но вызвать своих исследователей «эфира», что, собственно, и делает наука коммуникаций.

Эта доступность «информации» (я не против) создаёт атрофию мышления. Оно становится дряблым, податливым, как желе, но не сохраняет форму. В своей сверхтекучести оно не держит фактуру, оно гомогенно, и чем-то напоминает «Океан» в «Солярисе». И вот этот «креатосферный» заповедник — уже существует. Отчётливо понимаешь, что ноосфера (хоть самого Вернадского), семиосфера (хоть Лотмана) сейчас — некоторая активная «креатосфера» для кретинов, которые эволюционируют вместе с некоей творческой серой и усреднённой средой. Безмозглая реальность, отравленная галлюцинирующая реальность, поставленная на поток и ставшая отчуждённой «второй» (и третьей, и бесконечно воспроизводимой «энной» природой в замкнутом цикле воспроизведения на космическом корабле под именем Земля) природой, в степени «n» — естественной средой обитания. Мир как воля и представление. Но представление и воля анонимного субъекта, безликой массы, неумолимой в своей поступательной инертности.

Это клубящийся морок простейших, которые делятся в геометрической прогрессии, но пребывают в герметичности, составляя один безымянный поток. Атмосфера сочиняется, равно как и стихии. Главное — она глупа, потому что воспроизводит только наиболее простые и тупые образцы, и множит их до умопомрачения. Всё однотипное, унифицированное. Столкнулись удивление и сомне-

ние, и нейтрализовали друг друга, не аннигилировав, а поглотив, всосавшись в грязь существования... Океан на самом деле чисто количественно умножает разнообразие форм методом стохастического комбинирования. Иногда попадает, но чаще — чистая комбинаторика. Набор комбинаций. Вот как компьютер или печатная машинка не мыслят, так и я сведён к чистой функциональности. Состояние случайной (случайно слученной) необходимости, произвольной вольности, перебор вариантов, насыпанных насыпом случайности, фрагментарности, отдельности. С одной стороны, я понимаю, что это неизбежно — «исчерпание возможностей», истощение. А «со всех сторон» — совершенная бессмысленность и опустошение. (Не надо быть провидцем, чтобы это заметить. И ведь предупреждают. Но бесполезно. От этого синтетического наркотика невозможно избавиться. Это и будущее, и настоящее. Остаётся только принять к сведению, почитывая «ужасстики» Николаса Карра «Великий переход. Что готовит революция облачных технологий», «Пустышка. Что Интернет делает с нашими мозгами», «Стеклоклетка» и тому подобную, не худшего качества, популярную литературу, которой кишмя кишит всё тот же интернет, пугая «страшилками» обывателя. Такая себе странная область научной фантастики, смеси детективного сюжета с фильмами-катастрофами, триллерами современности, «экшенами». Странно, что они ещё не начинают «В чёрном, чёрном городе, на чёрной, чёрной улице...». Но, действительно, ничего противопоставить этому нельзя.) И терпеливо ждать. Чего? Пока не придёт твой черёд. И не перестанешь думать? Так уже перестал, вернее, существуешь в силовом поле высокого напряжения, где ты в общем потоке, вне твоего сознания и ощущений, твоих деланий и хотений. Мнение — как объективная реальность.

Ну, от мнения избавиться просто, достаточно прочитать введение к «Феноменологии духа». А теперь мнение насаждается вновь, квадратно-гнездовым способом — общее мнение, обезличенное «есть мнение». Но вся заковыка в том, что эта серость предлагает невыразительное эсперанто. Чистое количество. Цифру. «А для низкой жизни были цифры как тяжёлый подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передаёт» (Гумилёв). Слова оставлены, отравлены. «И как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мёртвые слова». Слово опустошено, выработано. Оно истлело на весу. Главное, доказывать ничего не нужно. Дело не в языке (дело действительно не в языке, и язык забывает о своём происхождении). Здесь главное — «не нужно» и это замечательно. Работает или не работает. Принимаешь условия соглашения или не принимаешь.

Ну, вот, например, мне вся эта общепринятость в печёнках сидит, «учёные доказали», но мне проще не писать бесконечное введение к своей идее, а просто намекнуть: ну, это — «креативность» или ещё какое-то словцо ввернуть, и всё, проблема «приспособлена», она по правилам, подключена к коммуникациям, как канализация. На неё указали. Как пиктограмма: «кемпинг», «медпункт», дорожный знак «осторожно, олени!». Не то, чтобы этого не должно быть. Бороться с этим бес-

смысленно, словно с маркировкой общественных туалетов. Обыденность вступает в свои права. Но это пустопорожняя работа языка на холостом ходу, болтовня, которая не терзает даже меня. Более того, эта бездумность — условие функционирования «витания в облаках», функционирования интернета и бытие пассивной информации. Свои законы складирования, свои правила хранения, утилизации и сбыта.

Отсутствие проблем — это тоже проблема. В ходу временные заменители, выполняющие функцию свободного времени, подстанции для подзарядки преобразованным свободным временем. Насыщение свободным временем, как углекислым газом минеральной воды.

Само время сейчас — превращённая и возвратная форма, оно проходит этап, когда преобразуется в форме отчуждения и не просто представляет нечто не по своему образу и подобию, — это само собой, — а являет понижающее представление, делая образ не «возвышенным», превышающим, сверхчувственным, а овеществлённым (не путать с материализованным), огрублённым, униженным. Чувства сводятся к химическим процессам или к физиологии ощущений, к деятельности желёз внутренней секреции. Дух, униженный до эволюции, пусть даже творческой (Бергсон, Миньковский).

То есть не обобществление, а обобщение, не универсальность, а унификация — чистая абстракция. Которая в теории достигается простой операцией умерщвления, формализацией противоречия. Стоит стороне противоречия овнешниться, стать в оппозицию и предстать как отдельные, самостоятельные сущности, тут же получаем дурную множественность, не знающую свободы, но зато пользующуюся бесконечным числом степеней свободы, прирученной одномерностью. Отдельно пространство, отдельно время, отдельно бытие, отдельно ничто. Сущность и явление, мир сущностей и мир явлений, а ещё лучше упразднить волевым усилием «вещь-в-себе» — есть только вещь-для-нас. И любое противоречие сразу начинает разлагаться до бесконечности: жизнь отдельно, смерть отдельно.

Правда, сущность сразу породит явление, а явление воссоздаст себе сущность, прорастут причинно-следственные связи, прерывность-непрерывность, и всё срастётся без швов, даже шрама не останется. В бесконечном белом свете банальностей становится действительно страшно от метафизического, нет, не страха, а легитимной тупости.

Трудно и впрямь понять, что мир не имеет начала во времени, и — мир имеет начало во времени. Что вечное движение, оно же материя, никем не создано, и производная, — беспокойство духа, — отсюда. Невозможно представить вечность и бесконечность, что «бессмертна одна смерть». «Движение — абсолютно, покой — относителен», «то же, и тоже — движение», и прочие догматы диалектики, отчеканенные на её нетленных скрижалях.

Так зачем тогда познавать — всё так заведено от века, и так и будет. Зачем ше-

велься, если через какой-нибудь миллиард лет солнечная система загнётся. Или, наоборот, живи сегодня, одним днём, не загадывай, на наш век хватит.

Как беззащитен, в общем человек,  
И как себя он, не считая тратит..  
— На мой не хватит, или хватит век, —  
Гадает он. Хоть знает, что не хватит.

*Анатолий Штейнер*

Тоска зелёная.

Если бы не неповторимость каждого мгновения. Идея вечного невозвращения. Ладно, идея — живое чувство. Непосредственность грандиозного переживания. Когда потеря — это всегда потеря, утрата навсегда. И человечество навсегда теряет взгляд бесконечности и вечности на самое себя с каждой парой закрывшихся глаз. Не обязательно со смертью, а просто смаргивающих вселенную. «Вся тварь земная множеством очей» (Рильке). «И вздрогнет всё, и рябью шевельнётся тысячелетняя река из человеческих глаз» (Иван Жданов). И шелест книг — не шелест трав, а как бы, будто бы... шелест гербариев высушенных мыслей, «кровь сухая шелестит» (Мандельштам), которые оживают и прорастают, напившись свежей крови свободного времени — тратят нещадно, не сообразуясь ни с чем, — тут же зримо дают почувствовать, что именно непостижимость и неповторимость свободного времени позволяет человеку проникнуться чистой поэтикой бытия, и это — роскошь мышления и чистота идеального.

Проблема идеального — единственная проблема, которая решена приблизительно, в общем виде, но как специальная проблема, а это частный случай, и, вместе с тем — проблема формирования и возникновения свободных человеческих чувств в их развитии. Причём на наших глазах. И, конечно, дело не в Ильенкове. Он сам это прекрасно понимал. Вопрос не в приоритетах, а в самой сути проблемы, когда тем самым, практически, вместе со свободным временем решается проблема отношения духа и материи, буквально «единовременно» — одновременно, каждое мгновение — самим способом дела, самой жизнью, которая живёт свободным временем, его умением и прохождением до бесконечности.

Я терпеть не могу так называемый постмодерн, и, конечно же, феноменологию после Э. Гуссерля, как и современную пост-феноменологию, по-мародёрски обокравшую утончённую высокую схоластику. Это всё равно как в старинные страницы, вырванные из рукописных книг, заворачивать селёдку или делать из них кулёчки для семечек. Но дело не в плагиате, а в том, что это гниение самого вопроса о собственности. Какое может быть присвоение и интеллектуальная собственность, если это достояние (неправильно выразился) — даже не живой продукт,

а живая жизнь всей истории человечества, поэтому мышление безымянно, язык — условие жизни, и любой фрагмент — артефакт культуры, который безымянен, анонимен и в своём мерцании относительно безусловен.

Подозреваю, что сверхплотность, сверхтекучесть и сверхпроводимость свободного времени многим дают ясно понять, что, даже ничего не делая, не производя, не имея ни одной мысли, мы в этом потоке растём вместе с историей (и опускаемся — это как посмотреть). И музыка сфер анонимна. Мы не можем присвоить и установить авторство всей музыки, поэзии, философии, прочих деятельностей, как не можем и не собираемся (мы просто собираемся воедино) устанавливать авторство закона всемирного тяготения, закона превращения энергии, авторство вселенной и материи, а претендуем только на соавторство. (Шучу.)

Вопрос в причастности, — «Причастный к бытию блажен» (Гёте), но не блаженнейший, — и в том, как именно мы всё это переживаем. Неповторимо. Восхищение в вечность, восторг не учитывается, а, между тем, ради этого всё и происходит. То есть про- и -исхождение, как возникновение. И контра — исхождения. Выхождения из себя. Когда избитые строки, исхоженные тропы прорастают новыми смыслами (исхаживаниями, выхаживающими, пробивающими, натаптывающими тропу). Здесь теоретики, как коровы на выгоне, пробивают очень узкие колеи маршрутов, им одним ведомые, ставя копыта на одну линию — такая вот аллюзия. Пора переписывать всю историю заново, и сизнова всё это переживать каждой новой жизнью, что и происходит.

И всё это развитие едино, потому и возникает такой казус, как постмодерн, поскольку к каждому слову или явлению нужно писать обширный, по сути, бесконечный комментарий. Между двумя словами можно втиснуть все слова языка, всех времён, всех языков, которые были, есть и будут. И это, возможно, только как единое движение. Вот эта всеобщность и понимается (больше мается), и чувствуется, когда в ход идут даже ложные основания... Например, феноменология, которая ощипывает пух-перо явления, будто ничего не знает о диалектике явления и сущности. И эта абсолютизация явления позволяет создавать видимость реальности и действительность на уровне идеологии, моды и патентованной уверенности, что это хорошо, и это стоит посмотреть или попробовать.

Всё это давно известно, но с успехом применяется и эксплуатируется, особенно в области политики и искусства, которое тоже превращено в политику и способ манипуляции, инструмент эксплуатации ощущения, эмоции, мифов, который, в общем, банален и хорошо изучен, но уничтожить этот механизм невозможно до тех пор, пока не произойдёт смены основания. Как невозможно механизм превратить в организм. (Я намеренно ввожу неаккуратность, лохматость в текст, чтобы подчеркнуть, что это не монокристалл в однозначности, не полимерный материал, а, как минимум, организм, хотя современные мысли напоминают коллоидные растворы по сравнению с мышлением и вообще жизнью духа и чувств.)

По счастью, сама эксплуатация свободного времени временами нереальна. Может работать идея свободного времени, но его нельзя употребить, не превратив в праздность, а это даже не дорога к разложению, или, высокопарно, «путь», а — само разложение. Ритуальное самоубийство. Конечно, определённая сладость в уничтожении свободного времени bestолку есть, но это — извращение и болезнь. (Писали же панегирики сифилису, тот же Томас Манн, но вряд ли бледную спирохету можно использовать как метод творчества на том основании, что Бетховен и Ницше им болели.)

Хотя сейчас модно рассматривать шизофрению как проявление гениальности. Ошибочно такое явление признавать, но не пытаться лечить, хотя до сих пор дальше лоботомии, сначала механической, потом электрической, потом химической, а теперь при помощи ложной философии, не продвинулись. Лезут без знания дела и практикуют. Достаточно вспомнит Фуко, Делёза с Гваттари и прочих забавников.

Да, с фразой про феноменологию, которая имитирует ощущения — вполне правдоподобно: «феноменология занимается *ощущением* видимости». Дело не в том, что и как я вижу. А в том, что нечто выглядит так, а не иначе — и это бросается в глаза. И вот интересно, что то, как нечто выглядит, выглядывает, проглядывает в очевидности — это объективно (кажется, опознаётся, видится, ведётся, водится...), хотя может быть по видимости или кажимости, потому что явление выказывается, обнаруживается, проговаривается. Оно проговаривается, а не его проговаривают, клеветают, описывая его, привирают, домысливают, фантазируют, присочиняют. А видится мной (хотя на самом деле некоей всеобщностью, и потому видишь то, что хочешь видеть, а вот то, как я воспринимаю, то, по всей видимости, и субъективно).

То есть благодаря мне нечто является по-другому, другим, иначе. Вопрос в том, что превращение кажимости в видимость — это и есть ближайшая причина явления, а превращение видимости в кажимость — та же самая причина — ближайшая — явления представления. Явление существенно, но может и не быть выражением сущности.

Это как процесс опредмечивания распредмечивания — один-единственный процесс, а не сначала распредмечивания, а потом опредмечивания, «объективация стоимости» — процесс «овеществления — развеществления самого развеществления» — де-вещественность, как модная деконструкция.

Только в процессе «овеществления развеществления», в отличие от опредмечивания-распредмечивания (намерено не ставлю кавычки, потому что этот процесс абсолютен, как движение) нет свободы воли и даже прото-свободы свободного времени, тут даже — не «принят-не принят» (приятие — неприятие, приятно — неприятно, приемлемо — не приемлемо), — нельзя отказаться, великий отказ невозможен.

Кстати, момент тотальной необходимости — несомненен, а в процессе опред-

мечивания распределенная необходимая свобода вносит тоску по идеальному и однозначному, абстрактному, а ведь есть ещё снимающие процессы необходимой свободы, в свою очередь снявшей случайную, как будто они однозначны и застывшие в камне, а не перетекают друг в друга. Свободная свобода. И всё, условно «три», сосуществуют ещё и в снятом виде трансформируются, превращают, вступают в реакцию, изменяясь в процессе, а не остаются в «триаде» или «тетрактиде» (которая у Лосева очень напоминает шопенгауэровское «о четвероюм корне достаточного основания» гораздо больше, чем его опыты с античностью). Так что «участников процесса» великое множество, и ни одного. Тут можно множить «свободные времена»! Как угодно: они могут быть и потенциальными, и актуальными, даже кинетическими свободными временами-энергиями, суть не в маркировке их и типологизации, а в процессе утраты по мере превращения.

Процесс этот, пока бессознательный, по наитию — как алхимия со своей мифологией и без знания дела, хотя как раз свободное время требует невероятной единой науки, становящейся производительной силой (и становящаяся производительной силой), тогда как процессы, которые идут на смену системы машин, сменяющие механический способ движения, требуют ещё и политехнизма, с универсальными технологиями, вернее, единой наукой технологией, а это всё основывается на свободном универсальном человеке, действующем в свободном времени и созидающем его как бесконечно движущееся пространство развития, и не в одиночку. И это не утопия — просто смысл меняется, меняется цель, цель вообще исчезает, как нечто архаичное, мечты о всеобщем счастье остаются детям, вопрос «зачем?» упраздняется. Поэтому научная задача становится художественной. Как в анекдоте — «это просто красиво».

Тут суть в том, что одно для другого, своего-другого, другое себя в противоречии взаимообразны, так что сущность, например, времени — явление для пространства, вернее, явление пространства, а пространство — сущность и явление времени.

То же с другими парными категориями, которые — всё всего, лишь оттенки одного и того же процесса. То есть время — кажимость пространства, и пространство — видимость времени, точно так же, как пространство — кажимость времени и явление времени (так и хочется написать «его» — гадай потом, к чему «оно» относится, но в этом — великий смысл).

И это единый процесс, одновременный. Точно так же все другие дихотомии. Вопрос превращения — это всегда потеря. Поэтому помимо очарованности возникновения во взаимопревращении грозно видится-является исчезновение, да и вопрос, что грядёт? Что возникает? Мне всегда было жалко тыкву, превращённую в карету, и крысу, ставшую кучером (хотя даже так он оставался крысой — пример псевдоморфоза) и обратно — это всегда потеря и утрата. Но это шуточка, а вот «всё, что возникает, заслуживает гибели» — навряд ли смешно. В свободном времени

ещё страшнее. Это попервой, как светик семицветик, как шагреновая кожа, как исполненное желание. А во-вторых, оно обратного хода не имеет, необратимо.

Более того, как никогда ясно, что искусство ничего не познаёт, оно создаёт, так, что придуманная криосфера, область, где берут массой и масса, перенасыщенность — условие новообразований, когда агрессивная среда формирует и ощущения, и аморфную среду, и сводит чувства к ним, вместо того, чтобы доразвивать ощущения до чувства, а не нивелировать до некоего среднего уровня абстрактной реакции-раздражителя. Как зрачок, реагирующий на свет, современное искусство, создавая, напоминает процесс, когда из мусора формируют острова в океане, и эти отходы цивилизации создают «вторую» и «третью» природу, превращаясь в блоки, которые гатят в океан, чтобы отвоевать кусок пространства, и не просто захватить, воздействуя на органы чувств, а создать среду обитания, принудить быть, построив, например аэропорт, промежуточную площадку. Но мусор, свалка произведений искусства, не имеет ничего общего с «поверхностью», формой.

Так что искусство имеет такое же отношение к материалу, как полёт к мусору, из которого острова, на которых аэродром, «летадло» (чешский), на котором самолёты.

Фактура и «вещество» искусства не порождает форму движения, которая — суть материальности. Современное искусство раздирается с одной стороны тем, что бессмысленно и безмозгло, с другой стороны, оно не мыслит, а потому становится информативным, страдая от ретроградной амнезии, рассеянного склероза, и тем, что поставлено в своей кустарщине на поток.

Оно изнывает от невыразительности, от дробления, и при этом от желания быть в своей уникальности неповторимым, ни на что не похожим, даже на произведение искусства, будучи в своём каждом фрагменте продуктом другого, начиная от производства оснований, вроде холста и красок, и кончая видением, заканчивая созданным пространством и условиями бытия, стремясь к абсолютной бесполезности, как синониму красоты. Свободное время воспринимается праздным, по крайней мере, как вечный праздник, а приходит обыденным и беспросветным, как вечная деятельность самостановления. Оно выступает как «самодеятельность», о которой вскользь упоминал Маркс, и заметили это немногие, и только в советской философии: Ильенков Э. В., Босенко В. А., Канарский А. С, ну и ряд мыслителей, для которых это было само собой разумеющимся и в какой-то степени пройденным моментом. Думаю, каждый испытывал досаду, когда был вынужден в тысячный раз обращаться к растолковыванию элементарных процессов, вместо того, чтобы двигаться за окоём, при этом убеждаясь, что дальше некуда, и ты всегда на месте, а тривиальное и понятное восстанавливается в своей непонятности, и ничего ясного нет, как нет в философии тривиальных вопросов.

Искусство стремится стать (стадь, стадность, сбиться в стадо, и стадия, измеряющая соразмерность, момент нахождения, период развития, всего лишь пере-

мещение, ну или формальное изменение, ветшание, старение) дизайном, обмениваясь сущностью с вещью, которая мечтает стать товаром. Тут властвует новая мифология, потому что на самом деле никто никуда не стремится, и любой миф функционирует по своим законам, хотя слово «функционирует» и чуждое мифологии. Тут скорее уместно «судьба».

Современная наука напрочь мифологична, не говоря уже об искусстве. Наука живёт мифом о самой себе. (Все эти Фейерабенцы, Куны, Рорти и прочие методологи науки, специалисты по этике науки в попытках предписать, какой ей надо быть, занимаются даже не созданием мифов и мифологии, а мифографией). Наука не революционна — она буйнопомешана, она — застревающее суеверное сознание, со своими предрассудками, «забобонами» и плеванием через левое плечо. В ней ни грана этики. Она и хотела бы быть упокоенной в своих постоянных консервативных представлениях о себе, но её «плющит и колбасит», взламывает законы, корёжит законы и заставляет пребывать в вечном движении.

То, что она мифологична, её спасает, делая отдушины в знании, что оберегает от заморов и позволяет не задохнуться.

Тот же дизайн мечтает стать хотя бы видом искусства, хотя им не является. Его можно сравнить с дефектологией, она (он — дизайн) исправляет, камуфлирует недостатки, превращая их в достоинство, как дефект речи превращали в милое грасирование — это считалось пикантным, а на бородавку или родинку (или вместо) наклеивали мушку. Фетишизация и отчуждение вещи мистифицировали и эстетизировали. Любой айтишник претендует на особый тип мышления, вольно, но безграмотно оперируя понятиями. И даже в случае грамотного употребления понятий, терминов — эффект был бы точно таким же — полное безразличие. С этим бороться бессмысленно.

Вообще это всё и всегда сопряжено с рождением свободного времени, как чистого противоречия. С одной стороны: чистая регистрация явлений, с другой — опасение узреть, что же происходит, в сущности, а не в явлении, которое выдаёт себя за сущность во всей очевидности. А в сущности происходит тот же процесс, что и в явлении — это единое развитие. Потому что всё — на поверхности явлений, всё очевидно, но выглядит «не по своему образу и подобию», а как «впервые» — неузнаваемо.

Поэтому можно утверждать одно, и тут же — прямо противоположное. Но не в диалектической взаимосвязи, а сугубо эклектично. Эти антиномичность и антагонизм — только от того, что мышление не справляется с диалектикой, и потому пользуется мифологическими заменителями и представлениями, которые, выполняя роль образов или метафор, ломаются, не выдержав перенапряжения и нагрузки. И феноменология робко пробует тонкий лёд, схваченный космическим холодом остановленного движения, на прочность — тот похрустывает, но держит не всегда. То, что происходит в теоретическом сознании, философией не назовёшь,

скорее прогнозом погоды, как правило, ошибочным. Но ситуацию драматизировать не надо. Поскольку философия не популярна и не является ходовым товаром, я имею в виду, вернее, не теряя из виду, настоящую философию, а не феноменологию, аналитическую философию, практическую философию и все «измы», выступающие от её имени, то в философии сейчас свободно дышится. Случайные туристы ушли, и это не просто межсезонье, затишье, а полная чистота мышления, помыслов и деятельности. Промытые, а не закившие глаза, чистая музыка познанной необходимости. Чего ещё желать. Желать нечего.

То, что вытворяют феноменология и концептуальное и актуальное искусство, которые, понюхав английской, глауберовой соли бытия опрастываются, не в силах остановиться — это просто как физиологический процесс, прихвативший венец творения по ту сторону проблемы: и материи, и духа.

Бессильная агрессия массы может, конечно, уничтожить и прекратить развитие — никакой Ноев Ковчег не спасёт, но это не проблема. Как не является проблемой, даже философской, та же проблема Смерти, хотя много красивых слов было написано, и каждый нет-нет, но бросал на эту смерть прощальный взгляд, смирившись или не смирившись со старостью.

Отчасти это объективно со времён Сократа, который ошеломляюще говорил, что «философия — это подготовка к смерти», правда, это каждый раз воспринимается ново и по-разному, пока она не станет оправданием смерти, идеологией смерти, потом начинаешь видеть это везде: и в Египте, и в Древней Греции, у Платона, у Аристотеля, у Прокла, в жанре «зухидийят», от глагола «захада» («почувствовать отвращение», «отказаться», «ненавидеть»), в арабской поэзии, например у Имруулькайс:

Я вижу, что мы подвержены воле неведомого,  
Но находим наслаждение в еде и питье.

Мы пташки, мухи и черви,  
Но более дерзки, чем кровожадные волки.

С жилами земли срослись мои корни,  
Но вот приходит смерть и похищает мою долю жизни.

Я кружил по всем краям земли до те пор,  
Пока самой желанной добычей мне не стало возвращение.

В общем, тема бренности жизни — самая распространённая во всех поэзиях и литературах всех времён и народов. Ибн-Нубат, Абу-ль-Атахи:

Рождайте для смерти и стройте для разрушения —  
Каждый из нас идёт к смерти и могиле.

Абу-ль-Аля Аль Маари:

Бесполезны, как я верую и считаю,  
И вопли плачущего, и пение ликующего.

Как похож зов возвещающего о смерти  
На клики благовещающего в каждой долине...

Легче ступай! Я не думаю, что покров земли  
Состоит из чего-нибудь, кроме человеческих тел...

Здесь один похоронен над останками другого  
Давным-давно и на вечные времена...

Спроси дальние звезды о тех, кого они знали  
Раньше нас, кого привыкли видеть в нашем краю...

Тяготы — вся эта жизнь и я дивлюсь только  
Тому, кто хочет продлить её...

Цитирую обрывками. Поразительно, что это написал почти слепой человек. И так во все времена, у всех: схоластов, Паскаля, Гегеля, Кожева, Чорана, Янкелевича, «-у-у-у...», у кого угодно (я не знаю автора, который бы прямо или косвенно не был озабочен смертью, хотя смысла в этом никакого, будто мы погружены в неё по самые глаза и видим, думаем, чувствуем благодаря ей. Отчасти так и есть), вообще в диалектике, это даже бодрит, и вот уже никакого уныния, и, прочтя у экзистенциалистов «бытие к смерти», начинаешь исповедовать, фетишизировать смерть.

Наконец, ты готов к смерти, и давно, и ошеломлённо открываешь, что готовность к смерти — это пустяки, к ней ты привык изначально, и нет особого мужества в том, чтобы с этим жить, а вот «подготовка к старости», это тяжёлое ожидание, постепенное угасание, потухание, протухание без надежды, во всей неизбежности, вызывает уныние. Соппротивление бесполезно. Все эти рассказы о благовеликолепии старости — полная муть. Да и благо не совпадает с красотой и добром.

Впрочем, иные молодые стареют ещё в юности, заразившись преждевременной старостью, как проказой, и гниют при жизни. Вся лихость, дерзость пропадает. Они становятся обыкновенными, унылыми, тусклыми, покорными судьбе — сплошное разложение. И вот они-то и составляют массу и среду. Как-то само собой пред-

полагается, что жизнь принадлежит молодым. И правильно, но в массе молодость не молодая, и это омерзительно.

В общем у молодости есть все возможности, это чем-то напоминает электронное «облако», в котором всё равно: писать ли великолепные стихи или заниматься шрифтами, которыми эти стихи «набраны». (Хотя это тоже может быть творческой задачей.) Нет ни одной причины, чтобы жить. Всё равно, чем бы ни заниматься. Всё это составляет безликую среду, отстойник, тухлое пространство. Серость. Старость.

Тем более она (среда, масса, хотя для активноедействия человека пассивность среды — нонсенс, — её не существует, и человек — никак не продукт обстоятельств, хотя его к этому можно принудить) даже агрессивна, как среда, причём необитаемая... Она как атмосфера, которая безразлична к тому, кто в ней обитает и дышит. (К своему удивлению, обнаружил, что я не оригинален. Хотя ничего похожего на идеи Бёме Гернота здесь нет и в помине. Он связывает прекрасное с ощущением чувственного переживания, с настроением «не-я», представляя его как атмосферу, и представляет классическую эстетику как Айстетику, вращающуюся вокруг своего средоточия «Я». Фантазия и воображение, настроения и аффекты, желания и прочее составляют неопределённые атмосферы, которые изменяют основания познания как такового, и так далее, преодолевают отчуждения синестезией, соощущением «своей самости, как вовлечённой в себя данности», на основе «финализации» науки, считается представителем «философии времени», рассматривая его двойственную природу, саморазличающуюся на время в себе, как онтологическую простую длительность, и время, как организующую форму, ритмизирующую пространство, устанавливающую размер и способ восприятия, переживания и прочее. Время как средство представления и время как форма живого существования. Ничего не скажу, но такие интуиции, предчувствия очень симптоматичны для многих, сорванных со статичных позиций определённости происходящего.) Этому ничего не противопоставишь. И твои идеи поглощаются миллиардами похожих. Такой себе многоголосый хор феноменов, которые от явлений отличаются тем, что они производятся, а не являются. Но появляются с шумом: и буду ли я относить «агрессивность к красоте», понятой как среда, страдающая явлением, или информацией, которая как избыточный вес — разницы никакой. Избыточная иллюзия. Кажется, что «плотность» впечатления, восприятия изменяется, происходит перенасыщенность, но эта вязкость только кажется, мнится, и индифферентность — в шаблонах восприятия.

Надо сказать, что я был не прав, когда в начале книги считал, что информация музеифицируется. Она всё время находится в брожении, а не просто складывается на носителях, но всё равно она — продукт отчуждения. Даже музеи и музееведение изменились, и это давно стало общим местом агрессивной музеологии. (Что ярко выражено, например, в книге Клэр Бишоп «Радикальная музеоло-

гия», во многочисленных дискуссиях, в хлопотах Юга де Варина, наконец, в деятельности ICON — Международный Совет Музеев, который озабочен больше названием и тем, что считать музеем и каковы его задачи, как к этому относиться.

Музей — опасная игра. Действует как историческая реконструкция, деконструкция и реставрация. Он включен в общественное кровообращение, перестал быть прошлым и отделяться тонкой плёнкой нейтральности, — запылённостью отработанным временем, пылью вещей и образов. Музеи выступают «министерствами, научными институтами пропаганды». Они лживы и в массе своей являются копиями, голограммам, якобы шедевров или того, что назначается таковыми, — виртуальным средством промывания мозгов.

Не так уж много мы видим в музеях — в массе своей созерцаем виртуально. Классическую музыку мы слушаем в записи, живопись смотрим в тех же записях, книги читаем в записи, фильмы, шедевры архитектуры тоже, да и саму жизнь опосредованно воспринимаем в записи или трансляции, и это хорошо. Выработался совершенно новый род чувства. И с этим ничего не поделать. Но тут есть возможность потери сознания, поэтому мыслить надо, даже если не хочется. Музеи — не такое уж безобидное занятие.

Все эти музеологи(ни), могут быть милыми людьми, фанатами своего дела, из лучших побуждений переживающими за свои детища, но опомниться не успеют, когда музеи от простой интерактивности перейдут к агрессии, превратятся в монстров, и хорошо, если превратятся просто в исторические игры или создание гиперпроизведения искусств, эстетизированных пространств, театральных декораций, но могут перейти к чудовищному средству манипуляции сознанием, навязыванию эталонов, идеалов, шаблонов, приличий, пристрастий, чувств как машинальных действий. Более того, превратиться в способ создания определенных чувств, сродни привитому бешенству (не вакцине).

Чувства сначала, по аналогиям с вещами, «опускают», а после продуцируют, как массовое сознание привычных конфигураций. И главное: даже это нейтрализовано в самом желании. Условное напыление, своеобразная мимикрия вещей.

В вещь превращаются чувства, идеи, желания, свободное время, хотя на самом деле всё это ложно изначально. Не может, но превращается. Например, время, знание не может быть товаром, но если это нечто ограничить, то к нему можно применить отношения обмена, а значит, собственности. Это не совсем время. Не совсем чувства, но эта определённая позволяет обменивать всё на всё, так что к этому всеобщему эквиваленту можно картину, музыку, идею, чувство обменять на соответствующую тонну фекалий, и не по необходимости, а просто так. Обратная сторона «принципа неопределённости». всё как раз определено. Я бы упомянул теорему Геделя о неполноте, но это лишнее. И Минковский (я имею в виду знаменитую книгу: Минковский Э. Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования. М.: ИД «Городец», 2018) меня ошело-

мил тем, что становление понимает не просто как отношение внутреннего и внешнего, отсутствие в становлении внутренней и внешней необходимости, формы, времени и пространства, — это я знал, — а как то, что переживается, проживается не только как абсолютное движение, но и как абсолютная нищета. Хотя это есть у Гегеля. Минковский — психиатр, любитель-философ, вряд ли он читал Гегеля, скорее всего, как истый бергсонианец, и к тому же француз польского происхождения, он к немецкой классике испытывал идиосинкразию, — не буду домысливать и клеветать, сие неведомо, но проступает некая неприязнь к диалектике, к тому же, человек прошёл Первую мировую, и, учитывая общее настроение эпохи, презрительное отношение к бошам и давнюю вражду французов к немцам можно допустить нечто такое, хотя это и примитивно.

В любом случае, проглядывают откровенный дилетантизм и предубеждённость, подозрительность психиатра, и это не просто пресловутая свобода мышления, а как раз предрассудок и предубеждённость, столь свойственная одинаково и любителям, и профессионалам. Предполагать надо при любых обстоятельствах, что персонаж, упомянутый даже вскользь, представляет Абсолютный Дух. Почти шучу.

И ещё: становление проживается как истощение будущего, потому что оно всецело здесь, сейчас-происходящее, поэтому полнота и отсутствие чреваты временем.

Более того — это вопрос о власти и насилии. Как сказал один английский лорд: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». И главное, что с этим делать?

Предположим, мы знаем это, но что делать дальше? Упразднить мы это не можем. Борьбаться с этим глупо. Принять к сведению? Теряется радость восприятия. Пресыщенность, и в то же время апатия и бешеная механическая активность, ты всё время в «порыве», в суете, и воспроизводишь только суету наличествования, шевеление среды обитания.

Из этого состояния можно выбраться, но это значит впасть в индифферентность: дескать, тебе-то что, живи, как тебе лучше, и игнорируй, что это глупо. Обожествляй свой вкус, комфортность поглощённости своим мнением в этом сезоне и не экономь средств при общей экономии усилий. Самое страшное, что этому нельзя сопротивляться, можно только изображать это сопротивление. Вот у нас совместно с поляками была конференция о новых технологиях (я промолчу. Смысла никакого. Мало кто понимает, что такое технология, как наука), так ещё и открылись от искусства, продемонстрировав свою собственную беспомощность. Потерпевшие кораблекрушение. Плот «Медузы». Единственное новое — это то, что не строили из себя мессий. Скромно, но надувая щёк, признавали своё существование как данность и явление. Ни о чём, ни для чего. Просто так. И это самое важное. Человечество может позволить себе роскошь действовать ни для чего. Зачем? Что это решает? Но все принимают правила игры.

Даже тот же Минковский говорил о принятой роли, и что роль, цель, порыв должны быть обязательны. И вообще, завороченность целью и обаяние идеала становятся праздными. Всё, что написано о цели в истории человеческой мысли, представляет собой телеологию, обязывающую себя быть, воспроизводит свою необходимость в то время, как жить необходимо бесцельно и не идеально, в соответствии с идеалами. Идеал — персонифицированная возможность, понятая, как недостижимость. И тогда иезуитский девиз ордена, сформулированный Эскобаром, «Цель оправдывает средства», становится всеобщим руководством к деятельности. Хотя всё равно, иезуиты или янсенисты, католики или протестанты. Янсенисты действовали вполне по-иезуитски: и те, и другие — именем Христа, но даже если во имя красоты — суть не изменится. Все полемики мира отворяли кровь времени, превращаясь даже не в почтённую спекуляцию, не в схоластику (я было думал по аналогии, что мы имеем дело с нео-схоластикой), а в простую казуистику, которая, по старинному определению, — «наука религиозного, нравственного подведения совести под силу обстоятельств». Сейчас мы имеем дело с казуистикой, которая лишена и религиозных, и нравственных оснований, и совести. И всё бы ничего, если рассматривать это как избавление от пыли мёртвых отношений, но мы — в слепоте неисторического восприятия истории, которую подменяем произвольной историографией. Телеология подменяется теодицеей. Пробабализмом, правдоподобием, а то и прямой клеветой. Единственная спасительная мысль, что решение, даже запечатлённое, ничего не решает. И всё будет так, как будет, независимо от того, ужаснешься ты или пребываешь в полном неведении, находясь в эпицентре катастрофы.

А погибнет ли искусство? Или нет? Какие пустяки. Гегель похоронил искусство, отметив его преодоление ещё в «Феноменологии духа», Данто давно написал «После конца искусства» и лишил его авторских прав (у него была книга с дивным названием: «The Philosophical Disenfranchisement of Art»). Философское лишение авторских прав искусства. Дж. Гилмор пошёл дальше и лишил искусство гражданства. Эти забавы можно продолжать до бесконечности, предполагая что угодно. Но так не только на игровых площадках искусства, так уже давно в жизни, тем более, что стёрты, снесены демаркации искусства и жизни. Живо или нет искусство — что гадать? Когда Джеймиссон с умным видом пытается определиться с постмодерном, присобачив его как свидетельство упадка позднего капитализма, он забывает, что всем решительно всё равно. От того, что я буду утверждать, что постмодернизм — это явление разложения и гниения свободного времени, никто не ужаснётся и даже не вздрогнет, спохватившись. Как говорил Остап Вишня: «Шикарно разлагается». И пусть себе. Подумаешь, какое-то искусство. Значит, такова его судьба — гнить.

Ладно, я не о том. Просто начинаешь думать: «А почему бы и нет?» В конце концов, «а вдруг в этом и есть сермяжная правда жизни». Так и живём, в ожидании, когда же подожгут «Воронью слободку». Ждали-ждали — и она запылала с четырёх концов.

Говорливость. Болтовня, но зато какая! Забалтываешь пространство и заставляешь его сгущаться в турбулентности. До желаемой плотности в сопротивлении. Перенасыщенный раствор в явлении, которое может быть явным. О нём не знаешь. Если бы меня попросили одним словом выразить суть явления феноменологии, я бы сказал «показуха». Причём без всякого уничтожения. Явление — демонстрируется. (Человеку иногда говорят: «Не выделяйся», — тут такое говорят феноменологии: «Не демонстрируйся». Хотя смысл именно в выделанности, выделённости и всеобщей уникальности, данности, явленности. Подмена сущности понятием — способ существования, осуществление, окликание по имени: а вдруг отзовется?

Кстати, если бы кто-нибудь удосужился сверить, насколько я адекватно излагаю упоминаемых авторов, он без всякого удивления обнаружил, что это не соответствует действительности. Авторы не похожи, они неузнаваемы. Так что я мог бы вообще их не упоминать, и делаю я это не для того, чтобы подтвердить авторитетами свою правоту — это меня не волнует, а только по ассоциации, удивляясь, что я не одинок, и кто-то ещё занимается такой глупостью, как писание, забредая по ассоциации в эти почти смешные дебри, почти от скуки, чтобы скоротать время, потому что это заставляет пульс учащаться, сердце биться и вообще что-то чувствовать. (Свободное время — как адреналин, «экстези», наркотик). О чём речь, если даже самого себя адекватно изложить невозможно. И если во времена Канта, он мог благосклонно отнестись к г-ну Шульцу, признав его изложение верным отражением своей системы, то сейчас об этом речи нет, можно говорить о грамотности, но не адекватности. Всё — не то, копия невозможна, воспроизведение всегда мимо, важно — отклонение, отказ, отречение. Движение не равно себе.

Вообще, интернет, кроме всего прочего, показал масштаб, несоразмерность отдельного усилия с этой огромной, космических масштабов, массой, хотя он же и даёт иллюзию грандиозности, скорости и невероятности происходящего. Это миф, иначе бы мы сошли с ума от собственной ничтожности. Спасительна мысль, что Вселенная, лишившись моего зрения, обеднела бы на целое видение и что человек — микрокосм, уравнивающий макрокосм, и этот диакосмесис — необходимое условие. (Тут надо помнить, что абсолютизация, о которой говорит Сартр, присутствует всегда, о чём бы мы ни говорили, и поэтому следует всегда иметь в виду, что сейчас, в нашем случае, о чём бы не шла речь, она идёт о свободном времени), причём свободное условие бытия позволяет ещё действовать и воображать. Но так не со всеми.

Хотя на смену воображению приходит воля, на смену патриархальным вере, надежде, любви, чувствам, мышлению вторгаются действия, совсем даже не сверхчеловеческие, «мета» или «пост», «гипер», а как раз очень точные в своей неопределённости, «ни больше, ни меньше», где «максимум» Кузанского совпадает с «минимумом», и где (а вот это действительно, горе) ты примиряешься с жизнью, и даже её превосходишь, потому что тебе её жалко.

Читал «всяку всячину» всласть (всласть как власть, сласть), но и мусор — всю так называемую постфеноменологию. Вообще феноменология вся — мусор. Острова из мусора. То самое Мусорное пространство» о котором пишет Рем Колхас, только в несколько модифицированном виде.

К слову О Реме Колхасе.

Когда сталкиваешься с Рэмом Колхасом, — не только с творениями, — сначала поражаешься банальности его утверждений. Грандиозные банальности, потрясающие в своей наивности, но понимаешь, что дело не в языке. Попытка быть наивным до идиотизма в своей простоте, но очень дорогой и капиталоемкой. Есть какая-то спасительная детскость. «Да, всё плохо, всё ужасно, но ничего не поделаешь. Это объективный процесс, поэтому думать не надо. Делай, что можешь, и даже невозможное. Лучше играючи». По крайней мере, читать его весело. Он не даёт ни малейшего повода надеяться ни на что.

Ярость, увлечённость и необязательность действия поражает доступностью, расхожестью и всепрощением, как будто архитектор отпускает грехи, прощает, даёт индульгенцию быть примитивным и не требует никаких усилий для своего понимания. Это дозволенная глупость, сопутствующая любой современности, любому авангарду.

Но главное, он схватил в своём порыве историчность, которая стала синонимом преходящести, оставленности, он выразил «преддверье расставанья». Это не рассвет — закат. Смеркается. Надо скоротать свободное время или спешить, поскольку можно не успеть, но это ничего не значит.

Любое, даже архитектурное произведение, устаревает в его замысле. Наскучивает. (Скука и тоска — лакомый кусочек для феноменологов, психологов и прочих — интонация, основной мотив, ощущение «современности», чтобы быть современной. Это как соль для травоядных, у них без соли пищеварение не работает.) Устаревание как монументальность. Оно тяжелеет. Вечереет.

В моем случае стареет свободное время. Оно смеркается в образе. Сумерки.

Когда знаменитое здание штаб-квартиры китайского телевидения описывают образом «мокрого воздуха в авоське» (помните, Манделштам об импрессионистах: «я вышел из музея, в авоське лежало алюминиевое солнце»). Заимствованная свежесть. И знает

ли Колхас, что такое авоська? Думаю, что застал. Он же был в России много раз. Это ничуть не хуже, чем когда причудливость, «китайскость» современной китайской архитектуры объясняют «чтобы драконом удобней было летать»).

Представляется тающий снег. И только это останется.

Поражает обречённость. И она тоже наскучит. Это ощущение космической катастрофы, которая превращается в бытовую и обыденную. Такое ощущение, что тебя заливают соседи, или ты их, — прорвало канализацию, хотя сначала было хотя бы половодье от тающих снегов в горах, или вообще столкновение галактик.

Схвачено главное на всём протяжении его жизни: и настоящесть, и мусорность. «Мусорное пространство», как «мусорный ветер» (А. Платонов, уж не знаю, читал ли его Колхас, — есть невольные, без умысла, заимствование, когда образ «витаает», витийствует сам по себе, присуц времени, когда в углу двора летает мусор, и дворов-то нет. Не в этом суть, а в том, что это очень точно). Нью-Йорк в белой горячке, в делириуме.

Города растут, зарастают постройками, как бурьяном. Наглядная иллюстрация к историчности. Исторический материализм в самой откровенной форме, когда видят только напрасность, исчезновение, преходящесть, смертельность. Так что архитектура сама становится критикой пространства, своим сбыванием его опустошая. Оно дичает соответственно обывателю, его представлению о красоте, удобстве, комфортности. Я уже не об архитектуре. О гниющей на корню философии.

Вопрос о вкусе, основная проблема которого, по Канту — в его передаваемости, а не в критике. Любовь к передвижникам не более банальна, чем любовь к абстракционизму, к венским классикам, к неовенским (компьютер исправил на «несвинским»), нововенским... Которых слушаю, восхищаюсь, но не люблю. Страсть к красивой теории, формуле, идее не предпочтительнее нежности к предметности. Иногда возникает желание льнуть к предмету, растекаться по предметности. Просто здесь преобладает сделанность.

В обоих (во всех) случаях чувство имеет чувственно-практическую природу — всё определяется воображением и развитостью чувств. И стремлением чувств к любованию собою, что вполне может быть выражением снобизма, любви к самой любви, столь же пошлой, как абсолютное бесчувствие, в своей (а чаще в чужой) декларативности, обязательности. «Свой-чужой» в кучности соответствий своим представлениям, когда «мишки в лесу» («Утро в сосновом бору» Шишкина — мишки не его) прошибает на слезу, или какой-нибудь Дюшан, Поллак или Кандинский (беру в примеры попу) вызывают волнение в груди — это явления одного порядка.

(Неприятность в том, что ловлю себя на подлой мысли, что пытаюсь говорить то, что думаю, а вот фамилии произношу не те, подменяю на понятные, хотя пишу для себя. Это озадачивает. Любое слово тут же угасает, гаснет, устаревает и рассыпается, искажается в процессе написания, как «не то».

Обалдевание от Лахенмана, Гризе или Баха (Моцарта тоже можно превратить в психоделику), аутентичного фольклора, хорошего джаза или вообще Аллы Пугачёвой, или кого там сейчас слушают во всём мире — природа чувств одинакова, и рознится только по предмету, а процесс явления, и, что одно и то же, возникновения — тот же. То же и в архитектуре, и в кино. Одна только маленькая деталь — масса, плотность и свободное время с непосредственным усилением хотя бы формального восприятия-освоения. Так что, читаю ли я Дионисия Ареопагита, Гегеля, Хайдеггера, Чорана, Делёза, пост-феноменологов, Жижика и прочих, «Алмазную сутру», или потребляю «самогон» современных мыслителей, — суть одна: это брожение и отстой, а что будет дальше, сивуха, или...

Жизнь — не в её данности, как процесс окисления и горения, а в её полноте человеческого, когда этот вполне грязный процесс превращается в свет и красоту — это полностью зависит от свободного времени и свободного действия, произрастания в этом пространстве. Но свободное время проблему помещённости, погружённости в него не решает. Тут, почти по закону Архимеда (шучу), происходит выталкивание, вытеснение, избыточность твоего присутствия в проблеме, ненужность твоего удельного веса. Ты не нужен, и твоё присутствие нежелательно: это чужая свобода, с одной стороны, с другой — свободное время тобой живёт, тебя растворяя и превращая в движение целиком, тотально. Свободное время усиливает любые чувства, и «хорошие», и «плохие». Свободное время не этично.

Это не гарантия, а только возможность превращения и сбывания. Просто деятельность философа, музыканта, архитектора, художника, при всей своей маразматичности, консервативности и формальной ограниченности, абстрактности, ближе к природе свободного времени, «родней». Умение оперировать с ним, «привычка» (может быть, и дурная) к свободному времени создаёт момент обыденности.

Я даже предполагаю, что последним оплотом догматического мышления, закорючлых, ритуальных мёртвых чувств, реакции и контрреволюции, инквизицией свободы будет Вандея эстетики, крестьянская мелкособственническая кустарная провинция искусства, представители которой, как лавочники, бюргеры и обыватели будут защищать до последнего свою собственность на свободное время, собственность ни на что (поскольку свободное время — это всё время), просто собственность, как таковую. Но их купят. Они уже сейчас продажны, причём по дешёвке.

Предыдущий пассаж не о Колхасе, хотя он типичный пример того, как добрые намерения, энтузиазм, страсть и любовь к своему делу искажаются в агрессивных или пассивных «средах» обита-

ния. Эти же идеи при других обстоятельствах были бы, по-хорошему, фантастичны, а так они гротескны, и, как всякий гигантизм есть выражение упадка. Они не культурны, а цивилизационны. Человеку тут не место, он — исчезающая величина, вообще не величина, о чем знал ещё Шпенглер. И это не просто мегаломания современной архитектуры, это свойство вообще современности, даже в миниатюре — масса, как действующая безликая сила. Тектоническая подвижка оснований.

Колхас ощутил это и последовал своему «чутью», «инстинкту», слившись с тенденцией, не задумываясь, а так ли это, должно ли так быть? Может, это вовсе не путь? И что со всем этим хламом делать? Как его утилизировать? (Думаю, Колхас намеренно огрубляет и следует «велению сердца», отлично понимая происходящее, «но что поделаешь?» — хотя бы так, предпочитая действовать, чем оставаться в недеянии пассивной созерцательности.)

Я говорю вообще об искусстве, философии и даже науке, *которая* пресмыкающаяся и невыносимая в своих «назойливых» объяснениях мира и с миром (не *которых*), а *которая* единая, в единственном числе.

То, что искусство, наука, философия и прочее — лишь различные формы одного и того же движения, ясно было давно, а вот «непосредственной производительной силой» она только становится, и как она будет называться: политехнизмом (политтехнизмом), технологией, коммуникаций, коллективным бессознательным или как-то иначе — решительно всё равно. Всё это может стать тотальным механизмом, отказав свободному развитию и перейдя на гибридные формы существования, сосуществования с машинами, с процессами и прочим. Собственно, этот симбиоз уже существует.

Я упомянул Колхаса потому, что его первый опыт порно-сценария явно преследовал его всю жизнь. Всё, что им сделано и описано, создано, вся его критика отдаёт в своём натурализме порнографией.

Утверждаю это не из ханжеских и морализаторских побуждений — архитектор точно уловил разнузданный оттенок современной наглой и беспомощной мысли, не владеющей собой, неистовой, беснующейся, но зависимой, как от наркотиков. Ломка. Так что — типичный случай. К его чести, он не попытался прикинуться и представить себя в лучшем свете, подретушировать.

Тут есть некое здоровое безразличие оголтелого наёмного ме-

неджера по продажам, хотя мэтр и утверждает, что деньги его не интересуют, и он «верен идеалам Французской революции». Именно этой обыденностью Колхас и цепляет: он выражает суть того, что происходит.

Дело не во взглядах, принципах и мировоззрениях, которые он исповедует, а в его реальном действии. Человек, как событие. Не только поступок, но и все тайные и явные желания, которые могут сбыться вопреки, в противоречии, каким он хочет или хотел быть, и кто он в истории на самом деле. Рем Колхас — «Золушка» современной теоретической мысли. Чудесное превращение в принцессу? Нет, тыквы — в карету, но чудесное. Или, если угодно — крысы в кучера. Воплощённая попытка делать то, что хочется, путём подгонки «хотения» под свободу желать то, что «надо». При современном уничтожении воображения, которое подменено комбинированием, а микшировать можно только из того, что есть — ничто не воображается, воображение лишено воображения.

Недавно имел неосторожность ознакомиться с двумя идиотскими книгами: «Сайнфилд» и философия, книга обо всём и ни о чём» и «Симпсоны» как философия». В них 23 автора, «философы американских университетов», с иронией, как они думают, и юмором («американским», который плоше расхожего, «немецкого»), пытаются изгаляться в, как им кажется, философии, выдавая за неё американский образ мысли.

Я бы не стал упоминать этот параноидальный бред, если бы он наглядно не демонстрировал плачевное состояние не только американского, но мышления вообще, и тенденции, когда по всем правилам, ссылаясь на достижения мировой философской мысли, выдают такое, что и повторить противно.

Главное, с такой наглостью, что возразить невозможно — не потому, что нечего, а потому, что это за областью обсуждения. Как, скажем, увидеть, что листы инкунабул использовались бы в качестве туалетной бумаги. И, главное, поражает полное неведение авторов, которые говорят с самомнением экспертов. В США есть умные люди, но в массе воинствует слабоумие. Хочешь посмотреть, что ждёт мышление в ближайшем будущем — посмотри на Америку. Впрочем, современное состояние мирового духа вообще — не лучше. Он тонет в массе, как в нужнике.

Я бы почти завидовал тупости, если бы не знал свободу, превышающую всё возможное.

Колхас на фоне нынешнего убогого уровня мышления вполне презентабелен. Почти гений. По крайней мере, его можно читать.

Я бы мог привести сотню-другую иных имён, но грандиоз-

ность любой идеи, в том числе и упоминания «свободного времени как пространства человеческого развития» в том, что она обречена, меркнет, стремится к угасанию, не успев оформиться. Можно поглотить множество книг, можно предпочитать одну, можно всю жизнь провести над одной строчкой — всё равно, каким путём идти, если помнить, что всеобщее выражается через особенное в единичном, а главное — почувствовать это в личном опыте, как собственное переживание-становление.

Это зримо видно, рассматривая биографию Колхаса и пытаясь понять, а почему, собственно, его книги и проекты, даже биография, интересны, и задевают, вызывают симпатию. Есть тут что-то романтическое, вроде романа Айни Рэнд, какого-нибудь «Источника», «Атлант расправил плечи», со всей этой американизированной голливудской глянцевого стряпней. А интересно потому, что оправдывает и допускает эту «жалкость» и бездарность, разрешает. Читая Колхаса, испытываешь облегчение, что ничего делать не надо, — даже хотеть.

Но всё — мусор (не случайно он написал «Мусорное пространство»), как и его интервью, якобы полемика с Айзенменом, как вся эта поголовная серость тёток, вещающих о современном искусстве в музее современного искусства «Гараж», и вообще скучная суэта вокруг современного искусства по всему миру, во всех подобных центрах. Искусству, подобному свалке отходов жизнедеятельности производства, уже ничего не поможет, даже свободное время.

Колхас пытается быть честным, но, при всём желании ему это не удаётся. Если выразить в двух словах: он оголтело буржуазен, и не может иначе. Это как запах. Представляю, как взвились бы современные кормящиеся от искусства, если бы это прочли, но не читают, не взовьются, хотя, думаю, Рэм Колхас бы понял.

Он одержим идеей движения, духом предпринимательства вне стоимости. Подтверждение тому — его многократно повторяемый тезис, что архитектор должен быть на стороне преобразования, изменения мира, символом веры. Он им живёт, и суть творения из ничего — способ жизни.

Скорость изменений смотрится и ощущается не на уровне скорости света на фоне «неподвижных звёзд» (вот где скорости в процессах), а вблизи, в дроблении, в мелькании, когда ты синхронизировал скорость преобразования самого себя, привёл её в соответствие с развитием нынешнего, и потому оно «стоит рядом»,

около, вокруг, и вступает во все отношения: гармонии, консонанса, диссонанса, интервала, резонанса, слабые и сильные взаимодействия одновременно — уравнивает единство скорости превращения.

Это подкупает (именно подкупает, как взятка, хотя у пчёл «взятка» — другое). Поэтому Колхас, как явление, обманчиво показывает пути сотворения, сделанности себя самому через невозможное, игнорируя экзистенцию, самого себя, но живя только собой, при этом подчиняя беззастенчиво всё, до чего можно дотянуться, движению, развёртыванию собственной цели, как способу жизни. Всё написанное в современной мысли представляет сплошной синопсис, но не только, подобно тому, как любой нейрон мозга возбуждается и сам становится источником возбуждения в ответ на раздражение и возбуждение группы синапсов и торможения, любой автор, как клетка, функционирует только в функционировании всего организма, но как целое, в основном репродуцируя нечто как передаточный механизм. Раздражает. всё это вульгарно механистически и представляет собой угасание импульса, забывание, исчерпание, рассеивание. (Я это использую всего лишь как метафору. Поражает, как примитивно представляют высшую нервную деятельность. Когда я учился, был у нас фанат своего дела, профессор Чайченко, поведённый на опытах с крысами, он преподавал высшую нервную деятельность. Перед его приходом на лекцию кто-то из студентов громогласно, как шталмейстер, объявлял: «Професор Чайченко з групою дресированих щурів!» — и начиналась комедия. Так вот, он всерьёз считал, что если обучить крысу, а потом скормить мозг другой особи, то она станет очень учёной. Современная нейрофизиология недалеко ушла, сводя всё к индуктивному электричеству и неведомо откуда берущейся энергии, аурам, полям.)

Не знаю, что им движет: любопытство? Азарт? Жизнь на пределе? Но есть в этом что-то Моцартовское, вернее, легендарномоцартовское — так себе представляют, воображают жизнь композитора, только тут — бесстрастие физического процесса, происхождение, почти натурфилософия архитектуры, без стерильности, и воздух в его книгах не кондиционирован, не стерилен. Погромыхивает. Он заряжен. Разряд, озон! Пусть из лаборатории. Это пример того, как можно полностью подчинить себя великой идее движения в никуда. «Живи, пока живётся». Достоинство уважения. Благодаря неучтённому стихийно производимому свобод-

ному времени, ещё можно жить и дышать. Свободное время — «это ещё не все». Здесь просто действуют.

Ты ничем не лучше. Вынужден писать не то, что хочешь, а то, что диктует предмет. То, что думаешь ты, никого не интересует. То, что хочешь сказать — тоже. Интересно только то, что обладает всеобщностью, что и так знают, что узнаваемо. А истина может быть скучна, утомительна и трудна. Она вообще неприятна, и, если ты не мазохист, отвратительна, жестока и неопрятна. Сияющей её можно сделать «для себя». Как Рэм Колхас. Его игра в кубики (очень большие) достаточно примитивна, хотя в каждом кубике, как спираль ДНК — движение. Не квадратура круга, а кубатура шара, сражающаяся с тяжестью. Хотя без неё было бы тошно жить в невесомости неопределённости.

Ничего не происходит. Вернее — то, что всегда. Философия это испытывала. Превращение превращения, становление становления, развитие развития. Но теперь стремительность, заметность и видимость коснулась архитектуры, музыки, живописи, литературы, вообще искусства. Это их изменило. Превращение не отличает себя от жизни, от существования. Всё тронулось, и этот возрождённый хаос двинулся в рост, только и всего.

Философия было уходила, но, видя удивление, изумление, схождение с ума традиционных дисциплин, решила задержаться, и, на всякий случай — удивляться.

Это не рождение кустарной философии архитектуры или метафизики нового пространства, это естественный процесс, который сам Колхас неуклюже называет Bigness. Неточный перевод — гигантизм (*англ.* bigness чаще употребляется в значении «величие», однако, словарь Collins даёт толкование «факт или условие большой величины, размера, количества и пр.» или, в Новой Англии, вообще «размер». Приходит на ум и созвучное «big noise», означающее одновременно и «важное сообщение», «громкое заявление», и «человек, не пользующийся авторитетом», «болтливый человек». — *прим. ред.*). В любом случае, те же проблемы происходят везде.

Имеет смысл поражаться не тому, что видят, а тому, что не видят, пребывающее в исчезновении. Причём не видят очевидного, видимого, не сокрытого. Никак не поймут, что в любом фрагменте — целый мир, и в соседнем его — не больше. В Колхасе не больше смысла и глубины, чем в Прокле и Гегеле, а в Канте не меньше, чем во всей остальной философии или Вселенной.

Колхас великолепно почувствовал, что не просто разложение, расседание бытия, а его точное фрагментирование в индивидуации своими безразличными контурами составляет формальное разнообразие рушащейся формы, но он не

видит, что это — превращение в иное. Он справедливо не приемлет деконструкцию, понимая, что разложение, расслоение бытия неизбежно, но ощущает, не делая из этого культа, творческую природу смерти. (Философы, как старики в деревне, спокойно принимают это, дескать, «все там будем», «смерть придёт, никого не спросит».) Гигантизм — просто переход максимума в минимум и обратно. Переход количества в качество.

Три закона диалектики. Не три, а одно. Борьба единства противоположности. Переход количества в качество. И отрицание отрицания, которые не два отрицания, а одно. Но как сдвоенный удар сердца развития.

Своей определённой «первое отрицание» сразу, единовременно есть и отрицание отрицания, — собственно, положенность. Я об этом писать не буду, — всё написано.

Как к этому относиться? Да никак. Кивнуть удовлетворённо, отметив симптоматику. Будто повышение температуры, или, как показания приборов, зарегистрировать параметры происходящего. Разве что порадоваться росту, дескать бурно, дружно возшло, хорошо занялось. Чувства косвенны, косны, искоса, вскользь.

У эстетики свободного времени своих дел и проблем полно. И эти проблемы всё время меняются — как освещённость на пленэре, уходящая натура. Свободное время — переходная форма: возьми и исчезни, превратившись. И смысл его — в превращении. Хотя вопрос в готовности ко всему. Некая всеприемлемость порыва. Сквозняк вечности, коснувшийся затхлых форм.

И то, что знакомо философии давно, со времени её пробуждения, может радовать и даже восхищать, если не новизной, то свежестью порыва пробуждающейся мысли и нежностью (которая, как говорилось, по Проклу есть сущностное качество красоты). Этому сочувствуешь, даже страдаешь, удивляясь простому небезразличию в циничном и безобразном мире. Хотя он — никакой.

Не об архитектуре речь, не о музыке и философии. Вопрос в этом живом порыве, когда, казалось бы, всё потушили усталость и безнадежность, и всё подёрнулось пеплом превращённых форм — пробуждение развития в иных формах, освобождающихся от ветхости и затхлости, вопреки всем законам избывшего себя движения. Превращённость становится превратной.

И это не агонизирующая история в её последних конвульсиях, а живая жизнь, пробивающая своей гибельностью новый путь. Она может быть, а может не быть, может случиться, а может погибнуть. Ужасно весело.

Вечность и обречённость может вызывать усталость и ужас безнадёжности — всё равно умирать; а может вызывать веселье, потому, что ты — только превращение, и смерти безразличен. Она к тебе равнодушна. Вселенная дана тебе на поглядение, на время, как игрушка, и дана вся, как твоя жизнь.

«Фрагментирование», как ломкий, хрупкий лёд, раннее схватывание, примораживание. Лужи промерзают до дна, но не быстрые реки. Когда стынет само бытие, могут замерзнуть океаны планеты. Мне кажется, что одни процессы Колхас принимает за другие. У него локальное изменение климата, и это очень субъективно и вовремя. Он приспособливается. Дело в том, что развитие видится одним противоречием: «единое, раздвоение единого, разрешение, и на новом основании всё сначала».

Но таких противоречий множество. Прорыв в иное происходит не в одном месте, а «пятнами», во множестве, как сами эти «места», хотя интересует именно единый процесс развития, когда он на сознательном уровне, то есть свободно. Сознание, дух — необходимый атрибут, момент процесса. И уходит, снимается в основании. Развитие происходит не только «верхушкой», но и по всему «телу», в каждой точке, но и «всё вместе». И пятна — не трупные пятна, но после прорыва происходит некая инерция. Развитие и становление «возвращаются» «на круги своя», во время оно. Мало того, что «оно» (намеренно беру здесь развитие и становление как одно) переиначивает свои основания, вторгаясь в собственную историю и переосуществляя её, но оно ещё и поглощает, увлекает тебя, как момент движения, не давая опомниться.

Колхас это почувствовал, не следуя инстинкту архитектора (я бы сказал, композитора, а не компилятора). Он не осуществляет экспансию, завоёвывая и устраиваясь в пространстве, как в провинции. Он создаёт это пространство и саму интуицию, которую использует словно заместитель ещё не осуществлённого, не возникшего чувства, просто в качестве ощущения другим. Чувственность — пространство в образе архитектуры.

Так ли это — не знаю. Возможно, Колхас бы решил, что это бред, но так это выглядит. И это не комментарий к Колхасу. Такие процессы везде. Они безымянны. Это зарождение чувства, которое первоначально привязано к поверхности предметности, будь то чувство архитектурности, философичности, музыкальности, поэтичности, как самостоятельных, вне поэзии, музыки, философии, архитектуры, чувство времени пространства, становления,

чувство счастья, красоты, прекрасного, даже чувство безобразного, чувство ничто, ярости, полёта, ограниченности, смерти, тоски... Чувство чего угодно и не угодно, и не в твоей воле остановить его, надвигающееся катастрофой.

Отрыв воображения от предметности. Воображение, ставшее предметом себя. Поражённое воображение — больное воображение. Поражено воображением, парализовано, обездвижено. Оно застывает в изумлении, теряет сознание и самосознание.

Воображение паразитично и паразитично в симбиозе с образом. Оно — искажение и прообразно, со-образно, но это только в эмпирическом состоянии, пока оно во власти рассудка, но дело не в воображении — дело в самом чувстве, как онтология, во всей бытийности, действительности и реальности со всеми потрохами: ощущениями, аффектами, этосами, поднимаемыми до уровня чувств и снимающимися в них, и ниспаданиями чувств до ощущения и реакций-раздражителей. Тут феноменология выполняет для утратившего воображение духа роль вакцины, она нужна для поддержания иммунитета. Ослабленный штамм, заменитель философии.

Феноменология витает в электронных облаках, и на них путешествует. И часто проливается дождём или оседает туманом. Феноменология теряет видимость. Зримость. Визуальность. Обрывки отражений, клубящихся и плывущих упрямо против течения, которое их сносит, пытаюсь остаться на месте. Недурственно, как молекулярная кухня. Чистый вкус, но искусственный вид, «фальшивый заяц». У меня дилемма: мне не хотелось бы читать феноменологов. Но приходится. Это омерзительно, хотя понимаешь всю виртуозность и сделанность этого дизайна, поставленного на поток, я понимаю, что тут классика, более того, философия и история не нужны. Здесь нет необходимости ничего знать. Так может быть, если нет необходимости — это свобода? Не дело знания, а дело, образ(ование) чувств? Может быть.

Феноменология вся — «может быть». И вообще, этим гнильём заниматься не хочется, это отбросы культуры, вернее, цивилизации, свалка, которая и гнить-то не может, потому что сплошь искусственная, полимерная, полимёртвая. Но она не просто из отходов производства, она — помимо. Феноменология — суть дизайн мысли: удобна, комфортна, блестяща. Что-то вроде автомобиля. Сам такое не строишь и не освоишь. Всё равно, что строить космический корабль в сарае на даче, на досуге.

Вещь, организующая вокруг себя пространство, инфраструктуру, где ты, в лучшем случае — только носитель. Ходи пешком... С другой стороны, это среда обитания, бульон, культура — на долгие годы. Конечно, не для мыслящих, и не так грандиозно, как в эпоху динозавров, но эти монстрики разнообразны и активны, словно

бактерии и вирусы, — так точнее, — которые обретают причудливые формы. Знать их нельзя, но они и не настаивают, они кишат и претендуют на роение и новизну. К тому же, велик соблазн освобождения от ответственности по шизоидному типу. Тут нет свободы, но есть видимость и ощущение. И... увлекает. Как потеря реальности или психоделическая музыка. Попрешь себе философский реп, и вроде действуешь, клубишься, мерцаешь.

Это как в обществе анонимных алкоголиков (в кино видел): «Здравствуйте, я феноменолог». Все: «Здравствуй, Лёша-феноменолог». Аплодисменты. Читать это — как читать детективы и смотреть экшен. Ведь истина не обязательна, и даже правда — лишняя. Хотя, если перестать говорить хотя бы правду... Это растягивается безразмерно, как презерватив, и каждая истина имеет общий размер. К тому же, её ведь натягивают на головы. Главное — без последствий. Что хочешь, то и делай. Но всё равно ты этим дышишь. «Вонючий океан духа» (Сартр), я бы сказал, «духовитый» — уравнивает запахи, и вопрос только в легитимности этого амбре. Условимся, что назовём это «запахом», и толерантно, политкорректно будем считать его просто иным, а не неполноценным. Зачем? Ну, чтобы соответствовать и следовать моде. Иначе с тобой никто не будет общаться. (Вопрос бренда: если у тебя нет последней модели айфона, то в приличном обществе тебя не поймут. Если ты не ботаешь по фене феноменологии, то ты изгой.)

Тем более, чего не отнимешь у феноменологии, это того, что в любом случае грядёт — действия без оснований. Уже есть феноменология без интенции. И даже феноменология без явления, что тоже — явление. Вопросы задаются только тогда, когда есть ответы (Витгенштейн). Я серьёзно. Вот власть над текстом, в котором ты не властен. Или у которого ты во власти, когда тексту говорят «адию», то есть «вверяю себя богу», «с богом», а он тебя не отпускает. И ты считаешь себя источником творения, хотя это не так.

Что делать с «далеко не так», ты не знаешь. Делать, что хочешь, а не то, что получается, выпадает случайно — это предел мечтаний. Быть пределом и работать на пределе. И, кроме всего прочего, ясно видеть, что нынешняя феноменология, по сравнению со сложной схоластикой — вроде навязшей жевательной резинки. Например, по аналогии различения контемпорарности и современности, различать «феномен и явление». Ну как? Или ещё круче — «фенОмен и феномЕн». А эпиграфом взять Раневскую: «феномЕн, феномЕн, феномЕн, а кто говорит, что это неправильно, пусть идёт в жопу...» И прокатит.

Тут необязательность принимают за свободу — единственное, что иногда вижу в этой неопределённости, которую, кстати, декларируют просто, как переход от познания и созерцания к деятельности. Я по-прежнему считаю, что искусство не познаёт. Оно создаёт, а для этого лучшего основания, чем Ничто, не сыскать. Так что вполне можно переливать из пустого в порожнее. По крайней мере, я отличаю Ничто от Пустоты. (И этому тоже посвящено море литературы.)

И ещё: бесконечность и вечность не могут быть овнешнены, и столкнуться лицом к лицу им не удастся — не удаётся.

Внешность бесконечности не существует, а гадать по внутренностям себе дороже. Поэтому изнутри бесконечность и вечность предстают как сферическое зеркало, кривое, увеличивающее, гипертрофирующее и обращённое к себе, создающее тебя тобой же. Есть некоторая герметичность, но ты — это твой путь, твоя траектория, которую ты создаёшь собой, как путь необъезженной улитки, которая изображает, не отрываясь, одну линию, слагающуюся в рисунок и изображение, как проступающее и «срастающееся» в угадываемые черты — свобода от идеи и без последствий, народное «Пусть у нас будет всё, а нам за это ничего не будет».

В общем, феноменология — для обывателей, но проблема в том, что она тотальна, она — апология во что бы ты ни делал, апология «во что бы то ни стало», и, наконец, это как «скрепы, стяжи» разваливающегося мироздания — «мироолица». Создание внешней причины, чтобы удержать множество в единстве внешней необходимости, поскольку внешнего в бесконечности нет.

При этом дурная потенциальность и актуальность апеллируют к своим прародителям — к беспамятству изначальной свободы, которая происходит от энергии и дайнемиса, и к движению материи. Апофатически-катафатически, когда явление и сущность ещё в неразличённом единстве, как единство бытия и ничто, то есть — становление.

Но вот: где и как? И это можно длить до бесконечности. К тому же, это слабое противоядие от второго кошмара мысли, американской отрывки прагматизма — «практической философии» и тупой логики, которая проводит фронтальную лоботомию, и человек пускает слюни от счастья. Чувства отдельно, мышление отдельно. Гарнир — из мозгов фри. Горошек мозговых сортов. Ситуация и задача для психиатрии. А что можно этому противопоставить? Диалектика в нужнике — излишество, и воздух не озонирует... Просто начнёшь не понимать. Хотя проблема именно в непонимании. Понимание скучно. В одном правота: не надо искусственно гнать волну, и так всё сложно. Но подправляешь и эстетизируешь ситуацию. Как Оскар Уальд, зелёную ромашку в дорогуций костюм с чудесными прорехами (потрохами), чтобы нищий не раздражал своим видом... чем больше усилие, тем больше сопротивление, контр-усилие. Угол падения равен углу отражения. Да и отражения нет, абсолютное поглощение, влипание, чёрное тело. Контр-интенция, как коннотация. Откуда возникает интенция и редукция? Интенция и интонация?

Современная феноменология — ошмётки и недомыслие схоластики, вернее, плохое её осмысление, дилетантское переосмысливание. И так же буйно помешанная, как схоластика в период жизни и цветения, когда она ещё не была мумифицирована. Буйствовала в пору цветения и даже упивалась, с юмором и испуганным вдохновением создавая «учёное незнание». Оставляя мир на своё усмотрение, вкус на поглядение, но ничего не усматривая в созерцании. Право феноме-

нологии на время. Феномен и Явление. Потенциальная бесконечность и актуальная Дайнемис и Энергейя, Пространство и Время. Жизненный порыв. Становление и ставшее. Единое и многое. Все противоречия — об одном. Как немногие буквы алфавита (кстати, Альфа и Вита) — неисчерпание для выражения многообразия, так противоречия, аристотелевские бесчисленные оттенки философий — алфавит превращения. Сущность и явление явления. Наявность, очевидность. Несокрытость, алитейя... Воля к видению. Зрение. Вызревание. Форма хиле (уле, але) бросать тёмный свет на самую материю, сочетаясь, не таясь, с сознанием. Нездесьность, «нету́тость» сознания. И этот свет превращает материю в феномен, заставляя являться. В откровении. Но кому?

Это глупо, но красиво. Как чернила, имеющие отношение к содержанию написанного. (И что с того, что для получения монастырских чернил нужно было, чтобы вырос дуб, а на его листьях образовались «дубовые яблочки», и надо было в их сок бросить кованный гвоздь, но которым подковывали коня, и чтобы гвоздь тот проржавел, а уж тогда такими чернилами писали словеса в монастырях. Иначе, ежели не подковывали коня тем гвоздём, то чернила не получатся...) Изъявленное. За-явленное. Домысленное и тёмное, а в этой бескрайней темноте — проблески незнакомых созвездий.

Важна сама немыслимость, Взаимодействие, как взаимоядие. «Метастрофе» — как катастрофа. Тёмный свет материи. Действие явления, протовидение, противовидение, которое плотоядно. Незабываемое и неизбывное. Что такое «смотреть»? Интеллектуальная булимия. Избыточность, насыщенность интенции, которая всегда тенденциозна. Активное созерцание, навязывающее и увязающее в видении, которое агрессивно. На своё усмотрение, Свобода до памяти, до понятий. Беспмятство свободы, как природа. Трансцендентность на пределе. Тут есть момент чистой импровизации, упивающейся своей виртуозностью.

Явление анонимно и выдаётся благодаря автономии: автохтонное явление. Овнешнение вечности и бесконечности, которые не могут иметь внешность, зато получают ощущение вечности. Оно препарировано, анатомировано. Они (явления) всегда обращены на себя, вовнутрь. Черты лица изнутри. Но в своей анонимности подписывается «доброжелатель». Именно анонимно, а не безымянно. Реакция возводится в ранг чувств, хотя их не знают, и тем они явления псевдоморфоза, аморфности. Они заведомо чужие, прикидываются, изображают, представляют, лицедействуют, ничего не объясняя, но обосновывая. След, рана, травма. И боль от решимости явиться.

Заклинания духов. Не случайно тут открытым текстом говорить о третьей феноменологии — мистическом откровении (первые это дух и религия — странное деление француза, и где это Минковский надыбал?) Пассивность созерцания, как подозрение. Извне и изнутри опыт трактуется как испытание. Воздействие созерцания. Человек предстаёт как пациент с патологией, заменяющей воображе-

ние. Амфиболия. Операции философии. «Мыслить больше, мыслить лучше, чем можно помыслить» — Ансельм Кентерберийский. Синхрония и анахрония. Смерть в бытии в том, чтобы стать немислимым. Витгенштейн говорит, что вопрос имеет смысл задавать тогда, когда есть ответ. Эгология... через аскезу, ограничением, отказом от авторства и Идеала бесконечности. «Контингентность», «не-необходимость» (Марк Ришир, правда, он о другом, о перцептивном воображении, перцептивной фантазии, феноменологии поэтического, смысле зачатка и зачатке смысла). Я вполне согласен с О. Финком, что репродуктивная фантазия, воображение — рознятся, но принадлежат одному миру.

Вообще, вся феноменология после Гегеля — это баловство. «Игра в шары», боулинг современного мышления, празднество, что не взбороняется. «Вдруг» — воображение отсутствия. Создание среды. Посредственности. Страсть-возможность, possibility, «Страсти по... бытию-возможности». Бесстрастность, беспристрастность и сверхстрастность, как возвышенное и трансцендентное, как происхождение. Болезнь роста. (Брюкнер П. Эссе о принудительном счастье.) Робинзонада, одиночество и слабоумие от компьютера. Избыточность одиночества. Воображение без преобразования. (Бодийяр Ж. Последний закат Европы. Матрица апокалипсиса;

Камю. Пессимизм и мужество. «Интенция вырвала человека из зловонного океана духа» (Сартр) — добавлю, отряхнула и тут же высыпала свой улов обратно. Является ли плагиатором или соавтором человек, вступающий в диалог или полемику, хотя бы с самим собой? Со-беседник является ли со-вестником, вестником? Онтология и меонология. Укоренённость в меоне. Пребывание и прораствание «в...».

Текст подменяет произведение искусства (искусство подменяет текст, или текст — искусство?). Натуральный обмен заменяет общение. Диалог подменяется взаимодействием, мартирологом, и это даже не святцы, поминание, молитва — сухим перечнем потерь (теперь), запланированных и допустимых. Пользователи философией не знают ничего об её устройстве, тут важна только комфортность, удобство, скорость и объяснение в рамках достаточного. Мышления здесь нет. Физиогномика, фоторобот события. Происхождение явления. Содержание явления — освобождение, исхождение, про-исхождение. Глубина разлитого бензинового, радужного, как перспективы, пятна в несколько микрон обширнее тонны содержимого в цистерне, но по объёму они равны. Вопрос о глубине не стоит, как и о высоте. Речь об осведомлённости. Про-явленности. И знании в готовом виде. Которое можно использовать, как готовые краски, а они, конечно же, лучше самодельных. Не проживание времени Миньковского, а просто регистрация сейсмографом, что что-то происходит. Хотя никакого цунами нет, и землетрясение — просто пьяный младший сотрудник прошёл по прибору сапогами. Бродский: «Трагедия, когда не герой гибнет, а гибнет хор». Мы перед стихией цунами; землетрясение,

смыслотрясение уже произошло, океан обнажил дно. В предчувствии удара пишем прутиком тексты на мокром песке. Хотя на самом деле это может быть скучная смена стихий. Не чреватых катастрофой. Кржижановский: «Человек, который собственную тошноту и морскую болезнь считает гибелью всего корабля». Парацельс: «Проиграл звёздное небо и остался при двух-трёх созвездиях». Кант, Гегель, Пелевин — все точно так же об отношении к времени и феноменологии. Насыщенность интенции. «Звёздное небо внутри нас».

Перефразируя Аристотелево «Сколько сущностей — столько и философий», можно сказать: «Сколько явлений — столько феноменологий». Феноменология внаглую считает себя «всеобщей теорией всего», заявляя о том, что даже неявное и отсутствие — это явление, провозглашая аскезу и воздержание, как добродетель по собственному усмотрению. Сама она весьма бесцеремонна, но соблюдает некоторые церемонии в упрощённом варианте, как, например, редукция, и, следуя интенции, разрешает себе все. Есть некоторый профессиональный этикет, который навязывает явление в качестве представления. Этикет навязывается, как власть. Соблазн велик: полная и абсолютная власть произвола. Назад, к самим вещам, и «нет ничего, чтобы нельзя». Она не отлучает и не запрещает, всепоглощая в сверхтекучести и сверхпроводимости. И даже допускает некоторую параноидальность, шизоидность (Миньковский, Фуко). В сущности, она вся в пределах здравого смысла, и представляет вздох облегчения современного мышления в границах рассудка — всё останавливается, чтобы перевести дух.

Думаю, я узрел будущую проблему свободного времени и «свершения всех времен», когда боишься абсолютной свободы и требуешь гарантий своей исключительности, пай-цзы, от высших сил. Так называемая эгология, переживающая, «в какой степени всё — моё?», становится моим переживанием, остаточным явлением, и может иметь последствия как наследственная болезнь эгоизма, пока личность не преодолена (не случайно пост-феноменологи или так называемые «феноменологи третьей волны» пытаются вывести проблематику по ту сторону «субъект-объектных отношений», сталкиваясь с анархией и её феноменом, деспотизмом, — но всё это пустое, можно заниматься на досуге). Отсюда поиски критериев, но не в себе, не себе, поиски цеховой принадлежности, охранной грамоты (пропавшая грамотность), которая удостоверяла бы твою исключительность. Свобода для всех — не устраивает. Потому, что цитировать не будут. Патентованная дипломированная свобода, удостоверяющая — что? Что я в своей вычурности и пишу гениально? Вот справка! «Если всё дозволено, то какой же я, к чёрту, капитан?», какой же феноменолог? И то, что читать интересно или не интересно — всё равно не критерий. Казалось бы, ты работай, а все сами разберутся. В том-то и дело, что не Канта будут читать, а Маринину с Акуниным, не Прокла на древнегреческом, а муть всякую, и хорошо ещё, что умеют читать. Я-то этим переболел, но одна из самых сложных проблем — это не проблема признания, а удостоверение, что ты имеешь право

быть гениальным, вообще — быть. Так сказать, мотивация и востребованность. (Ответ на вопрос, зачем писать, даже если на задаваться вопросом «зачем».)

Для меня это прожитый этап, и всё упирается в интерес, хотя чувствуешь себя паразитом на общественно-произведённом свободном времени, которое — время жизни, которое обменивается со смертью в натуральном обмене, баш на баш. Но иногда думаешь, что хорошо бы вообще ничего не делать и не умножать заблуждения. Феноменология освобождает от ответственности, по крайней мере, за письмо. Освобождает на словах.

Другое дело, что это, как музыка, непредсказуемо, и ты не доишь будущее, создавая его, а не прогнозируя, не пользуешься прошлым и его инерцию. Пора говорить о прогнозах на прошлое. Но, в принципе, не можешь вывернуться из предзаданности и написать другое. Однако вынужден блуждать в прошлом, не в силах однозначно воспроизвести или хотя бы прочесть его, не по-другому, как «то самое». Обречённость, поступательность и неумолимость. Но очень трудно удержаться от пророчеств, прогнозов, и самое сложное — избавиться от желания скопом решать проблему. Невыносимость инерции. Ты просто сомелье, вкусовщик, дегустатор (гурман и гастроном), испытатель. Вот почему сейчас важен не опыт, а поступок, не практика, а жизнь, но всё это уже было, и я не рецептуру изобретаю, растирая порошки в алхимическом раже, истолковывая в бестолочь смыслы или смешивая процессы на авось в ретортах и перегонных кубах, создавая этусть бытия возможности, «вот». Я пытаюсь реставрировать хаос, вернее, его чувство, близкое к ничто.

Это жуть и страсть, в смысле «страстей» по..., грандиозные, как музыка Баха — им имени нет, чувств нет, только предчувствие чего-то огромного, что раскатами ворочается и мерцает, вспыхивает созвездиями в крошечной тьме, которая молча ждёт и даже не предстоит. И это всё уже есть, помимо того, что ещё только будет происходить. Бесконечность овнешняется, но овнешниться (ощениться пространством) не может, она всегда — звёздное время внутри. И проблеск, светлячок, когда двое (Мачадо), но это другая песня. Вечность не знает внешности. Это маска с изнанки. Хотя как выразить молчание, не нарушив его?

Искусственные сердца гонят по свободоводам, как по артериям и капиллярам, тяжёлую кровь духа. Воздух свободы — тяжёлый и невыносимый воздух, к тому же, его очень мало — всегда задыхаешься и бредишь от удушья.

Феноменология — высокая, желающая быть на высоте — экзотическая философская кухня со скоропортящимся продуктом. Поэтому все средства хороши: и второй, сомнительной свежести субпродукты, и фальшивый заяц, и соевое мясо, и заменители, усилители вкуса, консерванты, стабилизаторы, вкусовые добавки, приправы, продукты длительного хранения, консервы, всякая всячина, вроде саранчи, личинок, улиток, червей, в общем, всё, что угодно. Но бывают шедевры. Как утка по-пекински — утка по-философски. Но философии в ней нет. Вместо философии — супермаркет феноменологии. Могу биться об заклад, что есть «философия кухни»,

как и «философия парикмахерского дела». Скажете, плохо? Нет — замечательно, но опт- и друп-ценники на продукцию никакого отношения к философии не имеют.

Полистал книгу В. Сидоренко, собранную из множества фрагментов, так, что тексты прорастают сквозь изображения, и был впечатлён находками. Во-первых, это — произведение искусства, оно может быть создано один раз. Произведение искусства, обречённое на неизбывное одиночество. Во-вторых, как и типичное произведение, оно эклектично, фрагментарно, мозаично. Объединено принудительно и вслепую (даже мои стихи «взгляд отводить, как отводят ручки в пору таянья снега...» приписали В. Клеваеву. Я был горд). Кстати, надо подумать о явлении а-плагиата, когда своё приписываешь другому, мистифицируя пространство. Книга ошеломляет, как масса, не толпа — она превосходит единичность. И тяжестью, и неумолимостью. В одиночку невысказано сделать такую книгу. Просто физически. Сколько труда, сколько формальных изысков. Например, резанный по полям текст, строки разных цветов, входящие друг в друга, как сплетённые в замок пальцы, разностилевость, разные шрифты. Короче, удивился даже обрезанной картонке обложки. В-третьих, динамика, казалось бы, аналитичная, но она синтезирована, сведена воедино страшным давлением, и — саморазогревается. Превращаясь. Это подобно модному сейчас мемориальному алмазу. Берётся прах после кремации, и из него производится синтетический алмаз. Прах человека состоит из углерода, в нём много бора, потому алмаз голубой. Его гранят, пишут имя и дату смерти, и либо хранят запаянным, либо носят, как украшение, в оправе. Эта книга — просто модель феноменологии в действии. Превращение в чисто рекламную акцию (книга, как рекламная пауза), нивелирование, частотность, калибровка смыслов. Болтовня, говорильня, показуха, поскольку всякая феноменология — о явлении, и это представления, презентация, демонстративность, как таковая. Репрезентация пустоты. Всё это меня восхитило. И поразила мощь организации. Чего у Сидоренко не отнимешь, так это умения невозмутимо повелевать стихиями, когда людей используют, как краски, и одновременно графически. Живых людей. В общем, книга уникальна. Я не решаю, хорошо это или плохо. Это действительно событие, но с ироническим подтекстом. Что-то я заболтался. Но очевидно, что время серьёзных книг прошло. Наступило время карнавала, натужного веселья в попытке убедить себя, что всё в порядке. Я уже говорил, что вся феноменология — это «показуха». Так и эта книга напоминает всё сразу. Вспоминали, что это и Борхес, «сад расходящихся тропок», и напоминает игру в бисер, «Игру в классики», которую тоже нужно читать в разных последовательностях глав. Тут всё — миниатюрная модель мира, Алеф, антибесконечность без умаления, библиотека, где есть книга, которая содержала бы все книги, причём в разрезе, книга, которую никогда нельзя открыть дважды на одной странице, капля, содержащая океан, когда показана безымянность, всё срастается, смыкается без швов во сплошность и заполненность, «бить на сполох, но как в рельсу». Шутейно... Всё — течение, где тени отражений плывут

против, чтобы удержаться на месте, и ты должен двигаться с ними на одной скорости. Мелькание сливается в кинематографичность, несмотря на раскадровку. Это мультипликация.

Противоречие свободы и природы — возврат к классической постановке немецкой классики. (Кстати, то же и с созерцанием, когда стыдливо говорят о визуальности и смотреии.) В чём они все сходятся — это в том, что «свобода как познанная необходимость» (Спиноза) и действие в соответствии с ней есть не отрицание, а снятие природы, то есть свобода «от» и одновременно свобода «для». Свобода свободы — это как раз полная бесчувственность свободы, и как объективация — её беспристрастность и объективность, независимая от наших ощущений. Но когда она уходит в основание, а уход в основание — «зайн цу грунден геен» — уход в абсолютное ничто, переставание быть, то чувства входят в полное определение предела (и, что то же самое — предмета), то есть они не определены, между ними нет определённости и демаркации, сам предел есть непосредственное превращение, они никакие, потому что их качественное исчезает. Чувства не обособляются.

Более того, чувства бесчеловечны в том смысле, что они не принадлежат человеку, и тем более не являются формой присвоения и собственности. Простой пример со светом:  $e=mc^2$ , и ты хоть тресни, а это от меня не зависит. Чувства от меня не зависят, сила тяжести от меня не зависит. То есть снимается проблема, философия не освобождается от чувств, но присутствует, как оттенок — просто поэтика бытия, но нас это не интересует, мы мыслим, и бессмысленно заниматься редукцией, избавляясь от чувств, как от чумы. Чувства входят в полное определение предмета, сами предметом не являясь, они, извини (это я себе) за тавтологию, чувствуются, «чувствуются», то есть: и претерпевают чувства, и наделяют чувствами (надел чувств), и происходят, исходят чувствами. И параллельно, вернее, тем же — «временят».

Они — непосредственное действие, чувство действия, но не воздействуют, не деформируют, а превращают, минуя преформацию, опуская и отпуская на волю. Что касается чувств, то процесс этот бесконечен, а не одноразовый. И, собственно, явление — это представление, происхождение и следствие. Явление всегда в какой-то степени — прошлое, превращение невидимого в видимое, обнаружение, оставаясь в невидимом (а вот феномен противостоит ноуменальному бытию, как явленная сущность, — являющуюся он не распознаёт). Мы можем говорить (сейчас в гробу переворачиваются историки философии) о некоем *феномене*, где противоречие ещё не стало, единое не раздвоилось, но уже не и не то, что было, и не то, что есть, и тут же, одновременно, противоречие не разрешилось, а разрешается, и это тоже явление. Пока схвачено, что феноменология абсолютизирует только одну сторону противоречия.

Хотя это невозможно, как невозможно отделить пространство и время, сущ-

ность и явление, но ей кажется, что можно помыслить, абстрагироваться, изобразить и даже создать (кажется — не иллюзия или иллюзия действительная, явительная, и, как в искусстве, незыблемая, самоцельная, настоящая, подлинная, кажимость и видимость создают противоречие, и это — представление, чтойность, этость, *вотость*, дазайн), но удержаться в разрешении не может, сваливается, обрушивается в единство, — на гребне видимость является как несокрытое очевидное. Явление иного. Но является мне, и я — Иной.

Кроме, кромка, кромь, кромешность, сплошность и в то же время — разрыв. «Устройство разрыва», и в тот же момент — совсем не механическое действие. Трансцендирование не по шву. Философия совершенно равнодушна к тому, воспринимает её или нет. Она самоочистилась. Тут нет устаревания. Данность не свободна, и вообще, явление — не данность, оно вне отношения не существует... эх, забыл, пока шёл. Что-то мучительно пытаюсь, на кромке, вспомнить. На краю непостижимого, и смысл — в ускользании... Очевидность, созерцание — с этим давно разобрались. Феноменология занимается ощущением видимости. Дешёвая потусторонность. Трансцендентальная психология, ощущаловка. Ладно, промахнулся. Не успел схватить. Жаль. Я давно знал, что все оттенки: свобода и необходимость, свобода и несвобода, свобода и случайность... — противоречие свободы и природы. Так что вопрос о свободе — это вопрос о превращении свободы в природу. Это вообще не проблема. Явление дано, и потому не свободно от возникновения и исчезновения.

Все дело в том, что «второй стороны» противоречия феноменология не признаёт. Дескать, есть только вещь для нас, то бишь — явление, а вот вещи в себе нет, мы о ней ничего не знаем (как Митрофанушка, «Недоросль» Фонвизина? И-т-и, Митрофанушка, всё то, что не понимаешь, так того и нет. То есть типичная метафизика в худшем значении этого слова. Статика, и то одно, то другое, или-или. Принцип непротиворечивости формальной логики.

Чувства объективируются, то есть кажутся, выказываются вне и вовне, отсюда сюда, и этот же процесс (не иной) видятся отсюда сюда. За развитие чувств ошибочно принимается их появление и проявление. Чувства принимаются, являются, происходят. Сами по себе чувства собственного саморазвития не имеют. Они все в проявлении. И это их мучительность, невозможность сбыться и избавиться от себе равности.

Не то, чтобы это было первотолчком и причинностью, «потому что...», но несвобода чувств — из-за их недоразвитости, *неоразвитости*, охваченности развитием, вместо того, чтобы быть самим развитием. Они игнорируют безусловное условие происхождения, привнося «ближайшую причину» в качестве изначальной.

Нужно вывернуться наизнанку, то есть развитие чувств интенсивно стремится от общего к частному и единичному, как свитие, сосредоточение, концентрация,

схождение и несвобода чувств, добровольного проявления не свободы, а её подо-  
бия. Неволя пуще воли, как охота пуще неволи. Чувство выпущено на волю, и, при-  
выкнув сопротивляться, бесится от свободы. Событие — добровольное желание  
зависимости. Сила чувства, воля к чувству и воля чувства. В этом невозможность  
чувств, не возможность, но действительность их, которая склоняет ожидание к при-  
нуждению надеждой.

Тут много можно говорить о странностях любви, вплоть до порабощения чув-  
ством, охваченности и невозможности сопротивляться как высшего проявления  
твоей свободы. Поэтому чувства могут развиваться в ничто. Но это им «не нужно»: нет  
внешней необходимости и относительности. Независимо от дления в про-  
странстве и во времени, чувства абсолютны. Они либо есть, либо нет.

По сути, они не имеют определённости и качественной, и количественной. Глупо  
говорить «сильно люблю», и даже «люблю» или «не люблю», потому что лю-  
бовь не может быть определённой. Ненависть куда определённой.

Чувства — это смертное абсолютное. От сих до сих, ровно столько, сколько  
надо, ни больше, ни меньше — абсолютное в своём роде. Трансцендирующая  
и ниспадающая красота — теофания красоты — прекрасное, которое тоже совер-  
шенно в своём роде, и потому предел и граница возможного — невозможная кра-  
сота. Красота, которая по сути дела впадает в антагонизм с прекрасным.

Я бы сугубо для трансцендентальной эстетики допустил дуализм, то есть раз-  
витое противоречие Красоты и прекрасного, оставив без внимания рождение, про-  
исхождение, становление красоты и Прекрасного в их развитом высшем проявле-  
нии, как два начала, две сущности, игнорируя смерть, затухание, снятие и разре-  
шение противоречия и исчезновение в основании не в какой то определённый  
момент времени и месте пространства. Что с того, что это одна сущность, и всё воз-  
можное многообразие — единый процесс, а умирание — та же жизнь в себе тождественности.

Уход в основание, как в абсолютное ничто, в бездну, во всей мощи и славе,  
превращение немедленно — вот это превосходящее, превышающее развитие  
имеет смысл. Всё остальное устало и не поддаётся исследованию не потому, что  
невозможно организовать достойные похороны, а потому, что остаётся только па-  
даль чувств, вынесенные волнами на отмель хитиновые оболочки раков, которые  
хрустят и ломаются. Музыка и буйство жизни ушли.

Чувства стремятся к совершенству, и лишь несовершенная форма — их до-  
стояние. Иначе они станут шарообразными, в сущности, они аморфны и прини-  
мают любую форму, превращаясь, но это смертная вечность. Форма не напол-  
няется, она происходит, как существенная форма движения. Хотя отсутствие чувств  
порождает «веремья» чувств, и чувства времечат, длятся. И смысл их — в возникно-  
вании и исчезновении, где они аннигилируют в мгновении. Они всё время живут  
с риском для жизни. Их смертоносность очевидна.

Поэтому с исчезновением Земли, в какой-то степени, чувства уже есть потенциально, в возможности. Всё, что написали Бах и Моцарт, и любой другой, всё, что может быть создано, нет, обязательно создаётся, но в бесконечности и вечности — «как всё во всём существует», так или иначе.

Так что, да, чувства — это непосредственное действие, только нужно повернуть действие самих чувств на самое себя и самими собою. И вот важно это «и так далее». И в этом их проявление, проявляющее явление, заставляющее их светиться и рдеть, а не только освещаться, и чувства начинают самопорождаться из ничего (автодзоон), совершенные, как Афина Паллада в полной славе из головы Зевса (утрирую).

Просто чувства даны враз, сразу и вдруг, навсегда, и то, что они умирают, говорит, что они ещё не вполне чувства или времячувствие как лишённость, истощение и угасание. Но это только для нас, а само превращение и становление бесконечно, и чувства — не самоцель.

Их саморазвёртывание — кажущееся, неограниченность тоже кажется, как и скорость происхождения. Так видится мгновенная скорость. Скорость мгновения не имеет протяжения, то есть она практически не сдвигается ни на микрон, ей некуда и невозможно понять, относительно чего она на месте. Чувству не с чем себя сравнить. Беда в том, что (схематично) если воля — сопротивления предмета и этот предмет деформирует, то самое большое сопротивление и напряжение испытывается в неодоимости ничто, вот что противостоит насмерть, и нужна столь же безмерная воля, чтобы творить из ничего. В том числе и чувства. То, что уже было преодолено, восстанавливается в полной мере, апокатастасис, как превращённая и возвратная, восставая из мёртвых форма, но уже не по необходимости, а свободно — «умертвия». Это, конечно, не те формы прошлого, а скорее восстановленная искусственная внешняя необходимость.

Я тут подцепил у Осборна удобное словцо — «апроприация», то есть присвоение. Вроде нашего вчитывания, но они понимают это как экспроприацию, у меня по аналогии мелькнуло «апроприация апроприаторов», — они трактуют это как собственность, стоимость на знание, чувства и прочее. Я бы рассматривал этот процесс как усвоение, проживание и вживание (вживление, как атомной батарейки в стимуляторе в сердце) в том, без чего нельзя жить, но оно усваивается, как среда, поэтому может не рассматриваться отдельно. Рыбы аппроприируют воду, вживаются, всё наше бытие — апроприация, даже потребление пищи — апроприация, такой же естественный процесс, как ассимиляция-диссимиляция. Тут вспоминают о деконструкции. И всё это примитивно, ещё бы, ведь по Делёзу и Гваттари философия суть продуцирование «концептов».

Я к чему: нельзя экспроприировать свободное время, но можно апроприировать, принимая, усваивая, превращая в пространство или убивая праздностью и отторгая в качестве среды обитания. Упаковывая в вещь, измеряя вещами и стои-

мостью. Хотя свободное время — не среда пребывания, однако к этому стремится, чтобы стать окончательно, завершиться и превратиться в универсальность, — подменяя её всеобщим эквивалентом, — во всё, в пан, природу, в панта рей: «И покидает, и не покинет». Усваивает, играючи. Поэтому же — все наивные рассуждения Гуссерля, и, во многом, его последователей, что образ представляет нечто не по своему образу и подобию, не совпадает с воображением как деятельностью его становления — представляют собой ученическую задачу. Глубокомысленные рассуждения, что образ как объект и то, посредством чего он схвачен и представлен — разное, возвращают к модным некогда спорам о совпадении логики, онтологии и теории познания, гносеологии — совпадают ли они, или это — одно? Всё это от беспамятства, ретроградной амнезии, а то и от неграмотности. Со свободным временем то же. Образ и представления рассудка о нём ничего общего не имеют с той силой, которая свободное время порождает. Оно на себя не похоже. И неузнаваемо. Оно не может вспомнить, о чём оно. Поэтому действует, подражая, по аналогии, присваивая чуждую себе природу.

Когда тебя апроприирует некая общность, как разрешённое противоречие внешней и внутренней необходимости, они удваивают пространство, делают время экстенсивно интенсивным и заставляют взаимоисчезать в превращении времени и пространства, сводя к объёму, к количеству, к привычным формам «поведения». Это всё равно, что пытаться лизнуть компьютер, чтобы почувствовать вкус. Так что свободное время уже есть, но способ действия в нём, с ним пока неведом. А был бы ведом, то его нельзя было бы применить, как ныне диалектику в формальном мире.

Всё это озабочено глупо, потому что в сущности (безо всяких запятых, именно в сущности) это и есть эмпирический опыт проживания, существования, экзистенция, происхождение и сведение к знакомому интеллигильному созерцанию, только ты поневоле, даже ничего не делая, изменяешься, и по неволе, невольно растёшь вместе с массой, хочешь ты того или не хочешь. Быстрее или медленнее, но рост массы опыта тебя влечёт в общем течении, и ты исподволь растёшь и изменяешься. Скажем, ты можешь об этом не знать, но в «бытии возможности» твоё развитие происходит.

Я писал, что «феноменология витает в электронных облаках». Не-зрение, незрячесть откровенного и открытого в упор — вызревание, созерцание, видение на расстоянии, в удалённом доступе, оно постижимо и доступно, но остаётся в бесконечности неведомого. Это чисто потребительское отношение. Не случайно Осборн заговорил о трансцендентальной эстетике, совершенно не понимая Канта — всё старо, как мир, только тут расщеплённое зрение становится объективной силой, наведённой галлюцинацией, и ты принуждён к зрению, к тому же слепому.

Опять же, восприятие, представление, созерцание тоже оказываются апропрированными, ты видишь только то, что тебе позволено, быть очевидным —

ещё не значит быть видимым. Тут отъятие (а потому временное относительное видимое) зрения усиливает по правилу компенсации слух и тактильность. Вещи — как брайлевский шрифт, и художник — слепой, который, впрочем, умеет читать наощупь. Я к чему: тоска по трансцендентности и ограниченности, схватыванию и соразмерности, благодати — бессознательна. Чтобы всё, но «само собой». Упрощение и пустое пребывание.

Не случайно сейчас так популярны (популярны) выяснения отношения между ничто и Пустотой. А зачем всё это знать? По крайней мере (хотя одно другое не исключает), я бы хотел играть, как Яша Хейфец или Ойстрах и прочие, ничего не зная об акустике, способе монтировки скрипки, и жить, а не теоретизировать о жизни и смерти, и жить хорошо. Сразу вспомнилось «Жить хорошо, а хорошо жить — ещё лучше». Хотя вопрос «зачем» для меня не существует. А здесь — не жизнь, а нежить.

Поэтому называй это апроприацией, существованием, пребыванием в сущем, дазайном, трансцендентальным априорным опытом... — сути это не касается. Шум бытия, «тёмная материя» и прочая хрень. Псевдоморфоз: любое произведение — вторая природа человека, она же первая и единственная. (Сошлюсь на лихие опыты Алёны Лебедевой в её удачных попытках приспособить этот геологический термин вслед за Шпенглером в качестве «действующей метафоры для выражения процессов в дизайне, понятом как «феноменология вещи».)

Архаичные поиски нематериального после того, как решена проблема идеального, понимание материального, как вещественного — бесконечная зацикленность на декартовских штудиях или завороченность схоластикой, что неплохо, но к чему этот догматизм, в самой схоластике было куда больше жизни, и уж виртуозности — наверняка. Сначала Brentano, Гуссерль обобрали, ободрали схоластику, потом пришёл Хайдеггер — расхититель могил, Сартр, умствовавший по поводу «Критики диалектического разума», Слоттердаjk с «Критикой циничного разума», который явно Канта не читал или читал дайджест «Кант за полтора часа». Да и Адорно с его «Негативной диалектикой» и даже «Эстетической теорией, искренне расписался в том, что, зная о диалектике, мыслил не диалектически, а сугубо метафизически. Потребности в диалектическом мышлении не было, к тому же переход от теории диалектики к непосредственной практике чреват. Поэтому смехотворные отсылки к метатеории, к гипертекстам, открытым произведениям может быть добрым пожеланием, но никак не руководством к действию.

Наглость Осборна (или самодовольная тупость) поражает, примитив тоже, но читаю (апроприрую), поскольку этот английский акын выражает общую тенденцию к примитивизации, унификации и глупости. Это философский рэп на танцполе планеты в поспешной тяге к сиюминутности. Кстати, термин коммодация, который он употребляет, тоже приемлем, дескать, это отношение произведения искусства к себе как к вещи, причём не мелочась, вообще как сдача складских поме-

щений в аренду для производства суррогатов, то есть превращение в товар не в процессе творения или произведения, а в процессе распространения и функционирования в качестве товара. Мерзко, но, по сути, проблемой не является. Менеджеризм в искусстве. Не удивительно для специалиста именно по биеннале: Сиднейскому, Венецианскому, Берлинскому, Нью-Йоркскому. Можно сколько угодно «шариться» в определениях, но всё это пустое. Худо-бедно он пытается связать это с временностью (одно временность — в одном времени, одним временем, а не только по соседству, ведёт к разрыву связей). Время вступает в антагонизм с пространством, а потом и с собой. Так свободное время разрывает самое себя, не в силах больше быть временем и порывая с длительностью любой ценой) и контемпорарностью. Он употребляет наивный термин Ницше «несвоевременность», *unzeitgemäß*, а всё дело в том, что это вообще вне пространства и времени, даже для ставших произведений, сбывшихся, но попавших в становление и становящихся единством бытия и ничто. Пространство и Время разрешились в единство.

Великий отказ, — об этом писали многие, например, Сартр и Маркузе, — сейчас очень популярен среди французских искусствоведов и франкфуртской школы в полном составе, и не от хорошей жизни, но я о другом, не об аскезе — о пространстве и времени сказать можно то, что освобождение времени в форме вещи используется как частный случай, потому что это не так жёстко привязано: время — сущность, пространство — явление. Всё дело в превращении и прехождении. Сама свобода вторгается и переосуществляет сущность даже вещи, представляя превращённую форму и выступая «чуждой» природой, потому что не присуща, а пребывает в восторженном вторжении во всей стихии образования, рождения, которое сродни умиранию, оно — переосуществление. Сейчас пинают самого Эйнштейна — дождался своего звёздного часа. Это счастье, когда теория опровергается. Обвиняют чуть ли не в плагиате, дескать, Максвелла обнёс, и прочее. Да каждый из нас — плагиат (не плагиатор). Надо только иметь вкус и понимание, кого обносить (шучу). Даже если бы он ничего не написал, а просто высказал, что «Пространство — это вопрос времени» — уже бы сбылся в веках, хотя это парафраз на понимание времени Аристотелем. То же и со свободным временем как пространством человеческого развития — я бы фразу Эйнштейна взял эпитафией ко всем исследованиям по свободному времени, включая Маркса.

В общем, не надо пытаться однозначно пришить смысл, как бабочку в морилку с формалином. Кстати, «свободное время в вещи, как остаточное», осадочное (то есть оно — ещё и осада вещи, это интересно ещё и потому, что во всякой вещи, как сделанной по причине и необходимости, должен быть иррациональный остаток свободного времени. Свободное время — как прилагательное и отглагольное существительное, и обыденность свободного времени, быт свободного времени в том, что оно ещё и освобождено в вещи тем, навязано, принуждено к свободе быть другим, чужой природой, как своей, выполнять естественно, по идее, совер-

шенно не естественные, противные природе действия функции. Остаток — как при-  
меси, гипотетические возможности развиться в чисто эстетический жест, освобо-  
дившись от утилитарности, выбросив побег цветущей идеи, эйдоса, не приуро-  
ченный, вымороченный ни к чему. Момент посмертного освобождения не в вы-  
работанности, как уважение к честному орудью или отслужившему своё. «Нож сло-  
манный в работе не годится, но этим чёрным сломанным ножом разрезаны бес-  
смертные страницы». Страницы? «Старницы» — странное слово, состарившиеся  
страницы. «Время вспахано *плугом...*», и вот истёршийся лемех хранит на себе от-  
печаток этого движения. Но мы ещё сохой шкрябаем, царапаем свободное время.  
Интересен вопрос об иррациональном остатке свободного времени. В нём — по-  
трясающая поэзия.

Если бы я писал себе письмо, то написал бы так.

Признайся, что вообще смысла в писании нет. Хотя валять ду-  
рака — тоже весёлое занятие. Достаточно ли ты достаточен, чтобы  
знать, как это работает? По-моему, ты и сам всё знаешь. Никто сей-  
час не будет Читать (да, так, с большой буквы). Так что ты, как и я, пи-  
шешь тексты-в-себе-и-для-себя. Там они совершенны. Со своей ми-  
фологией и сочинёнными страстями. Но никто копать в этом не  
будет. Дело даже не в «сообщаемости» вкуса Канта. Просто в обще-  
стве потребления (а оно уже создаёт потребности в потребностях)  
не востребовано само чтение и многообразие. Всё вместо универ-  
сальности сводится к унифицированности (инфицированность по-  
требительной стоимостью). Сплошь и рядом прорывается, правда,  
на примитивном уровне: «Как бы это исхитриться, чтобы всё усваи-  
валось непосредственно, на уровне бессознательного. Как бы ма-  
шину сокупить с человеком, вживить электроды и создать сим-  
биоз мозга и компьютера. Всё это уже сто раз обсуждалось, но тут  
ясно видны ослиные уши (специально употребляю банальность, по-  
тому что то, что происходит — банально, вся эта муть «пост»: по-  
стструктурализм, постмодерн, постфеноменология, постиндустри-  
альное общество, посткапитализм, постимпериализм и прочие от-  
ходы) вопроса о власти и порабощении. Новая форма идеологии.  
Сплошь и рядом говорят о «режиме» искусства, о массовом созна-  
нии и как им управлять, ампутировав чувства. Теперь её продукт,  
интернет, сделал нас своими холопами. Я не против интернета, но  
констатирую, что нас унизили, показали своё место — одна восемь  
с половиной миллиардная, и сказали, что нашего согласия на то,  
чтобы нас потребляли и мы были счастливы — не требуется. По-  
требуется — тебя используют, и будешь счастлив от самой мотива-

ции в востребованности, и будешь пахать бесплатно, даже не за еду. (Хотя фронтальная лоботомия проще и эффективнее превращает человека в счастливого слюнявого идиота, чем компьютер.) У нас украли возможности, актуализировав их все — потенциальной бесконечности больше нет. И будешь, и уже вкалываем, развиваясь в никуда, и жизнь кладём, чтобы развиваться, и будем счастливы, когда, вдруг, это станет кому-то интересно. И будем счастливы. И жизнь положим, и полагаем, и отдаём. Только мне кажется, что мы вне игры, и такой момент останется в возможности, но никогда, к счастью, не настанет. То, что Мы (извини), Я не обладает потребительной стоимостью, хотя, как ни странно, я за счёт этого живу. Зарплата маленькая, но если представить, что у меня всё время, то достаточно.

Само так называемое «современное искусство» старательно изображает недержание и спонтанность, чтобы оказаться в подгузниках не рефлексивных рефлексов и инстинктов. Слабоумие — «честнота» времени. Поэтому популярным ты не будешь. Да и не очень хотелось. Читать тебя будут только люди избранные, случайные, которые забредут в эти дебри, и умеющие читать, и то, если они способны тратить свободное время, как роскошь, то есть просто так, ради самой траты: ни для чего и ни почему, ни к чему. Ну, и вообще, мы как на необитаемом острове, ждём цунами, вода уже отхлынула, а потому пишем палочками на мокром песке. Ты готов? Я да. (Сознательно вкрапляю повторяющиеся темы, образы, надо бы слово в слово, как в музыке репризы.)

Но вся штука в том, что цунами отменяется, и героизм тоже — землетрясения, смыслотрясения не было: просто младший сотрудник на сейсмостанции спяну грохнулся на сейсмограф, и он автоматически объявил землетрясение на двенадцать баллов по шкале Рихтера. Апокалипсис отменяется, но мы в ожидании. И ожидание это — бесконечно, хотя вся эта тревога и ожидание фальшивы, и как бы, вроде... Изнаночная надежда ожидания конца света. Конечно, я понимаю, что это (мои тексты) было бы графоманией, если бы принудительно тиражировалось, но, поскольку я заморожен самим процессом действия (как смертью, а ещё больше старостью), и вполне понимаю, что для того, чтобы я мог себе позволить это и жить свободным временем, всё остальное человечество должно вкалывать, и сама история должна натужно, до изнеможения создаваться: и она, и эволюция, и даже вечность и бесконечность существуют (так мне кажется и видится), чтобы создать мгновение, когда я могу

делать то, что хочу. И я не задумываюсь — зачем? А просто живу, хотя жизнью это назвать нельзя.

Я когда-то говорил, что в бесконечности мы всегда посередине, а жизнь складывается траекторией позади, как трек от частицы, что здесь что-то происходило. Со временем (понимать надо буквально, свет темнеет и превращается в чернила) эта траектория превращается в рукописный текст, складывается в буквы, в неповторимый почерк, в черты твоего лица («жизнь по морщинам моим протекла, чтобы вылепить маску, прекрасную маску смерти» — Поль Элюар, а ведь можно вспомнить про географию черт лица у Борхеса, топографией, или топонимикой заниматься — нашёл убежище, как в «Меланхолии» Фон Триера, особенно умиляет увлечение какой-нибудь византийской архитектурой или влиянием древнего Рима на киевский Подол). Почему танки на японском не пишешь или не занимаешься китайской каллиграфией? Бог в помощь, лишь бы потом не пожалел. Тут всё равно, чем заниматься, лишь бы интересно. Вот, например, человек всю жизнь посвятил клинописи, он в ней как бог, только он один — В. Г. Ардзинба с его хеттологией хаттологией хурритологией, и никто не задавался вопросом, кому это надо, и зачем это, актуально ли? Чистая наука! Ведь письмо — это ещё и жест, микромоторика, как отпечатки пальцев, и даже если уже пишешь без черновиков, механически, прямо в компьютер, в сеть, в облако, то суть только в том, что пишешь.

Главная сложность в такой, например, проблеме, как свободное время, будет заключаться в том, что она решается не в сфере политэкономии, во всех этих хитросплетениях рабочего, необходимого и прибавочного времени со свободным, как не времён, а одного времени. Здесь всё это происходит само собой, а в области волеизъявления и прихоти свобода выступает как каприз, повелеванием временем и его вселением, которое не есть велением времени, властью над временем — это самое трудное, поскольку человек не готов к свободе. И никогда готов не будет. Время — никогда не придёт. Не наступит. Оно является, бывает порою. Ещё не пора, а потом будет поздно. «Продлись, очарование» — это грёзы, в сознании того, что опоздал навсегда.

Для полноты жизни необходимо не только бытие. Но и ничто. Не только действительность, но и действительная возможность. Поэтому проблема свободного времени остаётся вечной, поскольку решается здесь сейчас и немедленно. Приблизительно, как если бы любовь и другие чувства были проблемой. Вот где трагедия полный

рост. Не только в сфере свободной деятельности, живого труда, но и выбора, свободного выбора несвободы, принуждения к свободному времени. всё дело в напрасности, ведь и красота, в отличие от прекрасного (путь навстречу — бесконечное странствие), которое напрасно — неповторима ни в одном мгновении.

Так вот, Красота стала невозможной, и эта невозможная красота целиком и полностью — действительна, правда только в-себе, и она — как управляемая ядерная реакция (то есть, не только «звёздное небо внутри нас», но даже возможность зажигать звёзды на этом небе, без «значит, это кому-нибудь нужно» Маяковский). Удалось изменить, превратить эту природу, сделать её устойчивой, а не аннигилировать сразу во мгновение. Это — заторможенная аннигиляция, она длится, как время жизни, и эта природа Красоты несовместима с жизнью, хотя и есть жизнь. Вот так и живём, несовместимые и неуместные в антагонизме свободы и красоты. Так что, что бы ты ни делал, ещё умирать...

Что касается вот этих штук, вроде казуистического вопроса, выраженного во фразе, что человек действует в свободном времени, как господь бог в начале творения — бог имеет все возможности. Кроме одной — единственной. Принуждён ли он к творению? Может ли он творить свободно? Наконец, пресловутый вопрос «Зачем?». Зачем ему творить, удваивать бесконечность, если он всецело действительный и всё, что он может создать, уже есть? Бог не имеет одной возможности — не быть, в то время и в ту вечность, где мгновенно пребывает человек, — в мгновение вечности, — который сплошь и рядом живёт смертью, на целую возможность, на невозможность, выше бога. Это, как и интерес, — сугубо субъективные вещи. Один справляется, другой нет.

Простой пример. Люди не понимают, какое непостижимое чудо — жизнь, мышление, чувства. Восторг и даже страх испытываешь, когда понимаешь, как возникает идеальное, как происходит свободное время. Да и в простом, даже задумавшись: почему что-то вкусно? Не перестаёшь робеть, удивляться и шалеть от собственной дерзости. Почему, слушая гениальную музыку, мы чувствуем, что это невообразимо гениально? В пределах даже одной дилетантской библиотеки каждый день приходит столько, что теряешься и понимаешь, что не освоить, что это — дело всех жизней, которые только происходили на Земле. Вот сейчас Мариенгоф пришёл, Терстеген Герхард, современник Баха, аскет и кондовый мистик, Кондратов со своим хламом, не помогли ему десятки языков, Жигжиг Жаб Жорджович Дорджиив и прочий крам, — на что потрачена жизнь?

Тут даже к своим книгам, размером с собственную жизнь, начинаешь относиться, как к опавшим листьям, следующим за кормой, следу, который размывается и исчезает ещё в пределах жизни. Но ты понимаешь, что дело не в икебане,

что ты частный случай. Что твоё усилие, даже если ты его и не совершаешь, вливается в общее движение — но не движение вообще, а во всей конкретности и непосредственности, цели которого неведомы. Что одна клетка мозга не может быть отдельно, что она так же мало мыслит, как и отдельный мозг, что нужна всеобщность человеческого, универсальность, доведённая до всеобщности общественной формы движения материи вплоть до нематериальности, притом в истории, то есть и в глубину всего времени, на всю глубину вечности и бесконечности (что абсурдно, — какая глубина или высота?), и в бесконечном прехождении.

Нужно коллективное движение общественной формы движения материи, и чтобы всё это происходило, необходимо свободное время, которое — мера движения, причём безмерная мера безмерного движения, вплоть до снятия меры.

И тут это выражается даже в том, стоит (опять рудиментарная архаичная форма стоимости, в котором первоначально свободное время выступает в превращённой форме и воспринимается как «форма общественного богатства», как «высшая ценность», как то, «чем стоит дорожить» и прочая дребедень) ли тратить время, свободное время на... Или жаль, и не стоит времени?

Свободное время — как катализатор и мера превращения, и по началу оно в убудочной форме выступает в роли всеобщего эквивалента, как стоимость, в идеальной форме стоимости, как безразличная абстракция, но это быстро пройдёт (так автомобили первоначально имели форму кареты и противились законам движения и аэродинамики), хотя трудно понять, что свободное время — чистая нетость, форма исчезновения, и что оно, независимо от того, жаль его тратить или нет, тратится в несоразмерных, несуразных количествах, как всё время — это время как таковое, чистый стерезис, лишённость, нетость. «Остановись, мгновенье!» не поможет, хочешь-не хочешь, а это преходящее как таковая — отрицательность. «Время, вперёд!» — то же самое, подгоняй, не подгоняй — всё равно движение происходит к своему концу, даже обуздав превращение. Что бы ни делал, будешь ли всеми силами и даже чрезмерно тратить свободно свободное время (по своему усмотрению, во всей явности и несокрытости), или вообще ничего не делать в вечной праздности — всё равно наступит исчезновение. Смерть неминуема. Свободное время стремится стать безмерным, то есть подвергнуть себя, как меру движения, отрицанию, исчерпав время. В понятии, в самой сути, сделав несущественным, упразднив. Стремясь к бесконечности, оно стремится к себе.

Надо ли это знать? Не обязательно, оно всё равно не подчиняется сознанию. Тут будет новая мистика и мифология. Слабому человеку трудно примириться со смертностью, когда «исчезает предмет, и, исчезая, поёт». Непостижимым оказывается то, что всё это происходит независимо от сознания, идеологии, но руководствуется эмоциями, желаниями и особенно чувствами.

Поэтому от чувств хотят избавиться в первую очередь — поскольку замещающие их искусственно созданные возмущения и аффекты или ощущения на уровне

реакции-раздражителя управляемы при помощи всё той же идеологии. Чувство — самое неподатливое, неодолимое и упрямое. Чувство сопротивляется до последнего. До последнего чувства. Чувство свободного времени вообще — ничто, и оно неодолимо. Оно первое и последнее, единственное и единое.

Конечно, можно всю феноменологию (за исключением «Феноменологии духа» Гегеля) воспринимать как легитимное мародёрство, как своего рода наркоманию, которая провоцирует видения благодаря особой вытяжке из их явления, которое само является явлением. И так оно и есть. Это можно употреблять, как в своё время морфий, в качестве лекарства и обезболивающего, — уж очень жизнь несовместима с жизнью, — можно в качестве галлюциногена, как искусство, можно в наслаждении чистым экстрактом мышления (марафет) — в общем, по-разному, и находить в этом удовольствие и забвение.

Можно феноменологию воспринимать реакцией на слишком утрированное стремление к чистой сущности, когда явление подвергалось отрицанию, чтобы докопаться до вещи в себе. Теперь — напротив, попытались вернуться к самим вещам (и это месть вещи, потому что она — то, чем является. Вещь очевидна. Хотя это не так — она очевидна в логике даже не дела, а употребления. А так по-прежнему есть ещё и вещь в себе со своей непонятной логикой, которой изначально нет). Явление и сущность — по-прежнему живое противоречие, со своими переходами, взаимопереливами. И явление может быть сущностью, тогда как сущность выступать явлением, и в общем — это своё-другое. И Немецкая Классика вполне разобралась в этом вопросе, дальнейшее — это чистая эстетика. Но главный «недосмотр» в том, что при внимательном прочтении истории вопроса как-то воспринимают только одну сторону проблемы: противоречие должно быть доведено до разрешения, до снятия, отрицания отрицания — это процесс, и процесс «возвышенный», он есть способ развёртывания необходимости в свободу.

Однако разрешение противоречия, через момент разрешения антагонизма во всей антиномичности может ведь быть разрешено и иначе (хотя это не-иное), путём исчерпания, напряжения, абсолютного беспокойства (хотя, если оно абсолютно, то какое же исчерпание). Противоречие может быть, и бывает истощено — это истощение сводит его на нет, то есть приходит к тому же опустошению, что и разрешающее в абсолютное ничто противоречие. Изнывает в небытие, как в своё основание. Как раз тот самый «огонь, пожравший свой материал» — он же Гераклитов огонь. Феноменология — зарница, слабый отблеск огня, зарево далёких пожаров сущности. Возврат к диалектике ничего не даст, вопрос в проживании диалектикой, которая в формальном мире не применима, а значит, сугубо эстетична, бесполезна, и тем иррелевантна к прагматизму. Всё это ерунда: «диалектика мстит задним числом, за пренебрежение ею». Пустые угрозы. Она просто не замечает того, что считается очевидным и происходящим. И выражается это в виде существующего свободного времени.

Я не собираюсь примирять высокую философию с обыденным сознанием. В конце концов, у диалектики своё обыденное сознание, своя логика кухонного обихода, и пафос здравого смысла диалектике не чужд. Я даже встречал обывателей и мещан среди теоретиков, великолепно знающих текстуально того же Гегеля на немецком языке, и блюдущих букву диалектики, стоящие на страже её чистоты. Не хватало ещё создавать симбиоз и случать диалектику со здравым смыслом, писать «Сефер ха-Зоар» (книгу сияния). Феноменология попыталась уничтожить удивление и сомнение, и в своём частном случае она обрела некую невозмутимость, и только. Этот принцип «ничему не удивляться» позволил феноменологии получить передышку в «несвоевременности», оправдав ею своё пребывание. Ницшеанское *unzeitgemäß*e — но в другой трактовке, без уничижительного содержания — попытка выпасть из времени. Стать со-временным.

Это позволяет без травм и не режа по живому заняться деструкцией, деконструкцией, дезинтеграцией, дезориентацией, дезорганизацией самого процесса развития, примиряя его с распадом и разложением, как с закономерным явлением. Не больно, а даже приятно. Распадающееся мышление, взбитое, как блендером, новыми технологиями. Так что феноменология, как идеология — это проказа. И современные феноменологи-проказники (и приказчики, менеджеры, офисный планктон) просто описывают, регистрируют процесс. Но, в сущности, феноменология — просто естественный процесс протухания, превращение в однородную массу при помощи распада связей и отношений. На свет появляется новый субъект истории — масса. Но если перестать измываться над сердешной, а посмотреть несколько беспристрастней, то видно, что феноменология сама сойдёт на нет — это процесс мышления на холостом ходу, выжидание, затухание, исчерпание. Тратить силы на борьбу и сопротивление произволу спонтанных, смешанных разлагающихся форм — не имеет смысла, это, буквально, пустая трата времени, в чём тоже можно находить утешение.

Собственно, вопрос «что дальше?» для феноменологии не существует. Что-то происходит, не происходя — вот и всё, что может феноменология. Она ничего не ждёт, устав от предчувствия и ожидания. Бессмысленно этому сопротивляться и пытаться переосуществить. Весь ужас в том, что процесс становится объективным, вне сознания и ощущений.

То есть в очередной раз, идя по линии все усиливающейся субъективности, — «ещё шаг в том же направлении и переход в свою противоположность», — сталкиваешься с тем, что диалектика — это не просто способ мышления — развитие, которое объективно, хотя и остаётся в прежней безмозглости.

А вообще Природа времени и идеального одна — исчезновение, лишённость, аристотелевское «стерезис», поэтому самое удивительное это то, что время — мера движения идеального, как и времени. Исчезновение действительно, но ни времени, ни пространства без отрицательности, меры движения не существует. Это

тот самый разрыв постепенности, который — незримая, но такая действительная связь всего со всем. Живое движение. «Единство оно есть и не есть в один и тот же момент». (Ильенкова действительно озарило. Хотя, конечно, вопрос не в озарении или вдохновении. Я не берусь судить, кто лучше разбирается в диалектике — Ильенков или, например, Адорно, но в вопросе применения диалектики, как способа мышления, и ещё больше в непосредственной практике диалектики Ильенков, несомненно, много выше. Потому что диалектика не столько способ мышления, сколько способ деятельности, и, в сущности, задача сводится к тому, чтобы диалектика превратилась из образа мышления в образ жизни, просто в мышление, а время стало только временем.) Деятельность воспроизвела эти основания и развила предпосылки для появления духа, мышления, чувств и прочего.

Но вот то, что время, отрицательность и идеальное одной природы, и это свойство и атрибут материи удивительно тем, что это лежит в основании всякого искусства и в действительности сущности произведения, его эфемерности — всё в реальном движении чревато идеальностью. Приходит и изменяется любое наличное бытие, но прехождение, при всей материальности, является основанием идеального, как и свет, тяжесть, отрицание, время и чувства.

Нет, это пронизывает всю диалектику, но одно дело знать, а другое — почувствовать эту удивительную силу, и потом, когда такое открывается и становится ясным, начинаешь видеть движение в его отрицательности везде и во всём, и как-то всё равно, безразлично, что чувство абсолютизации захватывает тебя восторгом, буквально как «прозрение» — ты только и начинаешь видеть вот это чувственно-сверхчувственное, как очевидное, когда материальное представляет идеальное, а потом вновь живое вечное. Когда время становится видимым, осязаемым в скорости и в этих переливах изменения. Движение. Про-видение.

Это действительно любование, созерцание, но только деятельное, и не каждому открывающееся само формирование духовидения и, дальше, видения, зрение как такового Чувства в его избыточности, вызревание. Тут не отвечают на вопрос «зачем» — здесь просто видят. И чувства не привязаны к органам чувств, они свободны от предметности, формируя ощущения как органон воображения, «не прикасаясь».

В сущности, это и есть «свершение всех времён»: либо разрешение противоречия, либо его исчерпание и истощение. Когда полнота бытия прорывается через края, создавая свои пределы и превосходя их, снимая, либо сходит на нет, истаивая. В любом случае, это окончательное решение времени, его исчерпание, изнашивание, когда время в своей нетости истаивает, перестаёт быть. Длительности нет, протяжённость мгновенна, но их можно продлить, как очарование, если хочется. Собственно время перестаёт быть, совершаясь, перестаёт длиться, а пространство исчезает, завершаясь, совершаясь. Это не удивительно, это как смерть, которая в своём становлении однозначна и невозвратно бесповоротна. Приходит пора, и,

превращаясь, нечто претерпевает антистановление, контрразвитие, по-своему решая проблему времени, которое — больше не проблема.

Свободное время — только время и только в прохождении. Это сама жизнь. (С. А. Ястребов начинает свою книгу о жизни замечательной цитатой: «Как говорил известный биохимик сэр Фредерик Гоулэнд Хопкинс, жизнь — это такая штука, которая происходит (life is a thing that happens)»). Это само происхождение и превращение. Оно имеет смысл только по отношению прибавочного и необходимого времени. Где оно ещё способно обособляться во время, хотя уже и пространство... Когда всё время — свободно — уже нет проблемы. Нет идеи. Я бы осмелился утверждать, что нет ни мышления, ни духа. Свободное время только и есть время — оно абсолютно тождественно самому себе, и безразлично, как оно тратится и каким способом опредмечивается, когда оно вполне. Это практическое решение вопроса. Чистая жизнь в своей полноте и всесторонности. Она банальна, но об этом не подзревает. Но беда в том, что, как чистая отрицательность, время независимо от того, как к нему относятся — оно всё равно уходит. Его нельзя резервировать впрок, накапливать, сохранять.

Правда, оно имеет способность к возрастанию в бесконечность, но также — и к исчерпанию, как трата, утрата жизни. Деятельность может и опустошать. Не случайно так часто воспевают не Ничто, которое схоже с «энергией», а Пустоту. Как бы там ни было, Свободное время совпадает с Прекрасным, а как последний предел, есть ещё и предел жизни. Об Абсолютной Красоте нечего сказать, кроме того, что она есть и не есть в один и тот же момент. Это предел вообще всех проблем. Само «как бы там ни было».

«Вот тут и начинается кино». Потому что, натолкнувшись на «последние пределы», они же первые, понятые как основание, которое покинуто, начинаются проблемы свободного времени, понятые как свои, частные, личные проблемы. Это не основание вообще, а сугубо твои основания, которые оставили тебя «наприволье», наедине с твоей свободой.

Основания могут быть только покинутыми. И когда они покидают тебя, то смысл свободного времени — в чистой отрицательности. Но не ты оставил основания, а они тебя. Твоя свобода сводится к твоей воле. А воля — принуждение к свободе. И все проблемы рушатся на тебя. Это временное явление, которое дано на время и в своей чистой лишённости, в покидании создаёт вакуум, «подъёмную силу», но и уничтожает тебя. У тебя нет внешней причины, чтобы быть (*укр.* воліти — желать — от слова «воля», которое неслучайно часто употребляют синонимично свободе. — *прим. ред.*). Только вот то «раздвоение единого, которое принуждает тебя к жизни и действию, как то самое абсолютное беспокойство, которое кажется духом, а на самом деле — время, как само дело. Отрицательная сторона материального движения, негативность, которая и есть превращение.

Как все антиномии Канта являются, по выражению С. Б. Крымского, только

твоими маленькими трагедиями, так все противоречия мира становятся твоими противоречиями, причём как твои горести и проблемы. И в решении ты не властен. Даже охватить их в грандиозном усилии, осознать, обозреть — не в силах. Только человечество во всей истории природы и общества, только это коллективное, совокупное усилие, выступающее формой движения материи, может сделать тебя свободным и действительно осуществить «свершение всех времён, как полноту бытия». И проблема времени, прекрасного, человеческих чувств — это одна и та же проблема, смысл которой не в решении, а в решаемости всем существом.

И вот всякое раздвоение единого, всякое противоречие чревато не только решением и развитием, а и истощением (о чём говорилось). А это раздвоение может привести к тому, что своё-другое классической философии может окончательно отделиться и обрести собственное другое, собственную сущность. Самое интересное, что этот переход от диалектики к метафизике может произойти диалектически. То есть одна сторона противоречия (что невысказано, но бывает, как явление без сущности или явление без явления, время без пространства или пространство без времени — любое разделённое противоречие) может быть без возможности, и тогда, обособившись, отделившись, она начинает порождать химеры, оккупировав видимость, и развиваться по законам диалектики, опять — в раздвоении единого, но основываясь на частном, единичном, ставшем всеобщим (всеобщее ставшее противоречия, а не развития).

Это невысказано для науки. Для жизни это грозит шизофренией (и со времён Ницше утверждается, что «Дух — это болезнь»). Делёз, Гваттари, Миньковский, Фуко и другие связывают шизофрению с раздвоением единого, как будто философия виновата в этом становлении, но для искусства и воображения это — раздолье и временная свобода.

Пили себе противоречия надвое и умножай сущности. В конце концов разделение на дух и материю, объективное и субъективное сущность и явление — не результат злокозненной феноменологии. Сама рефлексия — тоже момент становления противоречия.

И поэтому всё, и этот текст, может быть бредом потрясённого сознания и помрачения разума, если он есть, потому что он только по инерции ещё самоопределяется. В доказательстве больше не нуждаются. Зачем нужны теория тщательно продуманного доказательства, который есть просто теоретический опыт, или теоретическая всеобщность практики, если реальная практика настолько всеобща и стремительна, что я могу говорить, что угодно. Массовая серость, результирующая, нивелирующая, уравнивающая — либо подтвердит всё, либо опровергнет по законам формальной логики. «Там видно будет», — говорит Феноменология, и в этом права.

Этот поступательный поток стремится не к истине, даже не к правдоподобию, а к общепринятости, общеобязательности. Более того, упраздняется сам процесс мышления. Мыслит субъект, созданный из всех. Безликое «оно».

С одной стороны, хорошо: можно безответственно городить, что угодно, что мы и наблюдаем повсеместно, но это лишает свободы, которая, в лучшем случае — «свобода выбора» вместо осознанной необходимости.

Самосознание и самопознание подменяются модной «самоидентификацией». Не говоря уже о том, что это великолепный инструмент манипулирования массовым сознанием, человечество отказывается от самосознания. Даже от рефлексии.

И грозно, двусмысленно, почти как пророчество, звучит Гегелевское, в «Учении о бытии»: «видимость есть собственное полагание сущности». То есть происходит отказ от бытия и жизнь по видимости. Правда, по всей видимости. Соблазн есть. Хотя уже внимательное прочтение Гегеля заставляет презрительно относиться к феноменологии от времён Brentano и Husserl до её новейших модификаций наших дней, и к её дальнейшему существованию просто как к болтовне, за исключением, пожалуй, области искусства, да и то в чисто непосредственном явлении, без рефлексии.

Хотя искусство, оставив кустарщину, став штамповкой, поставленной на поток, уже давно превратилось в протезную мастерскую по замене чувств, которые просто не производят по причине «нерентабельности», охотно штампует заменители, великолепно имитирующие реакции и стимулирующие самые простые реакции.

То есть то, что сейчас называют искусством, тупо обслуживает всё ту же форму стоимости, допуская любые формы, не сообразуясь ничем, не имея критериев ни произведения, ни самого искусства — разгул вседозволенности, с ханжеским отношением к любому свободному проявлению духа. Грубо говоря, разврат в самой сущности искусства — узаконен (хотя в старорусском разврат и означает «возврат человека самому себе», но это о другом). Я имею в виду разложение формы, а не порнографию.

Хотя в современном, ещё времён Chesterton, романе, реализм был синонимом натурализма, в противовес психологизму. Так что, если я скажу, что абстрактное искусство напрочь натуралистично, то есть стремится к тождеству, без опосредствования, то не ошибусь, если продолжу, что современное искусство насквозь порнографично. Без необходимости демонстрировать гипертрофированные половые органы. Оно порнографично по духу. (Да и о каком духе речь? Он ампутирован за ненадобностью.) Как разложение и гипертрофированная идеология частностей. Мнение, как мировоззрение. Зачем чувства, если можно обойтись и без них? Я бы хотел написать, что без чувств, в том числе и чувства свободного времени, свободное время не возможно, и это истина, причём последняя, но оказывается, что в свободном времени и не нуждаются, как в иной форме общественного богатства — к чему, если для властвующей стоимости человеческие чувства превращаются в угрозу, и нынешняя форма общественного богатства скорее уничтожит и живые чувства, и человека, если не удастся его переосуществить, приспособить, чем добровольно уйдёт. Для этого пойдёт на все, и это происходит ис-

покон веков, создавая стерильную поверхность, где нет ничего, кроме стоимости.

Суть в том, что сама стоимость абсурдна. Она — для самовозрастания любой ценой. Правда, если она будет нерентабельна, она избавится и от себя, но это вряд ли. Мы восхищаемся с умилением, когда видим, как ростки жизни взламывают бетон. Но как-то не задумываемся: «а сколько ростков было погребено и не пробилось». Так же как видим силу разрешившегося противоречия, но совершенно не замечаем противоречия, которое исчезло, не разрешившись, как тупиковая ветвь развития. Как несбывшаяся возможность. Это не значит, что она не была. Отделяются фразой «История не знает сослагательного наклонения».

Я бы сказал, не знает направления, слепо доверяя компасу стоимости, которой вторит полезность. Но как раз это ничего не значит. Сколько ни говори — это граничит с глупостью. Всё будет так, как будет. Бессмысленно сражаться с интернетом, глупо сражаться с этим тупым поступательным движением. Ты, так или иначе, один, против так называемого человечества. Жалкое зрелище, когда амёбы, делясь, превращаются в единого безмозглого сверхчеловека. Это тотальный фашизм, который прикрывается неолиберализмом.

Но есть ещё то, что делает сопротивление в абсолютно безнадёжной ситуации смыслом и сущностью человеческого — чисто эстетический жест, когда сущность, в том числе и человеческого, есть «прошедшее, но вневременно (безвременно — А. Б.) прошедшее бытие» (Гегель). И вот это бытие-в-сущности своей вневременностью соответствует становлению, которое изначально — вне времени и пространства (я уже писал — это освобождение от прошлого, инфильтрация сквозь формы наличного бытия, просачивание сквозь формы наличного бытия, преобразованные в деятельности, это освобождение историчностью, преходящостью от форм наличного бытия, а вместе с тем от времени — прообраз, протосвободное время, его вторичная свобода, первичное — это непосредственно произведённое. Хлипкие основания даже для того, чтобы пошевелиться, а писать тем более безнадёжно — столько написано, и происходящее попросту не интересно. Но именно это заставляет дышать. Я не очень доверяю Лосеву, но, глядя на то, что он сделал за свою жизнь, на эту огромную массу невразумительных компиляций и комментариев, сделанных со всем тщанием и фанатичной уверенностью в собственной правоте, испытываешь невольное уважение, без всяких сравнений с современной болтовнёй по любому поводу и без повода. Грандиозность усилий при мизерном результате. Вообще никаких результатов. Как всю жизнь пытаться сдвинуть гору, заведомо безнадёжно упираясь.

Это впечатляет и заставляет упираться, заведомо зная, что против сбывания не попрёшь, заведомо задаваясь безнадёжной задачей и безнадёжным действием. Вся оправданность только в том, что прёшь против *паровоза*, а не против *землетрясения* — малая толика эстетизма. На самом деле, вот это преобразование истории и всей прошедшей истории, в том числе, и истории природы в непосред-

ственную природу человеческого — суть неповторимости мгновения. Сейчас и больше никогда, сейчас, отныне и навсегда, хотя это только мнится и кажется, как источник надежды. Надежды нет. Но невозвращение и неповторимость мгновения в «сейчас», в настоящем, которое уже промелькнуло в бесконечности и вечности — это грандиозно, как неповторимость моего мышления и видения, хотя всё — точно так же, не иначе. Это не уникальность. Это и есть всеобщность в единичном. А универсальность — это всеобщность деятельности.

Поразила остро одна ничего не значащая мысль. Конечно, Хайдеггер выразил это эффектнее: «Есть только Платон, вся остальная история философии — комментарии». Но вот занятная штука: что Парменид, потом платоновский диалог «Парменид», Прокл, Дионисий и т. д., что Гегель — это, в сущности, комментарий к Проклу... Конечно, не так прямо, и по сути каждое слово и даже просто прочтение это приведение в грандиозную музыку всей предшествующей истории, музыка сфер и смысл не в познании и откровении, а вот это — великое и обыденное самодвижение «автодзоон». Было грандиозно испытать потрясение и от этого проснуться. Как будто ты и есть демиург, и дирижёр, и оркестр этого движения, и тебе на время дали пару тактов, — нет, даже не кусок страстей, — а только позволили (очередь-то большая) постоять у пульта и взять ауфтакт: духовые набрали дыхания, струнные замерли, и все «тутти» вскинули, взметнули инструменты, и всё — вот в этом предчувствии, в молчании, в предчувствии музыки, всей музыки, и после неё тебе играть, а партитуры нет. Чистая импровизация. В панике вспоминаешь «Страсти по Матфею», или там «страсти по Иоанну», сразу всю музыку прошлого, настоящего и будущего... Так вот, это ты ощущаешь на закате... А восхода не будет. Чего дорого, я ещё в религиозный экстаз впаду. Всё чудо в том, что всё это происходит без участия кого-нибудь, «будь-кого». Но без тебя и миллиардов других ничего этого бы не было. Не было бы бытия, вернее, его осознания, поскольку оно включает в себя ещё и дух, хотя движения материи было бы, хотя единство мира не в бытии, а в его материальности, в смысле материального движения и движущейся материи — вот это грандиозно. Вечное движение со всеми нюансами во всём блеске возможностей... к чему всё это? Ты не в силах противостоять бесконечному движению, но ты двинулся, и мир изменился навстречу.

В этом онемении я могу только засвидетельствовать «своё почтение», «восхищение в вечность». Да, я был, «кто был, в ничто не обратится» (Гёте). «Немецкий язык в глаголе “быть” (sein) сохранил в прошедшем времени “gewesen” [был] сущность “das Wesen”, ибо сущность есть прошедшее, но вневременно прошедшее бытие» (Гегель). И дальше — вся знаемая, и больше — незнаемая история философии. Всё это ничего не значит, но наполняет меня дурацкой гордостью сопричастности, «причастный бытию блажен». И бытие — это пройденное, становящееся, но никак не будущее бытие. И бытие — первично. Но единство мира не в бытии, а в его материальности, хотя для идеальности есть именно материальные основания

в форме движения, её прерывно-непрерывном характере, в действительности отрицания отрицания. (Сергей Борисович Крымский в одном из последних интервью «Разговор длиною в жизнь» вспоминал о своём увлечении диалектикой Гегеля и предупреждал об опасности самому превратиться в спекулятивное мышление, где всё тонет в превращении — ты теряешься в мерцании.

Да, там можно погибнуть, растворившись — велик соблазн оторваться от предметности и исчезнуть в бессмысленности вечного движения. Но убояться этого можно только столкнувшись воочию. Большинству такое не грозит. Тем более, что жизнь — бессмысленная штука. Отчего же не забыть в непосредственности чувства и тождества здесь-сейчас, пока силы есть? Крымский называл Гегеля «мыслегонным» — остроумно, но не в Гегеле дело, а в философии, я знаю, что диалектика обречена, но по-человечески жалко, особенно, когда философия превращается в «дурную привычку», а красота, абсолютная красота, становится обыденной.)

Но вопрос этот — о смерти противоречия. Есть смерть от разрешения, когда разрешающееся — всегда «вверх», и разрешение не от снятия, а от исчезновения, изнывания, истощения, разложения, когда «вниз». Это «верх и низ» вселенной, хотя, при абсолютности движения, всё условно и относительно. Вверх — это движение к красоте, к трансцендентальной эстетике, к последнему противоречию диалектики — Красоты и прекрасного, вниз — к психологии, тоже трансцендентальной, распаду и разложению, к чистой субъективности без объекта, и, между прочим, без субъекта, к «между прочим», вверх к единству, вниз к дурной множественности. И там, и там — без субъекта и объекта, к исчезновению противоречия в уходе в Ничто, в потере в Пустоте. В обретении всеобщих оснований, в утрате любых оснований. Поэтому они похожи, да и не только похожи, но совпадают, потому что всё равно — возвышенное безразличие или бесстрастность смерти. Но жизнь и смерть — диалектичны, а смерть сама по себе — метафизична, она однозначна и непротиворечива.

Всё, что говорилось о противоречии, верно в истории, и я подпишусь под каждым словом Гегеля — это апофеоз, можно утверждать это в разных вариациях вновь и вновь, и так и происходит, потому что одно дело — знать, другое — пережить, хотя бы в холодеющих чувствах. Но это не требует ещё одного миллиардного подтверждения, что природа противоречия схвачена. Хотя каждый, если не потерял способности удивляться, всякий раз вздрагивает, когда понимает, что разрешения противоречия — его смерть в любом виде. И потом, Гегель так тщательно доказывает, что движение — бессмертно, почему же оно в каждой форме умирает, и форма — залог смертности и исчезновения?

Понятно, что основание противоречиво, но уход в основание — уход в абсолютное ничто. Anabasis на древнегреческом — и основание, и восхождение. Поэтому уход в абсолютное основание — уход в абсолютное ничто. Жизнь в восхождении, а смерть не имеет оснований, она — отсутствие оснований и уход в пустоту. Повторюсь, жизнь — диалектична, поскольку она снимает смерть в себе, а смерть —

метафизична в самом формальном и аналитически безупречном смысле слова, она не противоречива и знает только разложение, собственно, не знает даже этого. О смерти нельзя сказать даже, что у неё есть природа — природа смерти.

Но как быть с исчерпанием противоречия? Все знают судьбу Бетховена, и для каждого это — до оскомины банальное событие, со всеми «я схвачу Судьбу за горло и сокрушу её»; «вот смеялись современники над Бетховеном, считали провальными его последние произведения, а вон как вышло...»; «Бетховен — эпигон всех последующих композиторов»; «надо же, глухой, какую музыку писал». Действительно, и «Девятая», и последние квартеты, и сонаты написаны совершенно глухим человеком, и вообще непонятно, писаны они больным человеком, то есть написаны сифилисом, или всё же — это гениальное провидение? И как тут не вспомнить «Доктора Фаустуса» Томаса Мана? И многое другое. Понятно, необязательно слышать, чтобы писать музыку, не обязательно сочинять за инструментом, понятно, что в принципе не обязательно видеть, чтобы писать философские трактаты или гениальные картины, да. Да. Это, с точки зрения сообщаемости, — желательно, а с точки зрения произведения, воплощённое — явленное — лишь грубая подделка того первообраза, от которого оторваться невозможно, и нехотя ты пытаешься его пересказать, красками ли, звуками, словами. Вопрос в том настоящем ощущении, с которым всё это пишется. Последние произведения действительно гениальны силой сопротивления, неистовством человеческого духа, сами по себе они фантастичны своим незавершённым превращением, бесконечным переходом.

Но нельзя отбрасывать и то, что на самом деле эти произведения действительно слабые, хотя они в смятении, и мороз по коже, когда ты их слышишь. Я не об этом, я о том, что каждый лелеет надежду, хорошо зная, что исписался, что это из рук вон плохо, никак, что всё, и голая техника, и опыт — это пустышка, каждый лелеет надежду, что его не понимают, а вдруг это шедевр, и что, может быть, даже тебе неизвестно, как оно всё обернётся в дальнейшем. Так не только с Бетховеном, но и с другими великими неудачами, которые потом обернутся триумфом. Но — никаких «вдруг».

Неудача — это не требовательность к себе. Писать надо в сознании восторга, и жить тоже, не важно, что мгновение погодя ты понимаешь, как это плохо. В момент рефлексии должен быть восторг, азарт и исступление, одержимость и экстаз, сердце должно выпрыгивать, давление — зашкаливать. Я не о работе и вкалывании, я о потере сознания в момент, когда тебя бросает к листу бумаги, к холсту, к инструменту, срывает среди ночи ощущением, что поймал идею, швыряет в исступлении, не давая думать о последствиях. Понятное дело, «совестный дёготь труда», и всё такое, но именно в этом — главное.

Тут вот что происходит: проблема исчерпывается не потому, что она решена, её можно решать до бесконечности просто из любопытства, но это решение ничего не прибавляет, не убавляет: во взрыве — весь смысл и отсутствие смысла во Все-

ленной. Это «мгновение, которое воспламеняет вечность», «зажигает звёзды», и всё — просто так, ни для чего.

Но я об истощении противоречия, о его отработанной стороне. Совершенно правильно, что никто не рассматривает реактивную его сторону. Она и так происходит, имеет смысл, ведёт только разрешающуюся сторону, при помощи сознательного человеческого усилия доведённую до разрешения, отчаяния, момента чистой отрицательности в его природе. Кончается политэкономическая власть времени.

Однако, суть не в этом — сама стихийная диалектика (эта странная кличка, навязанная античности) превращается в обыденный способ мышления. Хотя и сейчас любое формальное, непротиворечивое мышление, здравый смысл происходят по законам диалектики (подозреваю, что по «законам диалектики» — это ещё и по «законам красоты»), даже если не знает об этом, хотя это и не подвластно никакому компьютеру. И то, что есть старость противоречия, когда не только нет сил, но и... Хотел написать что-то очень жизненное, но не могу... Конкретная форма наличного бытия умирает, своим прехождением порождая время. И временность свободного времени — не исключение.

Свободное время, как свершение всех времён, означает только то, что происходит ещё и создание стихии времени. Свободное время вводится, впрыскивается принудительно, само катализатором не являясь. Оно, как адреналин, искусственно вводится в избыточности, и это — синдром увядания и формального стимулирования, допинг (будет, и есть, и такое).

То есть, может быть, когда-то свободным временем будут пользоваться (уже сейчас) не по назначению, не в соответствии с его логикой. Но суть в том, что само свободное время не имеет извечного предназначения, его смысл — в исчезновении. Оно — «и так далее». Становление как таковое, чистая отрицательность.

Особенно хорошо этот момент оттеняет старость. Бессмысленно задаваться вопросом «зачем?» Ясно, что будет — ничего. Надежды нет, и ты точно знаешь свои возможности и свои пределы. И уже предел теснит тебя, а не ты по-шеллингиански отодвигаешь пределы в бесконечность. Предел — больше не переход «внутреннего» противоречия. Это ничто, а ничто — невозможно. Никаких «А может быть». И как потерявший любовь знает, что такое любовь, так ты — полностью во власти наличного бытия, ты — уходящее, и весь уже по ту сторону. С той стороны ты «видишь всё, но видишь безучастно» (Рильке), и всё непонятно, ведь ты провожающий. Нет, ты не переводишь происходящее на понятный и привычный тебе язык, тут другое; никакой мудрости старости — просто ты действительно понимаешь, что чувствует «огонь, пожравший свой материал».

Что поделаешь, да, противоречие исчерпывается в этом уникальном отношении, в твоей жизни — прими и не ерпенься. От твоего желания ничего не зависит, сопротивление бесполезно. Рассматривается только момент возвышенного разрешения противоречия, как смысложизненного, как будто оно имеет такой смысл.

«Смирись, о гордый человек» (Я с иронией). Я к тому, что все эти разговоры о том, что в любом возрасте... и т. д. — полная ересь и самообман.

Надо спешить жить в молодости. Хотя я сам восхищался словами Хименеса «Не торопись, поскольку все дороги тебя ведут единственно к тебе, не торопись, иначе будет поздно...» Не торопи старость! (Хотя я всё больше вижу старчески умных детей.)

О старости, в том числе, и о старости противоречия, написано много, и всё, большей частью — враньё. Суть в том, что в любом движении в любое (чуть не написал «время года») время, ждут окончательности. Бесконечность трудно осмыслить, а ещё труднее выдержать. Когда свободное время станет всеобщим, люди будут страдать от агорафобии. Если бы современники осознавали, что на самом деле их окружает бесконечность, и им «открылась бездна, звёзд полна» — эта вечность с мириадами одиноких ядерных реакторов и разнообразных монструозных галактик с космическим холодом, они бы посходили с ума, осознав, что они — на краю и вровень этой бездне. Что бесконечность — у самых глаз, и от ресниц — в вечность.

Слабым утешением им служил бы тот факт, что их сознание включено (всё включено, шучу) в общие процессы Вселенной, что до меня протекла вечность, и после меня, а я — перерыв постепенности, самосознание вечности и бесконечности. И то, что солнечная система разрушится, и одна галактика поглотит другую, и Земли не будет, и исчезнут Бах и Моцарт, поражает (по крайней мере, меня) куда больше, чем собственная хрупкая жизнь, хотя, когда я вижу, сколько ещё невиданного и непрочитанного, непостижимого, слабеющий взгляд подёргивает печалью, и думается, что суетиться не надо, и аппетиты стоит поубавить...

Но от этого никуда не денешься, да и вопрос свободного времени волнует постольку, поскольку: поскольку это уже точно — не моя проблема, а постольку — я подозреваю, что именно эта проблема, решай её, не решай — не только преподнесёт сюрпризы, а уже преподносит, и решение её в чисто практической плоскости — самое примечательное, решать её приходится и придётся всей жизнью, хорошо, если своей. И тут возникает «впервые в истории» — такая блажь, что «не хочется», и чёрт с ним, ну и не надо. Это главная проблема, которая может стоить жизни. Глупо заниматься прогнозами, кликушествовать, пророча, бессмысленно рисовать апокалиптические картины, вроде «Восхождения в Эмпирей» Босха-Сидоренко. И бессмысленно предупреждать о тех опасностях, которые будут — ты нам сначала дай, а там мы разберёмся. Да в том-то и дело, что будет поздно, потому что это проблемы не будущего, а уже прошлого.

Опасность в том, что свободное время просто усиливает и гипертрофирует то, что есть. В особенности чувства, но и не только. Поэтому свободное время — не безусловное Зло и не Абсолютное добро, — оно просто усиливает, а потом и превращает качества в свойства без всяких оснований. Поэтому не только «чувства

добрые», но и чувства злые становятся абсолютизированными, и «вседозволенность», даже негативность, в особенности негативность, превращаются в «нравственную норму», более того — в норы. Особенно если свободное время выступает в чуждой ему форме, противной форме стоимости.

То есть первоначально придётся иметь дело с тотальным эгоизмом, сверхчеловеческими притязаниями отдельного «я», и даже с фашизмом фаустовского толка — человек может всё, «так будем радоваться, что наши силы безмерны, а наша задача бесконечна» (Фихте). Нет, свободное время не «виновато», оно просто усиливает те тенденции, желания, качества, которые застигает, застаёт, но именно свободное время делает соблазн желания неодолимым и оправданным. Этого не надо опасаться, но надо иметь в виду. Собственно, всё, что сказано Немецкой классикой и последующей философией о субъективности — действительно, но, поскольку это и есть «объективность», и да, «прав будет Гегель, идеи будут править миром» (Маркс), и они уже правят миром, покушаясь на человека, то вопрос исчезновения — дело времени, хотя само время — производная исчезающего бытия.

Как бы там ни было, свободное время является критерием человека в его сущности. Не практика — она «потом», хотя и есть истина человеческого бытия, — а именно свободное время впечатляет, как предметность свободы.

Часто сетуют: «вот если бы мне дали, если бы были условия, если бы было свободное время, то я бы...» Здесь нет ни одной внешней помехи — всё время свободно, и всё зависит только от тебя, в том числе то, чтобы свободное время было не праздным, а праздничным и свободным — действуй и упраздниай праздность. Праздность — не радость. Вот здесь в свободном времени человек натывается, разбивается вдребезги о собственные пределы, которые сам же и формирует как метафизические, то есть не как переходы и превращения, а как внешние необходимости и препоны, препятствия. Здесь он сам создаёт тот лабиринт, который считает путём и в котором мечется, как лабораторная крыса в поисках выхода, отлично зная, что выхода нет, и ты жертва свободы, жертва свободе. Все возможности есть и действительны, даже невозможные, но усилие — только твоё. Чтобы привести всё в движение, надо в бесцельном мире создавать архаические цели, надо желать, хотеть, а это сложно и тяжело. Тяжело даже пребывать в созерцании, тяжело ничего не предпринимать, не делать. То есть все сущностные силы надо создавать каждый раз заново, даже привычки, формировать вкус, вообще шевелиться. Хотя изначально ты можешь ничего не делать. И задача бесконечна, и цель недостижима в своей сиюминутности и данности. Чего желать, если всё и так есть?

Конечно, всё это благодаря совокупному труду, всей истории человечества. Твой способ мышления, язык, буквально, всё, до мелочей, до твоей мимики, твои чувства, эмоции, — твоя субъективность — продукт всей истории, и твоё мышления (твоего тут ничего нет) — только одна сторона чувств и малая толика восприятия, которые тоже есть общественный продукт. И это в большой степени — случай-

ность, которая — также момент общественной формы движения. Твоя свобода только в том, что от тебя ничего не зависит. И эта независимость от внешней необходимости есть твоя, по-кантовски, «внутренняя форма созерцания» (хотя это заведомо неверно). То есть свободное время не может быть присвоено не потому, что тотчас видоизменяет(ся), а потому, что из пространства человеческого развития становится причиной твоей гибели. Оно ядовито, излишне и гипертрофированно, оно пагубно, если оно не свободное время всех. Оно — аномалия. Противоречие, распинающее человека. Оно преждевременно, но это значит не что ещё не пора, а только то, что пора переходить к иным формам, от овеществления к опредмечиванию, где свободное время действительно «пространство человеческого развития, без заранее положенного масштаба». Хотя как раз свободного времени необходимо ровно столько, сколько надо.

И беда в том, что свободное время вынуждено (!) являться сперва как «форма общественного богатства, а форма стоимости будет впадать в антагонизм и препятствовать этому, и добровольно не уйдёт. Отсюда — страшная эклектика крошащихся форм, которые, как мусор, плывут по вздувшейся реке времени. А искусство слепо их запечатлевает всеми возможными способами.

И будут ещё страшные формы, побочные эффекты и дефекты свободного времени в виде натурального продукта, и этот продукт — как наркотик, как психоделик, изменяющий сознание, мышление и чувства.

Я здесь не о том, что свойственно всякой эпохе, не о сетованиях на зло от применения техники, не о загрязнении среды, а об экологии мышления — человек может освоить ровно столько свободного времени, сколько может освоить. Всё остальное проходит без следа. Вопрос о загнивании свободного времени и его избыточности регулируется естественно. Конечно, беда, если человек знает древнегреческий, латынь, немецкий, французский, английский, арабский, китайский, арамейский, играет на десятке инструментов, рисует, занимается философией, пишет стихи, но не знает шумеро-аккадского и коптского. Это беда, но не смертельно.

Вообще, дело в том, что свободное время ставит человека перед собой. Он предвосхищает себя, хотя это больше похоже на пред-омерзение, причём умышленное, преднамеренное. Оно не только автобиографично, но и автопортретно. Идеальное зеркало, встроенное в тебя, и, когда пишешь автопортрет, ты немедленно изменяешь свои черты, так что каждый раз приходится схватывать заново образ, в том числе и свободного времени, которое, как Протей, в метаморфозе всякий раз принимает другие формы. Свободное время — если не внешность становления, то внешность превращения и перехода во время свободного времени.

## И С Т О Щ Е Н И Е

Если у тебя есть фонтан — заткни его,  
дай отдохнуть и фонтану

*Козьма Прутков*

Когда-то давно художник Павел Маков создал фонтан «Истощение» — правда, по другому поводу. «Истощение» является прямым символом творчества вообще. Аллюзия с бахчисарайским фонтаном слёз. Принцип тот же. Только слёзы эти вызваны поминками по свободной деятельности. Обычно поток свободно падающей воды у такого типа фонтанов под силой тяжести распределяется свободно между чашами. Здесь одна чаша распределяет объем на две, те — на четыре, четыре — на восемь и так далее, пока не иссякает, истощаясь вовсе.

Напоминает это и древнюю легенду, кажется, у Геродота, о Кире Втором. «Кир приказал наказать реку Гинд. В течение лета персидское войско прорыло 360 каналов и отвело воду из реки». Как там было, никто не знает. Но то, что поток творчества иссякает, убиваемый аналитизмом и измельчением, не вызывает сомнения. Причём буквально. Всё, что делается — несомненно, хотя и сомнительно. Свидетельствует об ампутации воображения, которое, хотя и есть предел рассудка, больше не являет дерзать, переступить эти пределы. И даже возможностей, интенций и намерений таковых подчёркнуто не имеет, ограничиваясь целью, потребностью и идеалом. Только ограниченность неограниченна и бесконечна, тяготея к декларации смерти, узаконивая её право на жизнь.

Всюду протоптаны тропинки, пробиты дороги, которые куда-нибудь ведут, даже в том случае, если ведут в «никуда». Пространство благоустроено, и у вечности заботливо проложены тротуары. Время машинально. Оно мечтает забыться, мечтая отмериться и не помнить себя. Оно катастрофично несбывшимися катастрофами, невозможностью. Ретроградная амнезия: время мучительно пытающаяся вспомнить, о чём оно. И, смирившись со своей бессмысленностью, флаирует механически, отсчитывая шаги.

Мы имеем дело с анонимным автором — безмозглым потоком разлагающихся, плодящихся абстракций. И эта мутная река с гордым названием Океан превращается в отстойник, который счи-

тают Гераклитовым потоком, элиминирует усилие отдельного человека, как бесконечно малую величину, превращая в ничтожество на фоне этого селя, который может ошеломить, — и ошеломляет, — своей грандиозностью.

Это не сбывшаяся мечта Эпикура, учившего, что надо жить незаметно. Необходимость невозможно обойти, но можно игнорировать и изменять судьбу, и судьбе. Здесь унижение, измельчание человека превращено в нивелирующий принцип «как все», в смысл творения. Отсюда фетишизация творчества, его мистификация и мифологизация инаковости, уникальности, исключительности.

Отсюда смешные формулировки, вроде «Креатосфера у віхах та вимірах творчості». (Хотя это отдаёт «осетриной второй свежести», напоминая и о лотмановской «семиосфере», и о «Сферах» Слотердайка, и о всех этих «ноосферах», свёртывающих просторы вокруг себя). Шкловский говорил: «Вехи — это для обозов». Но, когда паника в обозе... От всеобщности осталось только паническое бегство, и как, молитва: «Творчество, творчество, творчество... свят, свят, свят... Творчество, помилуй». Творчество — как мантра, от которой впадают в экстаз, не экстатируя. Стимулятор, раздражитель, возбудитель, «получатель» не собственно «удовольствия», а «идеатум» (Спиноза) его и декларация принципа удовольствия, микроидеология, частная собственность на произвол.

Акт творения в этом извращённом виде, как жажда диабетика, превращён в принудительную деградацию: актуальность видится в обладании и праве на присвоение, потенциальность — упразднена. Развитие сведено к изменению. Возможность — «всё возможно», и потому невозможное — излишество. Происходит свёртывание в форму постоянного и равномерного движения, которая есть форма покоя.

Невероятно, но «свободная деятельность» в несвободном мире отупляет и развращает, возвращая человека самому себе, но он настолько тупой, что этого даже не видит, принимая разложение за свободу. Наличие «богатой человеческой потребности» принимают за истинное богатство, хотя само требование «богатства» и потребности, которая непотребна — есть выражение абсолютной нищеты. Я не сторонник аскезы. Понимаю Бернарда Шоу, который считал, что бедность — большое свинство. Но вся эта философия неравенства мне противна и представляет себя апологию

отношения «раба и господина», деления на бедных и богатых, умных и дурных. Так есть, но так не должно быть. Мешает это — «должно». Теория отстаёт от времени, а время отстаёт от теории на целое время, особенно когда основания уже изменились, но языка, который способен это схватить, выразить, ещё нет.

Хотя дело не в языке. Инерция — основание изменилось (хотя смысл основания в том, что оно не отличается от становления), оно — всё время, оно вечное становление. Так вот, смысл основания — не нуждаться в основании. Остаточная инерция заставляет происходить, «всходить» на старых, прошлых, оставленных, покинутых основаниях. Отрицательная свобода (Свобода всегда отрицательная), негативная свобода, минусовая, порождённая не снятием пределов и границ, а внезапным отливом от этих пределов, освобождением пространства от себя, созданием отсутствия — опустошает. Опустошённостью, умиранием создавая вакуум пространства. Ты схлынул в полноте бытия, и теперь — полнота пустоты. Дурная свобода оставленности. Существует зазор между «есть» и «не есть», отставание, просвет превращения между «как оно есть» и «как оно может быть», между представлением и восприятием. Он существует «между», как «разница». Грубо говоря, мы все в «разнице», и, извините, в «промежности».

Когда-то я исповедовал «кощунственную» идею о «преодолении личности» в человеке. Это не ностальгия по «сверхчеловеку». Не ханжеская любовь к слабоумию. Возведение человека в личность, как «восхищение в вечность» — один из моментов развития, хотя он и до него не дорос — задержался и поиздержался, создавая «культ личности», принося фантастические усилия в качестве сакральной жертвы. Не убиение личности в себе, а просто переход к жизни, в которой никакие основания для того, чтобы быть, не нужны, где само деление на диалектику и метафизику уже наивно, мифологично и архаично-музейно, и где проблема творчества — упражнение, шарада для младшего школьного возраста.

Личность порождена наличностью собственности. Это произошло. Только не снятием личности, совлекая личину, маску, харю, тварность, определённую меру, а отказом от всесторонности и универсальности. Не считаю нужным объяснять, чем универсальность отличается от унифицированности: кто не знает — тот не в теме, и никакими разговорами об актуальности невозможно принудить проблему быть проблемой. Более того, подобно

тому, как тяжесть, свет и время — одной природы, проблема превращения «энергеи» и «дайнемиса», потенциальной бесконечности с актуальной, времени и пространства, и любой противоположности — одна и та же проблема, чем усиленно пользуются, старательно забывая о диалектике, психология и пост-феноменология, решая вопрос о «явлении и очевидности невидимого», занимаясь комбинаторикой и эклектикой. Примечательно, что в области «статического» искусства это имеет значение приёма, как и рассуждение, чем феномен отличается от явления в неосхоластике.

Всеобщность формализована до обязательной общеупотребимости, обобществление — до обладания, и свободное время нивелировано до праздного (см. Т. Веблена.) Ведутся разговоры о «цивилизации праздности». Проще платить, чтобы человек ничего не делал. (Ещё со времён П. Лафарга отстаивается «Право на Лень».) Некоторые видят повод для оптимизма — свободное время нельзя накапливать, присваивать, торговать, но можно аккумулировать и интенсифицировать. Весь его смысл в превращении. Для того, чтобы нечто стало собственностью, оно должно быть ограничено, даже если это бесконечность (я утрирую). Но как только мы это делаем, так тотчас же свободное время перестаёт быть свободным и превращается во время эксплуатации, тем более жестокой, — поскольку противно собственной природе, — чем больше превращается невовремя во время, то есть в лишённость. То, что сейчас происходит, как ни назови: капитализмом, постиндустриальным обществом и т. д., ошеломляет способностью эксплуатации не только живого труда, но и интереса, способностей, возможностей и отсутствия оных. Отсутствие оснований оборачивается «Творением из Ничего». Ображённые, но не преобразённые формы приходят взамен «бытия-возможности» (Кузанский), возвратные формы, как «стоячая» волна, «цунами на месте», наглядно и упрямо, разрушительно вызывают к жизни зияние, нужду в том, что уже давно не существенно, но декларативно вызывается по нужде. Катастрофа ставшей формы не во вне, а в ней самой — кроме того, является как напряжение, внутренне беспокойство, неразрешённое противоречие, возвращает к жизни непринятое внешнее противоречие как космическую катастрофу внешней и внутренней необходимости, которую в диалектике обыкновенно игнорируют, считая случайной.

Поэтому, хотя, по сути, в свободном времени не нужны ни воля, ни сила духа, ни дисциплина, ни цели с идеалами, ни му-

жество, даже элементарная порядочность, и та необходимости не взыскует, не взывает к свободе — ну есть, и есть — ничего этического (этика исчерпала свои возможности, обесмыслив категорический императив), то всё же в бесцельном саморазвитии приходится принуждать себя к деятельности, необходимости, которая не необходима, к целеполаганиям, к ограниченности, выдумывая основания в качестве причин. Приходится принуждать себя к так называемому бытию, что едва ли не главная фальшь жизни. И смутно вспоминать, какие они, порядочность и правила приличия, хотя ты давно разучился соблюдать «правила игры» и делать то, что нужно, должно и целесообразно.

Приходится принуждать себя к жизни. Сочинять смысл, а это излишество. Все силы уходят на обоснование ушедшего в основание, *всё время* оправдывается превращением свободного времени в прошлое, как свободную необходимость, тогда как уже и сама свобода — не нужна, но требуется восстанавливать её в качестве *не свободы самой свободы*.

Стало выгодно осуществить принцип коммунизма, эксплуатировать всестороннюю развитость. «От каждого по способностям, каждому по потребностям» + сверхприбыль. Каждый рад, счастлив получить абсолютную возможность, бытие-возможность, и при этом вовсю умертвлять свободное время, торговать временем жизни. Полно книг, посвящённых «анархо-коммунизму» в сети, уповающих на свободное сопротивление и постепенное переосуществление общества потребления при помощи творчества масс, — на своеобразную «творческую эволюцию», — когда ты, рассматривая себя, как малое предприятие с ограниченной ответственностью, вкладываешь человеческий капитал в своё развитие, и свою малую толику отдаёшь этому развитию, своё малое усилие, или просто участие, или даже, в качестве протеста, неучастие. Демократия, которая, как известно — диктатура, оказывается тоталитарнее, чем застенки. Изощённость современной системы в том, что ты делаешь всё это добровольно. Так якобы преодолевается частная собственность на интеллект и прочая. Тут и «когнитивный капитал», и «нематериальный труд», и «на пути коммунизму знаний», — очень много весёлого и интересного. Например, показательна работа Анре Горца «Нематериальное. Знание, стоимость и капитал» (<http://www.klex.ru/rv1>). И такого добра, причём увлекательного, хорошо сделанного и, главное, искреннего — полно.

Задумаешься: а что плохого? Разве каждый из нас не мечтает об этом? Тебе дают свободное время, причём безвозмездно, и всё твоё время — свободное. Дают доступ ко всему интеллектуальному богатству, заведомо зная, что всех жизней всего человечества не хватит всё это освоить, дают прожиточный минимум, и взамен не требуют ничего. Только развивайся, как хочешь, совершенно импровизационно. Всё — твоё дело. Ты ничего не должен. И сам выбираешь предмет, метод, способ жизни, деятельности, самовыражения. «Труд без нормы и вознаграждения», без меры, заранее положенного масштаба, безмерность, как таковая. Действительно, «способ развития каждого становится здесь способом развития всех» — причём это не утопия, это осуществляемый проект, как модно теперь говорить, акция (правда, по уничтожению — ничего личного из личного — только аутодафе). Я опускаю тут «издержки», что это за счёт обнищания масс, в том числе и интеллектуального. Выгодно развивать как раз *массовое* сознание. Да, это за счёт твоей жизни, но никто не заставляет тебя «из жадности» не спать, не есть, а познавать и познавать до одури, гипертрофированно, чрезмерно. Хотя ты превращаешься в плохой придаток, инвалидный файл всеобщей анонимной машины, которая тебя потребляет и массово, и индивидуально. Просто функционируя и перерабатывая, утилизируя время жизни. Да хоть так, «с паршивой овцы хоть...» деятельность, в которой можно до самозабвения забыться, не помнить себя до смерти. Творчество всегда смертельно. Подкупает риск, адреналин бессмысленности, беспощадности, неудачи, гибельность, которая не терпит трусости. «Всё или ничего». Творчество тотально, как жизнь, но тогда оно не творчество, не борьба за выживание. И плевать, что тебя эксплуатируют. Пошлость и подлость, изверство и изощрённость в том, что ты наслаждаешься самоуничтожением, и «есть наслаждение в бою. У бездны мрачной на краю». Упиваешься-уживаешься своим рабским положением наркомана, зависимостью, без которой не можешь. Кого сейчас этим можно испугать? А я и не пугаю, но вопрос в том, что это истощает саму стихию, как бы это странно не звучало, и ты ощущаешь свою собственную опустошённость, выработанность и невозможность. Преждевременную старость. И возможность есть, и условия налицо, и интерес к возможности, и всё дозволено, а сил нет. Но это потом, а пока есть желание, страсть к мышлению и пока что тебе кажется, что так будет всегда. «Дайте мне точку

опоры...» Или, ладно, не надо точки опоры, я буду летать — дайте только свободное время и прожиточный минимум. Я сам буду доплачивать, только бы заниматься любимым делом, самореализовываться и искряться. В результате:

«... западноевропейское общество трансформируется в совокупный креативный класс, для которого труд превратился в удовольствие, развлечение, игру или деятельность по самосовершенствованию. Это тоже своего рода коммунистическая утопия, но принципиально враждебная как буржуазным, так и пролетарским ценностям, отражающая самодовольное представление креативного класса о самом себе как об идеале будущего человечества» (Б. Ю. Кагарлицкий «Между классом и дискурсом». С. 15).

Менеджеры называют это мотивацией. Некоторые считают это «востребованностью», читай — полезностью, хоть КПД высчитывай (и высчитывают). При этом универсальность понимают как вытеснение человека из сферы производства, а «перемену рода деятельности как способ жизнедеятельности» — производной от безработицы. Мёртвый, хотя и потенциальный, труд готов на всё.

Говорить об этом — глупо, потому что понимание ничего изменить не может. Мы — заложники ситуации, нравится это или не нравится, но так есть, и, боюсь, будет. В схоластике есть замечательный термин «Обудущество» — futurtio (Бибихин), — «желаемое и формируемое, управляемое будущее». То есть коммунистический принцип выводят из духа капитализма и протестантской этики Макса Вебера. Невинное и вероятное, при абстрактном рассмотрении, простирающееся до потенциальной бесконечности и желаемого, здесь будущее исчерпывается в понятии, поскольку будущего нет. Его-то действительно нет, но здесь оно невозможно и не действительно — оно предзадано объективно, независимо от желаний, чувств и отношений, принудительно, как бытие смерти, которую вы не выбираете. Оно не только порождено отсутствием или нуждой, оно уже само — прошлое, и прошлым обусловлено, представляет своего рода ангедонию, потерю способности получать удовольствие, но об этом не знает, поскольку чувства ампутированы и ощущения атрофировались. И безразлично, что «большой взрыв», и цветы, как взрыв — одной природы, безразлично всё. «Кипение» замедленных взрывов и само замедление, торможение, схватывание и есть время. Хотя ускоренное развитие это тот же взрыв и катастрофа,

исчезновение времени — плевать на это! Полное онемение, как минимум, близкий к абсолютному нулю, хотя и тут эффект сверхтекучести — просто вымалчивание (Хайдеггер) как вымораживание, выморачивание.

С одной стороны — занятость и тотальный контроль, управляемость временем. С другой — «стравливание» свободного времени, которое избыточно, иррационально, издержки производства, «незаконно», как времяпрепровождение и ритуальное убийство времени, самоубийство, даже если жизнь вполне удалась. То есть сначала свободное время превращают в мёртвое время. Потом эксплуатируют, пытаясь его переработать и овестивить. И свободное время становится своим антиподом, средством массового уничтожения, хотя оно уже и не свободное, от его свободы осталась только вытяжка, которая, как «сыворотка правды» заставляет человека выкладываться добровольно, до изнеможения, до смерти, как лабораторную крысу, которой в центр удовольствия вживили электроды.

Свободное время для своего воплощения требует колоссального усилия воли, мышления и свободно-необходимой деятельности, чтобы стать *естественной* природой человеческого — и эти сверхусилия противны как раз этой самой природе. Нет нужды в принуждении — сам из кожи будешь лезть, чтобы докопаться до сути, а там — всё равно. Я не за то, чтобы этому сопротивляться. Этому невозможно сопротивляться. Дело не в отказе от сети, где «витают в облаках», не в новом луддитстве. Интернет не освобождает и не поработцает — это инструмент. Но сопротивляться себе трудно, даже невозможно. Всё дело в чистом индивидуализме, и это только кажется, что мы произвольно делаем, что хотим. Мы делаем то, что можем. Здесь, как никогда, ясно, что быть свободным в одиночку невозможно. И даже мода на свободу — всё равно эффект массового сознания. Мода на всесторонность и гениальность — это апофеоз воинственной серости и посредственности. Производство унифицированного, штампованного, торжествующего обывателя, но модифицированного, творческого. Опустошающая попытка исчерпания бесконечности, совпадающая с бессмысленностью жизни. Ты исчерпываешь не бесконечность, но себя. Любой ценой. Истощение, вырождающееся в своеобразной телеологии — идеологии нищеты, абсолютизации обещаемого. Цель смерти — единственное, чего не хватает. Технология вырождения.

Это не чистая эстетика, когда «ни зачем», и движение — в абсолютной красоте, в никуда, когда все цели имманентны. Не любовь к бесконечности, когда «звёздное небо внутри нас». Это — дешёвый ситуативный психологизм, приспособительная реакция, когда приноравливаются к ощущению. Если «вверх» — то к абсолютной красоте, если «вниз» — то к психологизму, граничащему с физиологическим отравлением — т. е. политологией. «Изобретение повседневности» (Мишель де Серто. [http://www.koob.ru/cer-teau/izobreteniye\\_povsednevnosti\\_1](http://www.koob.ru/cer-teau/izobreteniye_povsednevnosti_1))

Данность как таковая — ты поставлен в такие условия. Твоя «творческая способность» исчерпывается без воспроизведения, дотла, истощаясь, как полезное ископаемое, сырьё. Ты сам — сырьевой придаток, аналог, вернее, уже чистое количество, цифра живого времени (по аналогии с живым трудом), переводимого в мёртвое время. И всё это — пока свободное время не перестанет быть формой! Общественного! Богатства! И свободным! И временем! То есть, опять речь идёт «о полноте бытия, как свершении всех времён».

Так что «затыкай фонтан», перекрывай кислород, «Не хочешь умирать — не дыши», ведь каждый вдох — это умирание клеток, «kozyряй» или «бди», «экономь», «расточай», «транжирь», ведь контролировать и рационализировать, отмерять процесс — совершенно бессмысленное занятие. Любое действие обесмыслено. «Затмение разума» (Хокхаймер. [http://www.koob.ru/horkheimer/zatmeniye\\_razuma](http://www.koob.ru/horkheimer/zatmeniye_razuma)), «Вечная эйфория принудительного счастья» (Брюкнер Паскаль. [http://www.koob.ru/bruckner/vechnaya\\_euforiya](http://www.koob.ru/bruckner/vechnaya_euforiya)) — всё это «стеклянная клетка» ([http://www.koob.ru/carr/steklyannaya\\_kletka](http://www.koob.ru/carr/steklyannaya_kletka)), где задыхаешься от нехватки выдуманного воздуха. Зато с избытком скуки, притом натуральной. Вопрос в том, стоит ли писать? И вообще действовать? Какая разница, какие цели поставит человечество, если и так всего с избытком — книг, музыки, живописи, поэзии, «кина», философий, и даже жажда познания — как булимия и интеллектуальное обжорство? Мёртвое знание, информация переваривает нас (или не переваривает). Энтропия?

Не знаю. Но, как писал Платон в «Теэтете» (Хайдеггер не случайно взял эпиграфом к «Чёрным тетрадям», а надо бы ко всей жизни: *πάντα γάρ τολμητέον* «Впрочем, надо дерзать до конца» (Платон. Теэтет / Пер. с древнегреч. Т. В. Васильевой // Платон. Собр. соч. в 4 т. М., 1992. Т. 2. С. 257). Хотя, опять, если быть точным, это пе-

рекликается с «панта рей...» — всё течёт. И нужно дерзать не до конца, а до всего. Потому что «вот и всё» — это и есть Вот, и Всё. Превращение.

«Истощение» — как «Легенда о гусаре-схимнике» в «Двенадцати стульях» или «Легенда о Вечном Жиде» в «Золотом Телёнке». Неожиданно, ошеломляюще не вовремя, но точно. В первом случае клопы помешали думать о вечном, во втором — жизнь закончилась из-за петлюровцев на берегах Днепра. «Когда Вечный Жид, выполнив поручение, стоял на берегу Днепра, свесив неопрятную зелёную бороду, к нему подошёл человек с жёлто-голубыми лампасами и петлюровскими погонами и строго спросил:

— Жид?

— Жид, — ответил старик.

— Ну, пойдём, — пригласил человек с лампасами.

И повёл его к куренному атаману.

— Жида поймали, — доложил он, подталкивая старика коленом.

— Жид? — спросил атаман с весёлым удивлением.

— Жид, — ответил скиталец.

— А вот поставьте его к стенке, — ласково сказал куренной.

— Но ведь я же Вечный! — закричал старик.

Две тысячи лет он нетерпеливо ждал смерти, а сейчас вдруг ему очень захотелось жить.

— Молчи, жидовская морда! — радостно закричал чубатый атаман. — Рубай его, хлопцы-молодцы!

И *вечно* странника не стало».

Я к тому, что о каком свободном времени можно говорить среди этого убожества? Странно, что юного Вертера не приписали к украинским националистам за то, что он ввёл фрак и панталоны цветов Петлюровского флага: синий сюртук, жёлтые жилет и штаны. Правда и Будда, и Христос были украи и арийцами, даже Мазох сподобился. Украинцы научили строить пирамиды, Китайскую стену и много чего ещё. Не хочу весь этот бред повторять и упоминаю его для контраста, потому что историю утопили в нужнике и даже помыслить о свободном времени и даже о простом здравом смысле кажется немислимым. В истории цвет Надежды серый, но уж очень он серый.

Я к тому, что, скорее всего, с философией покончено, но если будет продолжение, то оно будет скучное и пошлое. Правда, никто этого не заметит.

Наступает эпоха заурядной, обыденной красоты. Конец света.

## ПЕРВЫЙ ЛОЖНЫЙ ФИНАЛ

Свободное время ожидают, как благодать (почти шучу) со всеми историческими спорами относительно того, является ли благодать прекрасно доброй, действительно ли благодать — благодать, хотя она имманентно содержит всё зло своего возникновения. Она грядёт в своей отрицательности возмездием. Свободное время беспощадно, как молодость, которая ничего не прощает.

*Modus procedendi* (способ возникновения) его всецело отрицательный. Так, первоначально свободное время возникает как роскошь, избыточность, праздность, а не в своей истинной природе, как производительное время, хотя производит оно только самое себя. Его порок в том, что оно выступает как самоцель, конечная цель, являющаяся принципом возникновения и развития в явном желании перестать быть телеологичным.

Это воспринимается как логическая ошибка, противостоит, как *petitio principii* (предвосхищения основания), хотя никакого нонсенса нет. Действительно, основания создаются, в них уходят, исчезают, как в абсолютное ничто, и они некоторое время превращения выступают самоцелью. Они — следствие. Здесь всё неверно. Даже созерцание и наблюдение — не принцип, а способ поведения, способ жизни и возникновения видения, поэтому визуальность упивается своей относительностью, играя с кажимостью и мнимостью, которых раньше бежала. Господство над действием, которое создаёт. Господство, но не свобода.

Свободное время не смущает антагонизм между теорией и практикой. Оно занято только собой. Его не интересует «диалектический» (Сартр), «циничный» (Слотердаик), «научный» (Хьюбнер), психоаналитический (Шерток и Стенгерс), исторический (Демпф, Баумгартен), инструментальный (Хоркхаймер, и вообще «затмение разума»), «метафизический» (В. Возняк), равно как и чистый, практический и эстетический, и прочие «разумы», точно так же, как и все модификации рассудка — это снятая проблема, хотя в свободном движении долго будет волноваться «мёртвая зыбь» влекущихся во след старых проблем, и всё не сможет успокоиться, как злопамятность (Ницше) происхождения и истории.

Становление истории не знает и сохраняет противоречие материи и духа по прихоти, произвольно, и само время не даёт ему исчезнуть свободно, оставив ему только чувство во всей полноте.

Без всего этого можно обойтись, но без временности была бы утрачена острота и пронзительность восприятия.

Да, становление (и свободное время) не нуждаются в определениях ни разума, ни становления, ни свободного времени. Все проблемы видятся иначе, чем их можно помыслить, и жизнь своей легкомысленностью и незначимостью превращается в поступок, эстетический жест. Нет, для себя жизнь полна смыслов, тяжести, и трудна, на пределе возможного, но многие понимают, какой это, в сущности, пустяк, чтобы придавать ей значение.

Книги последнего времени — объяснения в любви миру, который не любят и презирают, но не могут избавиться от его гнусности и мерзости. Им подвержен каждый пишущий. Не стоит труда воспевать тухлятину, не в упрек Чорану. И я совершенно независимо от этой усталости самой бравады писал об изнывании, истощении противоречий, и тоже ныл: когда же это кончится, когда закончится исчезновение? «Крайняя изношенность» (Чоран), слов, действий, чувств, желаний.

И странное, немотивированное, бессильное действие, нет, не из чувства долга (что сказать? «Нечего сказать и некому сказать») — не сила, которая ведёт и пробрасывает, швыряет, не пошлая борьба жизни и смерти, но заворожённость рождением из ничего, когда даже любая вторичность — впервые.

Я не готов сводить счёты с жизнью только потому, что она не совпадает с моим представлением о ней. Вместе с последним временем хочется сказать последнее слово, но не как подсудимому, а как прокурору-моралисту, зачитывающему приговор. Хотел бы сказать банальное «Жизнь не кончается», но воздержусь, потому что она кончается каждое мгновение, и тем эти мгновения порождает.

И я страдал бессонницей, нет, не духа, а иступлённым бодрствованием, как страстью. Я слишком долго дышал ядом философии — ей стало неинтересно. Она отказалась от меня, перестала мутить, и на прощание, прежде, чем покинуть, открыла последние основания, чтобы спокойно досматривать спектакль до конца, смотреть до слепоты, до иступления, на бесконечное становление, как единство бытия и ничто, и смочь выдержать это зрелище, испытать все возможные и невозможные оттенки одного-единственного чувства причастности ему во всех проявлениях, произвольно создавая их во всей полноте, во всём неведении, как

полноту бытия. Это как пережить клиническую смерть. Не пребывание в коме, а пребывание (прерывание, перерыв постепенности, разрыв в бесконечности и вечности) во вей полноте.

Потому книга называется «Последнее время. Сверхшение всех времён». Она — слабый отблеск, зодиакальный ответ тех процессов, которые просто происходят, как превращения вечного движения, не зная ни оптимизма, ни пессимизма, но чувства и страсти — тоже полноправные участники этой вечности и бесконечности. И иногда даже происходят как основания дальнейшего, последняя и первая причина, чтобы быть.

Смысла никакого нет, но вечное движение, становление и развитие не бесстрастны и не бесчувственны, и только это, а не мифическое любопытство, «страсть к познанию», «инстинкт самосохранения» позволяет всерьёз ломать эту комедию, не трагедизировать её. В штампах, на изломе проблеска мысли — ломать, а не играть, «валяя дурака». Так легче и утешительней. Ирония — страх гордости, которая боится потеряться и лишиться мужества быть в самый неподходящий момент (а каждый момент подходящий, наступающий). Отчасти она порождена трусостью, это попытка сохранить лицо перед лицом смерти. Но причастность всеобщему движению не вгоняет в ступор, а дарит иллюзию, что тебе причастно и вечное становление, которое — всего лишь твой атрибут, даже модус и фигура. Это одно целое, и ты, твоё возникновение и исчезновение — вполне, абсолютно, от сих до сих такое, чтобы быть только этим, ни больше, ни меньше.

Свободное время делает вид, что подражает становлению, и отчасти является таким, каким ты не только представляешь его, но и каким ты хочешь его видеть. Первоначально проблема — в его экстенсивном расширении, в превращении всего в свободное время, потом — в интенсивном его превращении, когда в одном и том же «объёме», одной и той же длительности, становится больше свободного времени, возрастающего до бесконечности. При этом сверхплотность времени заставляет его разогреваться, и в этом страшном давлении преобразовываться, и, наконец, время преобразовывается в нечто невообразимое, то есть оно и не время, и не вечность, а стремительное движение, та странная энергия (на самом деле, не энергия, не сила, не дух, не материя, не развитие, не время, не пространство — Ничто), которая постоянно, превращаясь и превращая, не принуждая, заставляет всё быть и не быть.

## Содержание

Затакт .....	5
Иван Кулинский. Лоция СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ со-словие редактора .....	7
АВАНТЮРЫ? .....	11
БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРОЛОГ (Тенденции-интенции) .....	55
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ (на чем «мы» остановились?) в его историческом развитии .....	121
От фонаря .....	203
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ Зарисовки крайнего времени .....	257
Истощение .....	322
Первый ложный финал .....	332

Наукове видання

**Босенко Олексій Валерійович**

## **Останній час**

### **I. Вільний час як повнота буття**

(Російською мовою)

Редагування, дизайн, верстання — *Іван Кулінський*

Формат 70 × 100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Гарнітура «Ното».  
Ум. др. арк. 27,2.  
Зам. 21-009.

**Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України**  
Офіційний сайт ППСМ НАМ України: [www.mari.kiev.ua](http://www.mari.kiev.ua)  
Україна, 01133, Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1186 від 29.12.2002

Видавець і виготовлювач ПП «Видавництво “Фенікс”»  
03067, м. Київ, вул. Шутова, 13Б  
[www.fenixprint.com.ua](http://www.fenixprint.com.ua)

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи  
до державного реєстру видавців, виготівників  
і розповсюджувачів видавничої продукції.  
Серія ДК № 271 від 07.12.2000 р.